ЖЗЛ

ГОРЬКИЙ

И. Груздев

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



И. Груздев

ГОРЬКИЙ


Scan By
Vitautus & Kali


ЖЗЛ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

СЕРИЯ БИОГРАФИЙ

Основана в 1933 году М. ГОРЬКИМ

МОСКВА 1960



М. Горький



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Алексей Максимович Пешков (Максим Горький) родился 16 (28) марта 1868 года в Нижнем-Новгороде. Отец его, Максим Савватиевич Пешков, столяр мастерских Волжского пароходства, и Варвара Васильевна Каширина обвенчались против желания старика Каширина, отца невесты.

Василий Васильевич Каширин, владелец красильного заведения, когда-то бурлак, а потом цеховой старшина красильного цеха, не допустил бы брака с неведомым, пришлым парнем — он твердо рассчитывал выдать дочь за дворянина; но любовь молодых людей взяла свое, и упрямый красильщик должен был смириться перед их волей.

По семейным преданиям, Максим Савватиевич Пешков был отличным мастером, умным, добрым и веселым человеком.

Надо полагать, был он грамотным, так как через семь лет после женитьбы получил должность управляющего пароходной пристанью в Астрахани. В этот город он и отправился с семьею весной 1871 года.

В Астрахани Пешковы прожили недолго. Максим Савватиевич умер от холеры, и вдова с маленьким сыном возвратилась на родину, в Нижний, в дом Каширина.

В Нижнем началась для мальчика новая жизнь, в корне отличная от дружной и складной жизни Пешковых в Астрахани.

Безоглядное озорство, издевательство над слабыми, пьяная жестокость — такой быт царил в семействе Каширина, хозяина предприятия, в котором работали и два его взрослых сына.

Развитие машинного хлопчатобумажного производства и распространение фабричных ситцев вытесняли в ту пору ручное домашнее ткачество, а вместе с ним и красильный промысел такого же типа. Этот процесс тяжело давил на семью Кашириных, вызывая отчаянные попытки каждого из рабочих членов семьи удержать для себя остатки когда-то выгоднейшего предприятия, порождая свары и жестокие драки.

Жизнь в семье Кашириных вспоминалась впоследствии Горькому как «суровая сказка, хорошо рассказанная добрым, но мучительно правдивым гением». В этом семейном быту в свирепой борьбе собственников перепадало нередко и ему, сыну нелюбимого в доме Кашириных Максима Пешкова, но он не покорялся этому быту и, как мог, сопротивлялся ему.

Только одно лицо в семье Кашириных выделялось как светлое явление на общем мрачном фоне жестокого быта. Это была бабушка Горького, Акулина Ивановна Каширина, эпический, незабываемый образ которой он дал в своей автобиографической повести «Детство».

А. И. Каширина в молодости была балахнинской кружевницей; кружевницы эти славились в равной мере и своим ремеслом и своими песнями. Память ее удерживала огромное количество стихов. Она принадлежала к числу тех хранителей и мастеров народного творчества, которые назывались у нас «сказителями», и только по случайным причинам осталась вне внимания литературных деятелей, собирателей фольклора.

Впрочем, она известна была не только в своем кругу.

В одном из писем Алексей Максимович сообщал:

«Мне рассказывала бабушка, отлично знавшая песни, как Турчанинов, нижегор[одский] помещик

и театрал, «отбирал» от нее песни. «Хорошие-то, сердешные, не нравились ему, дурачку» (*XXX, 124*) *.

«Хорошие, сердешные» — это песни о крестьянских горестях и обидах, с жалобами на барщину, на тяжесть оброков, вообще на помещика.

Мальчик любил слушать бабушку, когда она сказывала о том, как «богородица ходила по мукам земным, как она увещевала разбойницу «князь-барыню» Енгалычеву не бить, не грабить русских людей; стихи про Алексея божия человека, про Ивана Воина; сказки о премудрой Василисе, о Попе-Козле и божьем крестнике; страшные были о Марфе-Посаднице, о Бабе-Усте, атамане разбойников, о Марии, грешнице египетской, о печалях матери разбойника...».

Среди этих песен, стихов и сказок были, несомненно, и такие «отреченные» произведения народного творчества, которые по своим социальным мотивам не входили обычно в собрания печатавшихся былин и сказаний.

«Сказительный стих я хорошо знал с малых лет, от бабушки, час и более мог говорить этим стихом «бунтарские речи»...» *(XXX, 33)*.

А. И. Каширина была не только хранительницей народного творчества, есть основание думать, что она сама была выдающимся народным поэтом. Алексей Максимович сообщал, что приведенное в «Детстве» «Сказание про Мирона-отшельника» — «от бабушки» и что ни текста такого, ни вариантов он «нигде не встречал, хотя фольклором занимался усердно» [1].

Горький вспоминал: «Я был наполнен стихами бабушки, как улей медом; кажется я и думал в формах ее стихов».

Она сроднила его с истоками народного творчества, его поэтическими образами и глубокими мыслями. А по высокому строю своей души она осталась для Горького, по его словам, «другом, самым близ-

* Ссылки на собрание сочинений в 30 томах даются в тексте. XXX, 124 означает: том XXX, страница 124. Ссылки на остальные источники отнесены в конец книги.

ким сердцу», «самым понятным и дорогим человеком»; ее бескорыстная любовь к миру обогатила его, «насытив крепкой силой для трудной жизни».

Мать не имела большого влияния на жизнь сына. Не раз она уходила из семьи Кашириных, оставляя его на попечении деда.

Шести лет Горький обучался у него церковнославянской грамоте по псалтырю и часослову, так учились еще во времена Удельной и Московской Руси. Дед был доволен успехами внука, находя, что «память у него «каменная», коли что высечено на ней, так уж крепко».

Однако и мать приложила свою руку к его обучению. В одно из своих возвращений в семью Варвара Васильевна энергично принялась учить сына на свой лад.

«Купила книжки, — вспоминал Горький, — и по одной из них — «Родному слову» * — я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати, но мать тотчас же предложила мне заучивать стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения... Она стала требовать, чтоб я все больше заучивал стихов, а память моя все хуже воспринимала эти ровные строки, и все более росло, все злее становилось непобедимое желание переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова... ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательное, книжное».

Так проявлялось в этой «борьбе» с книжными стихами первое словесное творчество Горького.

В то же время словесность не книжную, народную, ту, что он слышал от бабушки, — сказки, были и песни — Горький, как уже было сказано, запоминал легко и в очень больших объемах. Когда в 1878 году нижегородский епископ Хрисанф приехал на урок в Слободско-Кунавинское начальное училище, он с удивлением отметил ученика Пешкова Алексея,

* «Родное слово» — книга для начального обучения в земских школах, составленная знаменитым русским педагогом К. Д. Ушинским. — *И. Г.*

который мог ему на память говорить стихами народные сказания.

Слободско-Кунавинское училище, в котором учился Горький, было школой для городской бедноты — низшим звеном в образовательной системе буржуазно-дворянской России. Но и эта, первая для Горького, ступень оказалась шаткой.

Дед Каширин, когда-то богатый красильщик, к этому времени совершенно разорился. Он жил теперь в беднейшей части города, за рекой, в Кунавинской слободе, снимал тесную каморку и, находясь на пороге нищенства, превратился в несусветного скрягу.

Чтобы как-нибудь помочь бабушке, мальчик промышлял ветошничеством: по праздникам и в будни после школы отправлялся по дворам и улицам Кунавина собирать кости, тряпки, бумагу, гвозди.

Весной 1878 года Горький получил в награду от школы евангелие, басни Крылова в переплете, книжку без переплета с «непонятным» названием «Фата моргана» и похвальный лист.

«Когда я принес эти подарки домой, дед очень обрадовался, растрогался и заявил, что все это нужно беречь и что он запрет книги в укладку к себе. Бабушка уже несколько дней лежала больная, у нее не было денег, дед охал и взвизгивал:

— Опиваете вы меня, объедаете до костей, эх-вы-и...

Я отнес книги в лавочку, продал их за пятьдесят пять копеек, отдал деньги бабушке, а похвальный лист испортил какими-то надписями и тогда же вручил деду. Он бережно спрятал бумагу, не развернув ее и не заметив моего озорства».

«Испорченный» надписями похвальный лист сохранился. Вот его текст:

«Похвальный лист

Н. С. Кунавинское начальное училище, одобряя отличные пред прочими успехи в науках и благонравие ученика Алексея Пешкова, наградило его сим похвальным листом, в пример другим.

Июня 18-го дня 1878 года».

Рукою награжденного комически переиначены даты, к фамилии «Пешкова» прибавлено прозвище «Башлыка», к «успехам в науках» прибавлено «и шалостях», а название училища — Нижегородское Слободское Кунавинское — расшифровано так: «Наше свинское Кунавинское».

Прозвище «Башлык» имеет своим источником имя Максима Башлыка, атамана разбойников, о «подвигах» которого рассказывал Горькому дед.

«Озорные» надписи на похвальном листе — первое, что дошло до нас, написанное рукою Горького.

На этом Горький и расстался с училищем, «курса в оном по бедности не окончил», как значилось впоследствии в документах о нем.

Осенью его отдают в «мальчики» при магазине обуви купца Порхунова на Большой Покровской улице — главной улице Нижнего.

Помимо работы в магазине, он исполнял для хозяев и всякую домашнюю послугу, как это водилось у лавочников. Прослужив зиму, он обварил себе руки кипящими щами, и, таким образом, первый его выход «в люди» кончился больницей.

Новое место для него нашлось в семье чертежника и подрядчика строительных работ Сергеева.

Приняли его на это место учеником. Однако ремеслу чертежника его не учили, а вместо того он исполнял обязанности горничной, судомойки и мальчика на посылках у двух сварливых баб-хозяек.

Горький чистил самовар и медную посуду, по субботам мыл полы во всей квартире и обе лестницы, колол и носил дрова для печей, чистил овощи, нянчил детей, ходил с хозяйкой по базару, таскал за ней корзину с покупками, служил на побегушках. «Работал я много, почти до отупения, — вспоминал он, — будни и праздники были одинаково загромождены мелким, бессмысленным, безрезультатным трудом».

Режим дома Сергеевых и обилие работы не позволяли Горькому отлучаться из дому. Но хозяева заставляли его ходить в церковь, и жизнь сложилась

так, что церковь стала едва ли не единственным местом, где он был предоставлен самому себе.

Но, выстаивая долгие всенощные и обедни, он не молился, а сочинял свои «молитвы», — сами собой, без усилий, слова слагались в стихи о том, что скучно ему, «хоть бы уж скорее вырасти», что «жить — терпения нет», что «из ученья — не выходит толку», что хозяйка, «чертова кукла», «рычит волком» и что «жить — очень солоно».

И разговоры с хозяевами «зуб за зуб», и взрывы ребячьего озорства, и страстные молитвы-жалобы, и горячие неясные мечты где-нибудь в темном углу церкви — все это было способом отстоять себя, свою личность в этой обезличивающей, мутной жизни.

А свою пытливость к миру он мог удовлетворять тоже своеобразно, когда стояние за всенощной ему удавалось заменять прогулками под зимними звездами среди пустынных улиц города: можно было смотреть в окна нижних этажей, если они не очень замерзли и не были занавешены изнутри.

«Много разных картин показали мне эти окна: видел я, как люди молятся, целуются, дерутся, играют в карты, озабоченно и беззвучно беседуют, — предо мною, точно в панораме за копейку, тянулась немая, рыбья жизнь». А у Сергеевых он жил «в тумане отупляющей тоски», там «застывшее однообразие речей, понятий, событий, вызывало только тяжкую и злую скуку».

Иногда он думал: надо убежать! «Но стоит окаянная зима, по ночам воют вьюги, на чердаке возится ветер, трещат стропила, сжатые морозом, — куда убежишь?»

Весной он убежал. Стыдясь вернуться к бабушке, которой он обещал «потерпеть, пока окрепнет», Горький не пошел домой, а стал жить на набережной широко разлившейся весенней Волги, питаясь около крючников и ночуя с ними на пристанях.

Там он нашел себе и новое место.

Он поступил «младшим посудником» на пароход «Добрый», в то пароходство, где еще отец его работал столяром.

В прежние времена осужденные на каторгу или ссылку в Сибирь шли этапом по знаменитой «Владимирке» — шоссейной дороге из Москвы во Владимир. С проведением в 1862 году железной дороги из Москвы на Нижний этот путь частью заменил арестантам их старинное этапное движение: теперь они направлялись по железной дороге на Нижний, а оттуда по Волге, Каме, Тоболу — на баржах.

Пароход «Добрый», на который удалось поступить Горькому, тянул за собой «арестантскую» баржу и делал рейсы: Нижний — Пермь, неделя — туда, неделя — обратно.

Горький так вспоминает свою жизнь на «Добром»:

«Наш пароход идет медленно, деловые люди садятся на почтовые, а к нам собираются все какие-то тихие бездельники. С утра до вечера они пьют, едят и пачкают множество посуды... моя работа — мыть посуду, чистить вилки и ножи, я занимаюсь этим с шести часов утра и почти вплоть до полуночи... За пароходом на длинном буксире тянется баржа... она прикрыта по палубе железной клеткой, в клетке — арестанты, осужденные на поселение и в каторгу... На барже тихо, ее богато облил лунный свет, за черной сеткой железной решетки смутно видны круглые серые пятна, — это арестанты смотрят на Волгу».

К массе уголовных, переправляемых таким образом, в эти годы присоединяли большое количество политических, так как царское правительство, испуганное движением революционных народников, в 70-х годах применяло против них самую жестокую расправу.

Революционеров убивали при «попытках к бегству», вешали по суду и без суда, отправляли десятками и сотнями на каторгу и в ссылку в самые далекие углы Сибири, особенно после «высочайшего повеления» 24 мая 1878 года и других актов самодержавия, которые В. Короленко назвал «законами о беззаконии».

Летом 1880 года, в первое лето службы Горького

пароходным посудником, проследовал на арестантской барже «Доброго» и Короленко, как политический преступник, в сибирскую ссылку.

2

На этом новом месте, на пароходе «Добрый», Горькому посчастливилось: непосредственный его начальник, пароходный повар, стал его «первым учителем».

Горький не раз указывал на ту благотворную роль, которую сыграл в его жизни повар парохода «Добрый» — гвардии унтер-офицер Михаил Акимович Смурый.

«Он возбудил во мне интерес к чтению книг, — писал Горький. — У Смурого был целый сундук, наполненный преимущественно маленькими томиками в кожаных переплетах, и это была самая странная библиотека в мире».

Эккартсгаузен лежал рядом с Некрасовым, Анна Радклиф — с томом «Современника», тут же были журнал «Искра» за 1864 год, «Камень веры» и книжки на украинском языке.

Страстный любитель книги, Смурый, однако, плохо разбирался в ней. Больше всего у него было книг XVIII века, тех уже никому не нужных книг, которые подсовывали малограмотному читателю жуликоватые продавцы.

Все это без особого выбора Смурый заставлял Горького читать ему вслух. И столь бескорыстна была его воодушевленная приверженность к книге, что он и у Горького возбудил сильнейший интерес к чтению, заставил его «убедиться в великом значении книги и полюбить ее».

Среди книг Смурого попадались и произведения классической литературы. Так, потрясающее впечатление на чтеца и на слушателя произвела повесть Гоголя «Тарас Бульба».

Бывало и так, что вкусы их резко расходились. Лубочное «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», сначала весьма понравившееся Горькому,

было подвергнуто поваром в буквальном смысле уничтожающей критике, книга была смята и выброшена им за борт парохода.

Осенью 1880 года Горький вынужден был вернуться к чертежнику Сергееву.

Помимо внушенной Смурым тяги к чтению, жизнь на пароходе в это первое лето его службы дала Горькому многочисленные и значительные впечатления о людях. «Мне казалось, что за лето я прожил страшно много, постарел и поумнел, а у хозяев в это время скука стала гуще».

Встреча со Смурым оказала глубокое влияние на жизнь Горького. Страсть к чтению с тех пор не оставляла его. Вернувшись на службу к Сергееву, он стал теперь читать все, что попадалось под руку.

Эта страсть принесла ему и небывалые наслаждения и много тяжких обид. В доме Сергеева чтение преследовалось как вредное занятие. С большим риском доставая книги, Горький забирался на чердак, в сарай, пытался читать ночью при свете луны или самодельного светильника — свечи были для него недоступной роскошью.

Что же читал Горький?

В ту пору общественные библиотеки были завалены особой литературой, имевшей в провинции огромный успех: то были «авантюрные» романы преимущественно французских писателей.

Естественно, что когда Горький-подросток дорвался до книги, то первой же книгой, полученной им из общественной библиотеки Нижнего, был один из таких романов — «Трагедии Парижа».

«Это был роман Ксавье-де-Монтепена, длинный, как все его романы, обильный людьми и событиями, изображавший незнакомую, стремительную жизнь... Сразу возникло настойчивое желание помочь этому, помешать тому, забывалось, что вся эта неожиданно открывшаяся жизнь насквозь бумажная; все забывалось в колебаниях борьбы, поглощалось чувством радости на одной странице, чувством огорчения на другой».

Романы такого характера пленили мальчика не-

сходством изображенной там жизни с жизнью окружавшей его среды. Он вспоминал: «Горшки, самовары, морковь, курицы, блины, именины, похороны, сытость до ушей и выпивки до свинства, до рвоты — вот что было содержанием жизни людей, среди которых я начал жить».

А романы, пленившие Горького неукротимой энергией своих героев, превратностью их судеб и стремительным движением событий, показывали иную жизнь — жизнь больших желаний и чувств.

Разумеется, эти «герои» были надуманы, и «подвиги» они совершали фантастические. Но романы эти говорили впечатлительному мальчику, задыхавшемуся в атмосфере «свинцовых мерзостей жизни», о каких-то других людях, сильных и смелых.

И Горький вспоминал позднее:

«Рокамболь учил меня быть стойким, не поддаваться силе обстоятельств, герои Дюма внушали желание отдать себя какому-то важному, великому делу». «И, мальчишка, задерганный дурацкой работой, обижаемый дурацкой руганью, я давал сам себе торжественное обещание помочь людям, честно послужить им, когда выросту».

Горький-писатель сложился как великий продолжатель русской классической литературы. Но по условиям жизни и быта в отрочестве своем он был поглощен чтением обильной литературы, качество которой было часто весьма невысоким. Только в силу своей пытливости и своего творческого воображения он находил мед знания всюду — и в «авантюрных» романах полуремесленного типа и в иллюстрированных журналах для «семейного» чтения.

Постоянное сопоставление книги и жизни расширяло его знания.

«Я видел, что есть люди, которые живут хуже, труднее меня, и это несколько утешало, не примиряя с оскорбительной действительностью; я видел также, что есть люди, умеющие жить интересно и празднично, как не умеет жить никто вокруг меня».

Впрочем, техника «авантюрных» романов скоро стала ясна Горькому.

«Бывало уже с первых страниц начинаешь догадываться, кто победит, кто будет побежден, и как только станет ясен узел событий, стараешься развязать силою своей фантазии».

Это однообразие романов с выдуманными героями и выдуманными злодеями «становилось не только скучным, но и возбуждало смутные подозрения».

Горькому было тринадцать лет, когда он находился в таком состоянии читательского кризиса и когда ему в груде «авантюрных» романов попались книги Бальзака, произведшие на него «впечатление чуда».

«Евгения Гранде» поразила его своей правдой — «не было злодеев, не было добряков, были простые люди, чудесно живые».

«Старик Гранде ярко напомнил мне деда, было обидно, что книжка так мала, и удивляло, как много в ней правды. Эту правду, очень знакомую мне и надоевшую в жизни, книга показывала в освещении совершенно новом — незлобивом, спокойном».

Столь же сильное впечатление художественной правды Горький испытал при знакомстве с произведениями Э. Гонкура, Флобера, Стендаля.

«Помню, «Простое сердце» Флобера я читал в Троицын день, вечером, сидя на крыше сарая, куда залез, чтобы спрятаться от празднично настроенных людей. Я был совершенно изумлен рассказом, точно оглох, ослеп, — шумный весенний праздник заслонила предо мной фигура обыкновеннейшей бабы, кухарки, которая не совершила никаких подвигов, никаких преступлений. Трудно было понять, почему простые, знакомые мне слова, уложенные человеком в рассказ о «неинтересной» жизни кухарки, — так взволновали меня?..»

Творчеству Бальзака, Флобера, Стендаля Горький остался верен всю жизнь. Он высоко ценил великолепный реализм этих французских писателей. Он сам учился писать у них и советовал молодым писателям чаще обращаться к их творчеству.

Но неизмеримо большее влияние оказали на него

чудесные произведения русской классической литературы.

Вот в руках у него поэмы Пушкина. «Я прочитал их все сразу, охваченный тем жадным чувством, которое испытываешь, попадая в невиданно красивое место, — всегда стремишься обежать его сразу. Так бывает после того, как долго ходишь по моховым кочкам болотистого леса и неожиданно развертывается перед тобою сухая поляна, вся в цветах и солнце».

Пушкин вернул его к знакомым ему с детства истокам народного творчества, необычайно обогатив их.

«Пролог к «Руслану» напомнил мне лучшие сказки бабушки, чудесно сжав их в одну... Полнозвучные строки стихов запоминались удивительно легко, украшая празднично все, о чем говорили они... стихи звучали, как благовест новой жизни... Великолепные сказки Пушкина были всего ближе и понятнее мне; прочитав их несколько раз, я уже знал их на память; лягу спать и шепчу стихи, закрыв глаза, пока не усну».

Произведения других русских поэтов и прозаиков укрепили в нем уверенность: «Я не один на земле — и не пропаду!»

Однако и очень пылкой должна была быть эта надежда «не пропасть», особенно в минуты, когда ей резко противостоял неодолимо враждебный мир.

«Скука, холодная и нудная, дышит отовсюду: от земли, прикрытой грязным снегом, от серых сугробов на крышах, от мясного кирпича зданий; скука поднимается из труб серым дымом и ползет в серенькое низкое и пустое небо; скукой дымятся лошади, дышат люди. Она имеет свой запах — тяжелый и тупой запах пота, жира и конопляного масла, подовых пирогов и дыма; этот запах жмет голову, как теплая, тесная шапка, и, просачиваясь в грудь, вызывает странное опьянение, темное желание закрыть глаза, отчаянно заорать, бежать куда-то и удариться головой с разбега о первую стену».

Такую тяжелую память оставил у Горького нижегородский Гостиный двор, где после трехлетней

службы у Сергеева он был продавцом в иконной лавке купца Салабанова.

Немногим лучше было и в иконописной мастерской того же хозяина — Горький работал там вечерами. Однако новым было то, что здесь Горький впервые почувствовал себя в трудовом коллективе и, еще будучи подростком, среди людей в большинстве своем много старше его, ощутил потребность быть нужным людям, передавать им свои знания.

Тягостная скука царила в мастерской. Работа иконописцев была разделена на ряд отдельных механических действий, «неспособных возбудить любовь к делу, интерес к нему».

Иногда Горькому удавалось разрядить несколько эту скуку своими рассказами.

Как рассказчика и чтеца его ценили. Он читал мастерам все, что попадалось под руку, — рассказы Голицынского, романы Булгарина, барона Брамбеуса, Рафаила Зотова — все, что нашлось в сундучке одного из иконописцев.

Если «Очерки фабричной жизни» Голицынского в 70—80-х годах XIX века входили даже в рекомендательные народнические списки книг для чтения, то нравоописательные «бытовые» романы Булгарина и «фантастические» повести Сенковского (барона Брамбеуса) и в мещанской среде уступили свое прежнее место изделиям французской кухни.

Со стороны достали Лермонтова, и Горький вспоминал, как он, читая иконописцам «Демона», почувствовал силу поэзии, ее могучее влияние на людей.

Горький близко сошелся с учеником-иконописцем Павлом Одинцовым. Это был бойкий и умный юноша, талантливый рисовальщик и карикатурист.

В дни зимних вьюг и особо тяжелой, мучительной скуки, когда даже книги не помогали, Горький с помощью Одинцова старался развлечь мастеров другим способом.

Они мазались сажей и красками, навешивали на головы пеньковые пряди — «парики» — и разыгрывали «комедии».

Вспомнив лубочную книжку «Предание о том, как солдат спас Петра Великого», Горький изложил ее «в разговорной форме». Актеры влезали на полати и лицедействовали там, весело срубая головы воображаемым шведам, при общем хохоте публики.

«Ей особенно нравилась легенда о китайском чорте Цинги-Ю-Тонге; Пашка изображал несчастного чорта, которому вздумалось сделать доброе дело, а я — все остальное: людей обоего пола, предметы, доброго духа и даже камень, на котором отдыхал китайский чорт в великом унынии, после каждой из своих безуспешных попыток сотворить добро».

«Легенда о китайском чорте» является, несомненно, или лубочной переделкой, или самим романом Рафаила Зотова «Цин-Киу-Тонг, или три добрые дела Духа Тьмы».

Некий дух по имени Цин-Киу-Тонг, из числа падших ангелов, в отличие от всех других своих собратий, задумал делать на земле не зло, а добро. С этой целью он стал доставлять людям золото; но оказалось, что филантропия только развращает людей, что бедным людям нужно не золото, а смирение, преданность власти, закону и религии.

Чтобы такой нестерпимо скучный и мещански-нравоучительный сюжет обернуть занимательной комедией, нужно было обладать хорошей и веселой фантазией.

И все же удручал, отталкивал темный быт мастерской, тягучее пьянство, злые ссоры и драки.

«Вокруг меня вскипала какая-то грязная каша, и я чувствовал, что потихоньку развариваюсь в ней.

Думалось: неужели вся жизнь такая? И я буду жить так, как эти люди, не найду, не увижу ничего лучше?»

Уйдя из мастерской, он снова поступает на службу к Сергееву, работает у него десятником на ярмарочных постройках, живет среди артельных рабочих из деревень — плотников и каменщиков.

Он стремится допытаться и здесь до сути этих не всегда понятных ему людей. Будучи свидетелем того, как при неудачах такие люди опускались «на

дно» городской жизни, Горький сам бродит по Миллионной улице, присматриваясь к населяющим ее босякам.

«Все это были люди, отломившиеся от жизни, но казалось, что они создали свою жизнь, независимую от хозяев и веселую. Беззаботные, удалые, они напоминали мне дедушкины рассказы о бурлаках, которые легко превращались в разбойников и отшельников».

Но ни среди людей, «отломившихся от жизни», ни среди людей, которые твердо уверены были в совершенстве словно для них установленного порядка жизни, которым копейка служила солнцем в небесах, не находил он себе места, и его короткий жизненный путь, казалось ему, кончится тревожным итогом.

«Лет пятнадцати, — вспоминает Горький, — я чувствовал себя на земле не крепко, не стойко, все подо мною как будто покачивалось, проваливалось, и особенно смущало меня незаметно родившееся в груди чувство нерасположения к людям.

Мне хотелось быть героем, а жизнь всеми голосами своими внушала:

— Будь жуликом, это не менее интересно и более выгодно...»

Во время этих метаний некий Клещов, трактирный певец, внушил ему беспокойную мечту. Клещов обладал таинственной и редкой силой заставлять трактирных завсегдатаев слушать себя, его песни были милым голосом другой жизни, более приглядной, чистой, человечьей.

«Тогда я вспомнил, что ведь и мне, в иконописной мастерской, на ярмарке среди рабочих, удавалось иногда вносить в жизнь людей нечто приятное им, удовлетворявшее меня... Может быть, мне действительно надо идти в цирк, в театр, — там я найду прочное место для себя?» *

Горький поступает в ярмарочный театр стати-

---

* «Направлять себя» в цирк или в театр советовали Горькому его товарищи по иконописной мастерской. — *И. Г.*

стом. Театр снова всколыхнул его книжные увлечения.

«Влюбленные виконты и маркизы, несчастный актер Яковлев, героический Несчастливцев, дон Сезар де Базан, Карл Моор, разбойники, купцы и Квазимодо, — все эти плохо сшитые кошели, полные звенящей медью романтизма, кружили мне голову, вызывали чувства, уже знакомые по книгам. Разумеется, я уже видел себя играющим роль гениального Кина, и мне казалось, что я нашел свое место. Недели три я жил в тумане великих восторгов и волнений».

Грубый эпизод за кулисами произвел такое впечатление на Горького, что он ушел из театра, и на этом закончилась театральная «карьера» его.

Весь этот пестрый и громоздкий запас впечатлений — подлинная жизнь Нижнего с удушьем его купеческо-мещанского быта, с повседневным трудом на «хозяев жизни» и жизнь книжная, *вымышленная, романтическая,* зовущая к высоким деяниям, — все это спуталось, переплелось в сознании Горького, внушая ему сильные, хотя и противоречивые порывы.

Вдохновленный романтикой книг, он искал какой-то ясной правды — «твердой и прямой, как шпага»: вооружиться бы ею и уверенно идти сквозь хаос противоречий! Но противоречия казались неодолимыми. Жизнь обнажила перед ним много мерзости и грязи; он начинал относиться в людям подозрительно, с отвращением и бессильной жалостью, стремился отойти в сторону, мечтал о «тихой одинокой жизни с книгами, без людей, о монастыре, лесной сторожке, железнодорожной будке, о должности ночного сторожа где-нибудь на окраине города». И в то же время, чем мрачнее казалась жизнь, чем могущественнее была сила «буднично-страшного», тем сильнее и неуклоннее рос в нем импульс борьбы. И тогда он немедля, без отступления, «как надлежало храброму герою французских романов, по третьему слову выхватывал шпагу из ножен, становился в боевую позицию» и при враждебном натиске этой силы «напряженно оборонялся, сцепив зубы, сжав кулаки».

Но силы все же были очень неравные, и все чаще ему думалось: «Надобно что-нибудь делать с собой, а то — пропаду...»

Повесть «В людях» рассказывает об этих поисках выхода из казавшегося порою непреодолимым жестоко-тяжкого мещанского мира.

К шестнадцати годам у Горького созрело решение пробиться к учению, к университету, сделать своего рода «прыжок из царства необходимости в царство свободы», хотя это было всего лишь переездом из Нижнего в Казань и хотя именно в Казани-то ему и представилась полная возможность «пропасть».

3

По приезде в Казань Горькому стало ясно, что об университете нечего и думать. Началась отчаянная борьба за существование.

На первое время Горького приютила семья знакомого по Нижнему гимназиста; семья эта сама жила впроголодь.

С утра уходил он на поиски работы, чтобы не обременять приютивших его, а в непогоду отсиживался на пустыре, в обширном подвале полуразрушенного здания.

«Там... под шум ливня и вздохи ветра я скоро догадался, что университет — фантазия... Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов».

В поисках заработка Горький ходит на Волгу, к пристаням, работает на Устье, пилит дрова, таскает грузы и живет среди босяков — людей, которые своей психологией и бытом заинтересовали его еще в Нижнем, на «Миллионке». Но там Горький был только наблюдателем, здесь он вплотную сблизился с ними, слился с этой средой.

То было время тягчайшего экономического кризиса. Промышленный кризис начала и середины 80-х годов выкидывал на улицу огромное количество безработных, а усилившийся процесс обнищания деревни вытеснял из нее и таких крестьян, которые до

той поры еще имели силы держаться на своих нищенских наделах.

Не было не только города, но даже местечка или большого села, где бы не встречалось целого поселения босяков. Впрочем, слово «поселение» здесь малопригодно, потому что сотни тысяч этих людей по условиям быта были поставлены вне человеческих жилищ.

Они населяли городские сады, прибрежные ямы и расщелины, жили на плотах, под мостами, на пристани, в базарных ларях, спали в старых, заброшенных вагонах, сараях и разных складах или просто «у генерала Лопухова», то есть под лопухом, в канаве. Явление было одинаковым на огромном пространстве страны, хотя люди в разных местах назывались по-разному: голяки, зимогоры, раклы, посадские, жиганы, ночные птицы, галахи... Их объединяло и одно общее название — «золотая рота».

И особенно много скоплялось босяков у волжских пристаней, так как тут во время навигации можно было найти погрузочную работу. По зимам же они ютились в приволжских городах, голодали и мерзли.

Создалась повсеместно особая категория предприимчивых людей, владельцев темных трущоб, превращенных в ночлежки; ночлег стоил в них две-три копейки, с охапкой соломы — пять копеек. Люди спали здесь вповалку и давали иному хозяину доход в несколько десятков рублей в месяц.

Но ни ночлежные дома, организованные городскими думами и существовавшие только в немногих центрах, ни частные трущобы не могли вместить всех нуждавшихся в жилье, да и плата за ночлег была далеко не всем доступна.

Царское правительство, обеспокоенное повсеместным накоплением этой горючей энергии, этим огромным количеством ожесточенных и беспокойных людей, открыло настоящий поход против безработных и обнищавших масс. Учреждались для них «рабочие дома» с арестантским режимом, беспаспортными набивались тюрьмы, «непомнящие родства» полу-

чали розги и арестантские роты, за «бродяжничество» полагалась пересылка в кандалах по этапу в Восточную Сибирь.

Это движение массы людей с поденщины в трущобы и канавы, из трущоб и канав в тюрьму, из тюрьмы в арестантские роты, из арестантских рот в Сибирь, из Сибири вновь по российским полям и дорогам, снова на голодную поденщину и в канавы, это движение миллионов вырабатывало своеобразные характеры, создавало невиданный быт.

Эта жизнь людей, обреченных на голод и холод, людей со случайным заработком, сплошь и рядом идущим на пропой, выдвигала из безликой массы обездоленных отдельных бунтарей.

К обществу сытых — хозяев жизни — они питали жгучую злобу и презрение, от бесшабашной дерзости они переходили к безоглядному отчаянию. Между ними создавались иногда дружеские связи, эти связи легко возникали, но еще легче порывались.

В Казани, большом портовом городе, в эти годы на сто двадцать тысяч населения приходилось до двадцати тысяч людей, обреченных на ожесточенную борьбу за жизнь.

В их среде оказался Горький, когда обнаружилось, что его мечты об учении обернулись химерой, и место запретного для него университета заняли открытые и широкодоступные казанские трущобы и пристани.

«Там, среди грузчиков, босяков, жуликов я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли — каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там передо мной вихрем кружились люди оголенно-жадные, люди грубых инстинктов, — мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Все, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду».

Нудная и душная жизнь мещан-эксплуататоров вызывала у Горького острую ненависть, «авантюрные

романы» внушали ему мечты о «необыкновенных подвигах».

Среди таких впечатлений полная невзгод жизнь босяков привлекала и будоражила его воображение.

«...По всей логике испытанного мною, — вспоминал Горький, — было бы вполне естественно, если бы я пошел с ними. Оскорбленная надежда подняться вверх, начать учиться — тоже толкала меня к ним».

В часы голода, злости и тоски эти решительные приступы отчаяния являлись началом того, чтобы «пропасть» — погрузиться в «едкую среду» бездомных, ожесточенных, озлобленных, но бессильных масс.

Полицейская расправа, классовый суд, веревка и наручники замыкали босяцкий мир с мучительной неизбежностью.

Эта обреченность и порождала часто душевное опустошение людей, о которых сказал Горький в одном из позднейших писем:

«Вообще русский босяк — явление более страшное, чем мне удалось сказать, страшен человек этот прежде всего и главнейше — невозмутимым отчаянием своим, тем, что сам себя отрицает, низвергает из жизни» [2].

Волевое напряжение и сила молодости помогли Горькому преодолеть силу пассивного отчаяния, а реальное чувство жизни — миражи литературной условности. «Кроме... бульварных романов я уже прочитал немало серьезных книг, — они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более значительному, чем все, что я видел».

Прильнуть к «чему-то неясному, но более значительному» он получил возможность, когда случайные знакомства дали ему доступ в бакалейную лавочку мелкого казанского торговца Андрея Степановича Деренкова.

Лавочка эта была необычная. В квартире ее хозяина, тут же при лавке, в сокровенном чулане, скрыта была «нелегальная» библиотека, постепенно, годами собиравшаяся казанской молодежью.

Деренков, распропагандированный студентами, охотно предоставлял свою квартиру для шумных со-

браний и споров революционно настроенной молодежи. Помещение было удобно — каждый мог пройти под видом покупателя, и полиция долго не догадывалась о «преступном» характере лавочки.

И вот Горький присутствует на шумных сборищах людей, которые «жили в настроении забот о русском народе, в непрерывной тревоге о будущем России. Всегда возбужденные статьями газет, выводами только что прочитанных книг, событиями в жизни города и университета, они по вечерам сбегались в лавочку Деренкова со всех улиц Казани для страстных споров и тихого шопота по углам».

Впечатления Горького были тем сильнее, что не только речи, но и самый тип людей был для него невиданный.

«...Впервые, — вспоминал он впоследствии, —увидел я людей, жизненные интересы которых простирались дальше забот о личной сытости, об устройстве личной спокойной жизни, — людей, которые прекрасно, с полным знанием каторжной жизни трудового народа, говорили о необходимости и верили в возможность изменить эту жизнь» *(XXIV, 437)*.

Весь личный жизненный опыт Горького, казалось ему, совпадал с этими усилиями. «Задачи, которые они пытались решать, были ясны мне, и я чувствовал себя лично заинтересованным в удачном решении этих задач. Часто мне казалось, что в словах студентов звучат мои немые думы, и я относился к этим людям почти восторженно, как пленник, которому обещают свободу».

О чем же спорила казанская молодежь в лавочке Деренкова?

Революционное народничество, организовавшись в партию «Народной воли», еще верило в социалистическую природу крестьянства. «Народная воля» повела героическую борьбу с царским правительством. Но ее высшее достижение — казнь Александра II в 1881 году — было в то же время и ее поражением, началом ее полного распада.

И хотя на екатеринославском народовольческом съезде в 1885 году и велись еще речи о том, что

«борьба вступила в длительную фазу» и что «должна вестись широкая литературная пропагандистская и агитационная работа для подготовления общества и широких масс», но, в сущности, это была уже программа пропаганды среди либеральных элементов «общества» и среди людей с весьма общим «радикальным» настроением.

Оставалась еще работа в кружках рабочей молодежи, студенческой, семинарской, воспитанников учительских институтов, в кружках, начинавших с самообразования и переходящих к политике, получивших к тому времени широкое распространение как в губернских городах, так и в более глухих углах.

Сильнейшим толчком к распространению кружков было появление в начале 70-х годов нового устава классических гимназий, с двумя древними языками, изучение которых, по мысли министра Д. Толстого, должно было отвлекать молодежь от политических интересов. Устав этот высмеян Щедриным в его проекте «О необходимости оглушения в смысле временного усыпления чувств».

Столь же непосредственной реакцией молодежи на систематическое запрещение и изъятие из школьных, университетских и общественных библиотек просветительного наследия 60-х годов была и организация повсеместно «нелегальных» библиотек, которыми молодежь восстанавливала для себя нужный ей книжный фонд, разоряемый правительством.

Одной из библиотек такого рода в Казани и была библиотека при лавочке Деренкова.

«Часть ее книг, — вспоминает Горький, — была переписана пером в толстые тетради, — таковы были «Исторические письма» Лаврова, «Что делать?» Чернышевского, некоторые статьи Писарева, «Царь Голод», «Хитрая механика», — все эти рукописи были очень зачитаны, измяты»[3].

Основное же ядро ее составляли тщательно подобранные публицистические произведения революционных демократов: Чернышевского, Добролюбова, Щедрина и других.

Казанские кружки получили особое развитие как вследствие наличия в Казани нескольких учебных заведений, в том числе одного из старейших университетов, так и вследствие того, что Казань стояла на пути сибирской политической ссылки и возникавшие на этой почве связи заостряли политические интересы кружков.

Занятиями руководили старшие товарищи из наиболее начитанных. Члены кружков собирались два раза в неделю для совместного чтения и освоения политической литературы, на темы которой члены кружка писали рефераты.

Выступил с рефератом на одном из кружков и Горький.

Однако чтение им реферата об «Азбуке социальных наук» Флеровского кончилось, по его словам, «очень скандально». Вместо простого изложения популярной у народнической молодежи книги он вставил свой тезис, не соглашаясь «с культурной ролью пастушеских и мирных племен» и предпочитая им племена охотников и буянов, за что и был «жестоко высмеян» местными авторитетами [4].

Народники-руководители свято хранили и отстаивали веру в то, что мирное расширение прав крестьянской общины и укрепление «общинных идеалов» явится прямым переходом к социализму в силу высоких этических свойств русского мужика, «прирожденного социалиста».

Эта абстрактная догма народников резко противоречила реальному жизненному опыту Горького. «Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным и единосущным, вместилищем начал всего прекрасного, справедливого, величественного. Я не знал такого народа. Я видел плотников, грузчиков, каменщиков, знал Якова, Осипа, Григория...»

Смутное сознание противоречия между его опытом и книжной догмой народников, согласно которой народ — крестьянство — был «существом почти богоподобным и единосущным», — это закравшееся сомнение еще не мешало горячим увлечениям Горь-

кого. «Освежающим дождем падали на сердце мое речи народопоклонников, и очень помогла мне наивная литература о мрачном житии деревни, о великомученике-мужике. Я почувствовал, что только очень крепко, очень страстно любя человека, можно почерпнуть в этой любви необходимую силу для того, чтобы найти и понять смысл жизни».

Горький знал после конспиративных кружковых бесед, что «давно и повсеместно делались попытки изменить порядок жизни, что и теперь кое-кто пробует на этом свои силы».

Ему представилась возможность применить свои собственные силы на этом деле, когда он после года жизни в Казани, проведенного в тяжких и едких переживаниях среди босяков, скитаниях по ночлежным домам и пристаням, после жизни в трущобе «Марусовке», нашел, наконец, себе постоянное «место», без которого жизнь стала для него непомерно тяжкой.

Это было место крендельщика в булочной казанского купца Семенова. В автобиографической повести «Хозяин» Горький рассказывает, как он пришел наниматься к Семенову:

«...Я видел, что он в тяжком похмелье. Красные бугры над глазами его поросли едва заметным желтым пухом, и весь он странно напоминал огромного уродливого цыпленка.

— Айда прочь! — сказал он веселым голосом, дохнув на меня густою струей перегара... Я повернулся спиной к нему и не торопясь пошел к воротам.

— Эй! Три целковых в месяц — хошь?

Я был здоров, мне семнадцать лет, я грамотен и — работать на этого жирного пьяницу за гривенник в день? Но — зима не шутит, делать было нечего; скрепя сердце я сказал:

— Ладно».

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Темный, закоптелый подвал крендельной мастерской словно глухой стеной заслонил от Горького шумный мир горячих речей, к которым он так жадно прислушивался. Отголоском этих речей была та «пропаганда», с которой он обращался к своим товарищам по работе.

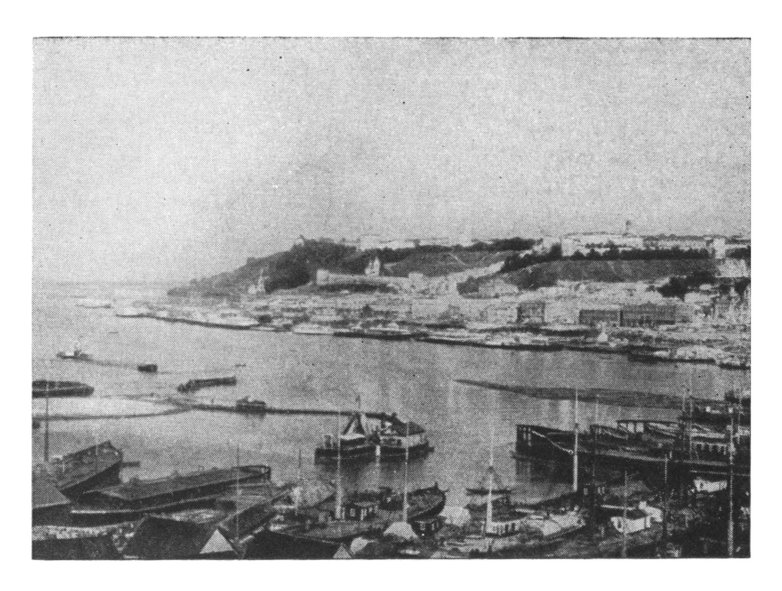
«Чорт знает, что я говорил этим людям, но, разумеется, все, что могло внушить им надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни».

Одни из крендельщиков отнеслись к нему дружески и сердечно, не придавая, впрочем, значения его «пропаганде»; другие смотрели на него, как на блаженного и чудака, в лучшем случае — как на забавного рассказчика.

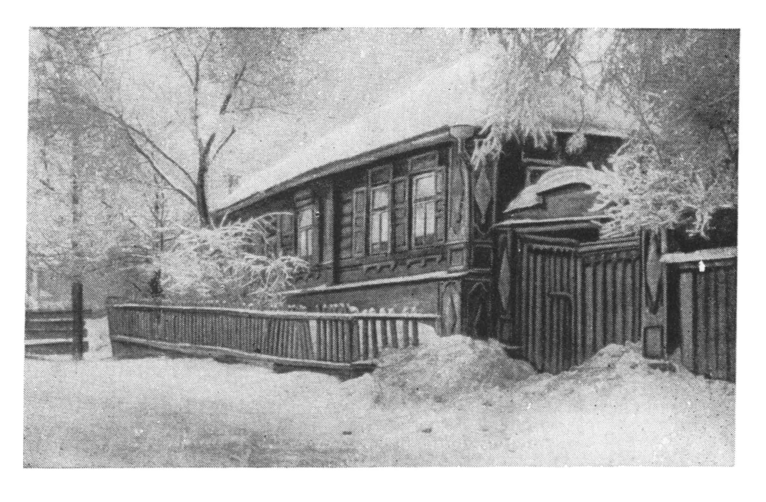
Они дали Горькому точное понятие о его новом хозяине:

«Он — озорник, любит издеваться над людьми для забавы и чтобы показать свою власть; он жаден, харчи дает скверные, только по праздникам щи с солониной, а в будни—требуха... а работы требует семь мешков каждый день, — в тесте это сорок девять пудов, и на обработку мешка уходит два с половиной часа» [5].

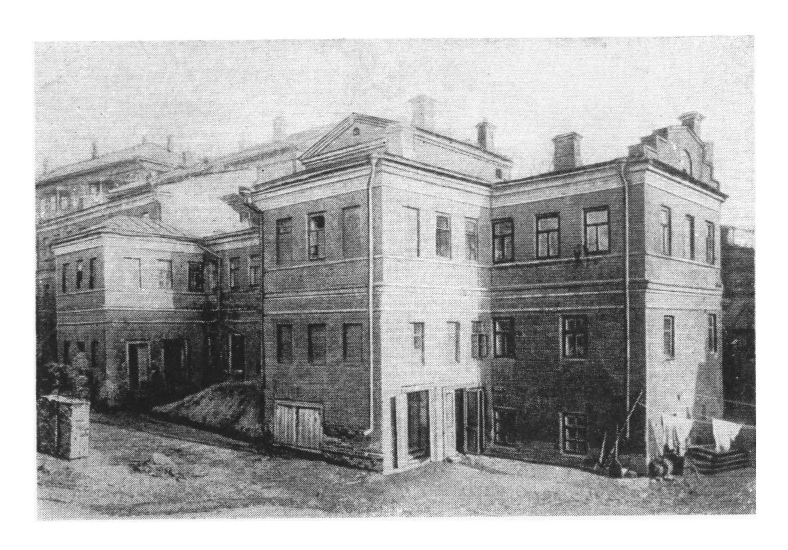
Но кулацко-патриархальные скрепы были еще столь сильны, что и при такой изнуряющей эксплуатации еще не изжиты были у закабаленного полукрестьянина-полурабочего представления о том, что «хозяин — свой брат», только более удачливый, что



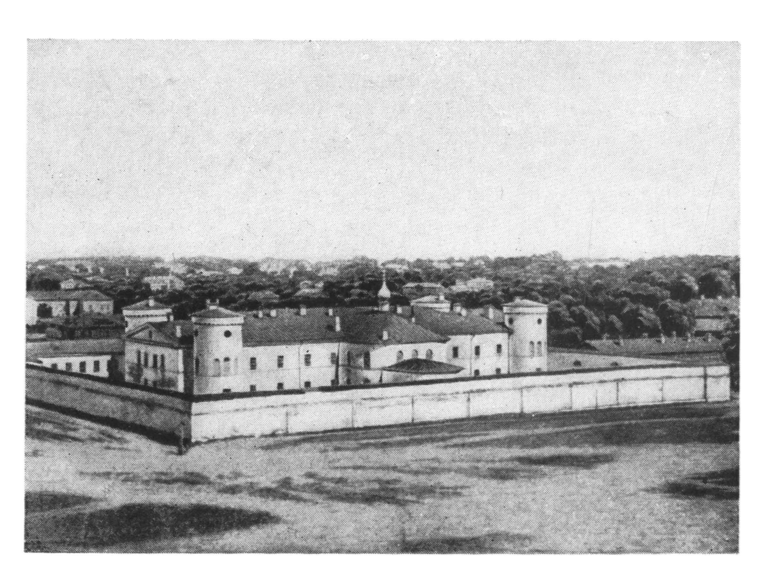
Нижний-Новгород. Общий вид.



Нижний-Новгород. Дом Кашириных.



Казань. «Марусовка».



Нижегородский острог, где сидел А. М. Горький.

хозяин «кормит», что «надобно стараться... чей хлеб едим?».

«...Я порою, — вспоминал Горький, — ощущал вспышки ненависти к упрямо терпеливым людям, с которыми работал. Меня особенно возмущала их способность терпеть, покорная безнадежность, с которой они подчинялись полубезумным издевательствам пьяного хозяина».

Вместе с рабочими Семенова Горький побывал и в других крендельных городах, так как «хозяева», получив большой и срочный заказ на товар, «занимали» пекарей друг у друга. Он наблюдал жизнь сотни крендельщиков и всюду видел ту же печать бесправия, тяжкой эксплуатации рабочих.

Приняв от товарищей приглашение пойти с ними на пасхальные праздники домой на побывку, он провел две недели, «гуляя» из деревни в деревню, убеждаясь в том, какая печать забитости и косности лежит и на самой деревне, столь восхваляемой народниками за высокие и абстрактные этические свойства ее насельников, якобы социалистов по самой своей природе.

Наблюдая жизнь деревни, Горький «забывал о книжках, в которых сладко и красиво описывалась крестьянская жизнь, восхвалялась «простодушная мудрость» мужика, о статьях, в которых убедительно говорилось о социализме, скрытом в общине, о «духе артельности». Тяжелых впечатлений было много, они решительно противоречили показаниям литературы...»

Идеалистические представления этой литературы — повести Златовратского, Засодимского, Нефедова, Каронина и других беллетристов-народников 70-х годов — тускнели и разрушались не только от сопоставления с повседневной реальностью, им противостояла и литература другого порядка, те писатели-разночинцы донароднической формации, которых Горький вспоминает характерными эпитетами: «озлобленный и грубый натуралист Николай Успенский», «мрачный Решетников», «осторожный и скромный скептик Слепцов», «талантливый и суровый реалист Помяловский» — правдивые изобрази-

тели противоречий российской действительности и тех вековых тягот, что лежали на русском трудовом народе.

Решетникова (в числе других авторов) Горький читает товарищам по работе, чтением и беседой стремясь внушить им «надежду на возможность иной, более легкой и осмысленной жизни».

«Иногда это удавалось мне, и, видя, как опухшие лица освещаются человеческой печалью, а глаза вспыхивают обидой и гневом, — я чувствовал себя празднично и с гордостью думал, что «работаю в народе», «просвещаю» его».

Однако действительная надежда на возможность иной жизни ковалась историей другими путями — не «просвещением» по народнической программе.

Жизнь в подвале Семенова, хозяина со всеми приемами чудовищной эксплуатации, своей остротой кричащих классовых противоречий толкала Горького на другие пути, и недаром впоследствии, в полемике с народниками, он писал:

«Вы скажете — марксист! Да, но марксист не по Марксу, а потому, что так выдублена кожа. Меня марксизму обучал лучше и больше книг казанский булочник Семенов...» *(XXIX, 218)* *.

Работа Горького в мастерской Семенова занимает в жизни его особое место, потому что он выступил здесь инициатором и организатором стачки рабочих.

Пример был у него перед глазами. Незадолго до того прогремела знаменитая Морозовская стачка 1885 года, положившая начало широким массовым выступлениям русских рабочих против своих хозяев и царского правительства.

В истории русского общественного движения Морозовская стачка сыграла громадную роль и послужила как бы введением к третьему периоду (по

* Горький хотел сказать этим, что он шел к марксизму не только и не столько книжным, теоретическим путем, а потому, что сама жизнь, борьба рабочих со своими классовыми врагами привела его к марксизму.

Ленину) русского освободительного движения — пролетарскому.

Однако такой революционный способ борьбы за интересы эксплуатируемых противоречил мировоззрению поздних народников, уже соскользнувших к этому времени в своем большинстве на позиции буржуазного либерализма и «постепеновщины», теории и практики малых дел.

И Горький был здесь одинок, пришел к организации стачки вопреки своим казанским учителям, потому что действительно уже к тому времени у него была так «выдублена кожа».

Сцена стачки в повести «Хозяин», когда забитые, еще связанные всеми предрассудками деревни рабочие поднимаются в свою защиту, является единственной в русской литературе и исключительной силы художественной иллюстрацией к этому раннему периоду зарождения пролетарской борьбы.

Конец этой автобиографической повести известен: хозяин, заинтересованный в том, чтобы удержать у себя рабочих на прежних условиях, встречается с ними в трактире, «ставит» пиво и обходит их примиряющими речами об их якобы общей близости: «Мы — свои люди... Мы тут почитай все — одной семьи, одной волости...»

И от этой мнимой близости «хозяина — своего брата» «окончательно размякли, растаяли жадные на ласку, обворованные жизнью человечьи сердца».

Дело в том, конечно, что классовое сознание крендельщиков отличалось далеко не той остротой, какая была у самого Горького.

Характеризуя «средневековые формы эксплуатации», В. И. Ленин писал о том, что они «были прикрыты *личными* отношениями господина к его подданному, местного кулака и скупщика к местным крестьянам и кустарям, патриархального «скромного и бородатого миллионера» к его «ребятам»...» *

Подавленный «примирением» рабочих с хозяином, Горький ушел от Семенова, чувствуя, что ему

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 1, стр. 383.

не место в его мастерской. Он служит дворником и садовником, потом хористом в местной опере; пришлось бы ему испробовать и многие другие профессии, если бы не помогли старые связи.

Андрей Деренков, по-прежнему искренне сочувствовавший радикально настроенной молодежи, придумал открыть в помощь ей булочную.

Эта странная на первый взгляд затея вполне удалась. Номинальным хозяином булочной числился отец Деренкова, а фактическими хозяевами, ведавшими распределением дохода, были представители студенческих кружков.

Горькому, как имевшему уже известный профессиональный опыт, было предложено занять место «подручного» пекаря. В качестве «своего человека» он должен был, кроме того, следить, чтобы пекарь не воровал товар.

Впрочем, то обстоятельство, что Горький был в булочной «своим человеком», не освобождало его от большой и тяжелой физической работы.

«Работая от шести часов вечера до полудня, днем я спал и мог читать только между работой, замесив тесто, ожидая, когда закиснет другое, и посадив хлебы в печь».

И все же эта жизненная перемена имела огромную важность для Горького. Новое приближение к студенческой среде было приближением к библиотеке, к источнику знания, который должен был дать разъяснение мучительным поискам мысли. Юноша снова «бросился на книги, как голодный на хлеб» *(XXV, 339)*.

Несомненно, что в эти годы Горьким был освоен весь круг просветительной и научной литературы 60—70-х годов и что именно в эту еще пору возникло у него то страстное отношение к науке, та непоколебимая вера в ее бесконечное могущество, которая сохранялась у писателя в течение всей его жизни.

Ценой огромного труда Горький упорно преодолевал препятствия, самоотверженно стремясь к знаниям. Это помогло ему стать впоследствии мыслителем-энциклопедистом с колоссальной широтой

кругозора, с редкими познаниями в области истории русской и мировой культуры.

Среди книг, с которыми ознакомился Горький в эти казанские годы, были «Рефлексы головного мозга» Сеченова и «Капитал» Маркса.

Возобновилась и близость к кружковым собраниям и спорам, напоминавшим те, что происходили ранее в квартире при бакалейной лавочке Деренкова.

Когда через два года возникло первое политическое дело о Горьком, казанские жандармы охарактеризовали булочную Деренкова как предприятие, открытое «с весьма подозрительными целями, сущность коих, однако, не представилось возможности выяснить».

Дознались только, что булочная служила «местом подозрительных сборищ учащейся молодежи, занимавшейся там, между прочим, совместным чтением тенденциозных статей и сочинений для саморазвития в противоправительственном духе, в чем участвовал и Алексей Пешков» [6].

Кружковая жизнь, однако, не удовлетворяла Горького. Как и всегда, наряду с книгами и не менее книг интересовали Горького люди.

Он выходит за пределы студенческой среды. И в те редкие дни, когда ему выпадало больше свободного времени, он завязывает знакомства среди рабочих фабрик Крестовникова и Алафузова.

Двух из рабочих того времени, Никиту Рубцова и Якова Шапошникова, он изобразил в «Моих университетах».

Избитые жизнью, изуродованные чудовищной эксплуатацией, умирающий от чахотки слесарь и слепнущий ткач, один с яростной ненавистью к богу, другой еще с некоторыми упованиями на царя, который даст «управу на хозяина», — оба они были представителями того смутного и еще не оформившегося брожения в пролетариате, которое было характерно для времени первого пробуждения его классового сознания.

В среде казанских студентов Горький стал чувствовать себя неуютно и душно, как человек, «который,

имея уже довольно пестрый и угловатый запас впечатлений, случайно попал в окружение людей отлично, а все же несколько однообразно выутюженных тяжкими идеями народопоклонничества» [7].

А в этой среде весьма цепки были еще эти «тяжкие идеи», и народники все еще «анафематствовали», проклинали всех инакомыслящих или сомневающихся; иллюстрацией этого может служить в «Моих университетах» сцена чтения книги Плеханова «Наши разногласия» с фанатическими нападками ортодоксальных народников на автора книги.

Чтение это, на котором присутствовал Горький, происходило в августе 1887 года, в конспиративных условиях за городом. Здесь, на собрании «правоверных» — народников, Горький встретился и с «еретиком» — марксистом.

Это был Федосеев, один из первых марксистов в России, о котором В. И. Ленин писал впоследствии:

«...Для Поволжья и для некоторых местностей Центральной России роль, сыгранная Федосеевым, была в то время замечательно высока, и тогдашняя публика в своем повороте к марксизму несомненно испытала на себе в очень и очень больших размерах влияние этого необыкновенно талантливого и необыкновенно преданного своему делу революционера» *.

В то время гимназист восьмого класса восемнадцатилетний Федосеев, уже убежденный марксист, обратил внимание на молодого рабочего Пешкова, о котором уже говорили в Казани.

Горький так вспоминает о своем знакомстве с Федосеевым в день чтения книги Плеханова:

«...Юноша, наклоняясь с подоконника, спрашивает меня:

— Вы — Пешков, булочник? Я — Федосеев. Нам надо бы познакомиться. Собственно — здесь делать нечего, шум этот надолго, а пользы в нем мало. Идемте?

...Идя со мною полем, он спрашивал, есть ли у меня знакомства среди рабочих, что я читаю, много

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 33, стр. 415.

ли имею свободного времени, и, между прочим, сказал:

— Слышал я об этой булочной вашей, — странно, что вы занимаетесь чепухой. Зачем это вам?

С некоторой поры я и сам чувствовал, что мне это не нужно, о чем и сказал ему. Его обрадовали мои слова; крепко пожав мне руку, ясно улыбаясь, он сообщил, что через день уезжает недели на три, а возвратясь, даст мне знать, как и где мы встретимся».

Встретиться с Федосеевым на общей работе Горькому не пришлось. Этот талантливый юноша только начинал свою деятельность по организации марксистских кружков в Казани и развил ее в следующем году, когда Горького в Казани уже не было. И в это же время Ленин (тогда В. Ульянов), получив в 1888 году после высылки из Казани возможность снова вернуться туда, изучая здесь «Капитал» Маркса, завязав связи с кружками Федосеева, заложил основы своего революционного мировоззрения.

Горькому не суждено было ни установить прочные связи с Федосеевым, ни познакомиться в то время с Лениным. С осени 1887 года жизнь его все более стала заходить в тупик. Непосредственные связи его с рабочей средой были в то время эпизодичны и кратковременны. В среде студентов-народников он был не равным им человеком, а лишь «сыном народа», как они называли его между собой: он был для них как бы наглядным доказательством исповедуемой ими «веры в народ».

Друзей в этой среде у Горького не было. Сила его исканий была огромна, а состояние отчужденности и одиночества охватывало его все более. Годы чрезмерной физической работы и напряженность переживаний подорвали его душевные силы.

Весь противостоящий ему мир в его буднично-тяжкой обстановке противоречил всем его давним ожиданиям. Неприятие этого чуждого мира испытывалось им со всей глубиной. Подорванные силы не поддерживали энергии на поиски новых связей, старые связи все более порывались.

12 декабря 1887 года, купив на базаре старый револьвер, он выстрелил себе в грудь с намерением прострелить сердце.

Пуля миновала сердце и, пробив легкое, засела под кожею спины. В больницу Горький был доставлен очень слабым, почти без сознания.

При первом осмотре, судя по пульсу, положение больного определили как безнадежное. Сомневались даже, целесообразно ли его оперировать.

Однако операция, сделанная хирургом Плюшковым, настолько изменила положение, что на шестой день Горькому позволено было уже сидеть, а на десятый он выписался из больницы.

2

В числе посетителей собраний у Деренкова был человек, особо привлекавший внимание Горького.

«Обыкновенно он сидел где-нибудь в углу, покуривая коротенькую трубку и глядя на всех серыми спокойно читающими глазами. Его взгляд часто и пристально останавливался на моем лице, я чувствовал, что серьезный этот человек мысленно взвешивает меня...»

Это был М. А. Ромась, успевший уже отбыть за свою революционную работу тяжелую и длительную якутскую ссылку. Вернувшись из ссылки в 1885 году, он поселился в Казани и, войдя в подпольные кружки молодежи, посещал и лавочку Деренкова.

Железнодорожному рабочему Ромасю было, повидимому, ясно, что попавший в общество красноречивых студентов рабочий паренек призван не столько для словопрений, сколько для практической работы, и что упрямое лицо его служит тому несомненным доказательством.

Сам Ромась был не охотник до словопрений, и теоретические дискуссии о высоких этических свойствах мужика не заслоняли у него потребности практической революционной работы.

Помогая одному из казанских кружков ставить типографию, он договорился о получении денег из

средств кружка на организацию своей работы в поволжском селе Красновидове. Он решил поселиться в деревне под видом сельского лавочника.

Это был запоздалый опыт поселения интеллигентов-революционеров в деревню с целью пропаганды. Такие поселения широко практиковались в 70-е годы — в пору великого «хождения в народ». Для поселения в деревне революционеры осваивали то или иное ремесло.

В 1888 году, когда Горький снова встретился с Ромасем, он уже около года работал в Красновидове, с величайшей осторожностью изучая обстановку и людей.

Окруженный недоверием и подозрительностью, он сумел подобрать несколько преданных ему сельчан, оценивших твердый характер и благожелательность пришельца.

Мысль о том, чтобы привлечь в помощь себе рабочего паренька, жадно слушавшего речи людей, «готовящихся изменить жизнь к лучшему», явилась у Ромася, вероятно, с самого начала. Но осуществить ее он решился только тогда, когда убедился, что общение со студентами и работа в конспиративной булочной не уберегли юношу от сильного душевного кризиса.

Так возникли отношения между этими двумя людьми, отношения, о которых Горький навсегда сохранил благодарную память.

В 1921 году он писал о Ромасе:

«Жив ли он теперь? Не знаю. Я очень многим обязан ему — он пригласил меня к себе в Красновидово, вскоре после того, как я прострелил себе легкое, покушаясь на самоубийство. Из всех моих знакомых той поры, он один отнесся ко мне внимательно и серьезно» [8].

Вспоминая первый день жизни в Красновидове и долгую, до полуночи, беседу с Ромасем, Горький писал:

«Впервые мне было так серьезно хорошо с человеком. После попытки самоубийства мое отношение к себе сильно понизилось, я чувствовал себя ничтож-

ным, виноватым перед кем-то, и мне было стыдно жить. Ромась, должно быть, понимал это и, человечно просто открыв предо мной дверь в свою жизнь, — выпрямил меня. Незабвенный день».

Здесь Горький в неизмеримо более спокойной обстановке, чем в Казани, много читал. А красновидовская библиотека Ромася представляла для него в этом отношении большие возможности. В первый же день приезда в Красновидово Ромась стал показывать Горькому свои книги: Бокль, Ляйель, Гартполь Лекки, Леббок, Тейлор, Милль, Спенсер, Дарвин, а из русских — Писарев, Добролюбов, Чернышевский, Пушкин, Гончаров, Некрасов...

«Он гладил их широкой ладонью, ласково, точно котят, и ворчал почти умиленно:

— Хорошие книги!»

И все эти «хорошие книги» Горький усердно читал, все они легли в основу его широчайшей образованности.

О своих отношениях с Ромасем и о совместной работе с ним в Красновидове чудесно рассказал Горький на страницах повести «Мои университеты».

Эти же страницы являются для нас источником, по которому мы можем судить о характере революционной деятельности Ромася. И, анализируя формы и суть пропаганды Ромася, мы убеждаемся в том, что исходил он совсем не из того положения, что крестьянская община является преддверием социалистического устройства, что коллективизм мужика уже воспитан общиной и прочее, как думали и говорили народники.

Ромась хотел «будить разум деревни». Это означало у него организацию сил, протестующих против полицейского произвола, против крепостнического строя администрации, против союза его с кулацкой верхушкой, — союз этот был в деревне прямым и верным оплотом крепостничества.

Сохраняя живые идейные связи с традициями революционной демократии 60-х годов, хранителей заветов Чернышевского, Добролюбова, работая во имя «революции», фактически он был культурным деяте-

лем высокого порядка, отчасти того типа, каким был Короленко. Но его «просветительная» работа, ставившая его в непосредственные отношения с крестьянами, не могла быть терпима ни царским правительством, ни новыми буржуазными хозяевами деревни — кулаками, Колупаевыми, Деруновыми.

Нельзя отказать Ромасю в реальном понимании деревенских отношений. Он смеется над эпигонами народничества 70-х годов, бездеятельно прокламирующими свою преданность и любовь к крестьянству как «воплощению мудрости, духовной красоты и добросердечия».

Горький так вспоминает слова Ромася: «Мужику надо внушать — ты, брат, хоть и не плох человек сам по себе, а живешь плохо и ничего не умеешь делать, чтобы жизнь твоя стала легче, лучше. Зверь, пожалуй, разумнее заботится о себе, чем ты, зверь защищает себя лучше».

Пропагандистская работа Ромася, как она рисуется по воспоминаниям Горького, была попыткой организации в деревне демократического движения, борьбы против всех и всяких проявлений кулацкого и полицейского гнета.

Ромася не пугало то, что пробуждение политического самосознания в деревне и пропаганда сопротивления гнету самодержавия и полицейского произвола — дело огромной трудности. Он не скрывал этих трудностей и от своего помощника.

С первых же дней Горькому пришлось убедиться в том, что сельская лавочка ночами представляет собою чуть ли не осажденную крепость и что Ромась в этой обстановке вражды и недоверия сохраняет такое спокойствие духа, какое бывает только у человека, непоколебимо верящего в успех и правоту своего дела. «Если б все люди так спокойно делали свое дело!» — восхищенно думал Горький.

В «Моих университетах» очень явственно дана картина классового расслоения деревни 80-х годов:

«...Заметно, что все люди села живут ощупью, как слепые, все чего-то боятся, не верят друг другу, что-то волчье есть в них».

Обострение классовой борьбы не могло не отражаться на положении городских пришельцев, Ромася и Горького. И если рядовой «хозяйственный мужик» относился к ним с настороженным недоверием, то кулачье проявляло действительно «волчье» отношение.

Ромась продавал товары значительно дешевле других двух сельских лавочников, сообщает Горький, что быстро вызвало их ненависть к конкуренту, и они решили расправиться с ним «по-домашнему» [9].

На Ромася и Горького ночью нападали с кольями, в Ромася дважды стреляли из ружья, начинили полено порохом и взорвали печь у него в избе, надеясь, что от этого погибнут и сам Ромась и его помощник; крестьянина Изота, приверженца Ромася, убили топором, когда он рыбачил.

Все это не останавливало Ромася.

«Когда беретесь за революционное дело, — говорил он, — то уж не можно брезговать никаким тяжелым трудом и надо помнить: корень слова — дело» *(XXIV, 437)*.

Опираясь на сельчан-друзей, Ромась замышлял уже, не ограничиваясь формой кружковой пропаганды, предпринять дело, которое было бы на виду всего села.

В «Моих университетах» сообщается, что Ромась «почти наладил» артель крестьян-садовладельцев для совместного сбыта в городе яблок, помимо наживающихся на этом деле скупщиков — богатеев села.

Таким образом, у осторожного Ромася все предприятие носило вполне легальный характер, и если оно закончило жизнь его и Горького в Красновидове катастрофой, то причиной этого было ожесточенно-враждебное отношение к ним сельской администрации в лице старосты в союзе с местными богатеями, а также колеблющееся отношение средних элементов села; в их интересах устраивалась артель, но они опасались всего нового, являясь носителями психики, которую Ленин определил как «заскорузлую трусливость «хозяйственного мужичка» *.

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 15, стр. 184.

В августе 1888 года перед сбором урожая яблок, жарким утром, лавка Ромася была подожжена и сгорела со всем товаром. «Едва не сгорел и я, — пишет Горький, — захваченный огнем на чердаке, стаскивая оттуда ящик книг. Выбросился из окна, завернувшись в тулуп».

У организаторов пожара, истребившего одиннадцать дворов, был провокационный план — закончить дело тем, чтобы, воспользовавшись возбуждением крестьян, расправиться и с самим Ромасем.

«Поджог приписали Ромасю и хотели бросить его в огонь, но он, вообще отличавшийся непоколебимым спокойствием, так величественно курил трубку, пуская дымок в рожи освирепелых мужиков, что они благоразумно отступили. Меня застигли, когда я рубил загоревшийся плетень соседа, но в руках у меня был топор, мужики уже знали, что я довольно силен и ловок в драке, на помощь мне, не торопясь, пришел Михаил Антонович, и все кончилось благополучно» [10].

Три года прошло с тех пор, как Горький впервые встретился с людьми, в речах которых, казалось ему, звучали его «немые думы», которые «говорили о необходимости и верили в возможность изменить эту жизнь».

Он сам, как только представился случай, приложил и свои силы к пропаганде этой необходимости. Крендельщикам, задавленным непосильной работой, он внушил мысль о необходимости сопротивления, применил даже новый способ борьбы — стачку, и все же потерпел естественную в условиях того времени неудачу.

Приезд в Красновидово казался Горькому действительным возрождением к новой жизни и работе. «Неужели удалось мне подойти к чему-то серьезному и теперь я буду работать с людьми настоящего дела?»

Мы видели сейчас, чем разрешились эти надежды. Но жизнь и работа в деревне дала Горькому новые большие знания. Село Красновидово, как и булочная Семенова, тоже стало одним из его «университетов».

3

Когда Ромась уехал из Красновидова и оборвалась его налаженная в труднейших условиях деятельность, Горький снова остался на распутье и в одиночестве.

С красновидовским крестьянином Бариновым он «спустился» на Каспий и работал там в рыболовной артели, потом ушел в Моздок, и после скитаний в Моздокской степи он — уже поздней осенью 1888 года — пришел в Царицын *.

В этом городе Горький задержался.

В то время начальство Грязе-Царицынской железной дороги обратилось к поднадзорным, политически неблагонадежным, отбывшим ссылку, но не допущенным в столицы и проживавшим в поволжских городах,— словом, ко всей массе неполноправных и оппозиционно настроенных интеллигентов-разночинцев — с предложением поступить на службу.

Целью такого приглашения разных поднадзорных, политически неблагонадежных людей было — по идее железнодорожного дельца М. Е. Ададурова — желание привлечь на службу Грязе-Царицынской железной дороги возможно большее количество честных людей для борьбы с невероятным воровством.

Ко времени появления Горького в Царицыне на железной дороге служила уже большая группа поднадзорных.

Бывший ялуторовский ссыльный народник М. Я. Началов принял участие в судьбе пришлого юноши и с помощью других «неблагонадежных», пользовавшихся в то время некоторым влиянием в конторах управления, устроил его ночным сторожем на глухой станции Добринка.

Замысел дельца Ададурова не лишен был «остроумия». Он предлагал начальству с помощью политически «неблагонадежных», заведомо честных людей направить все внимание на розыски мелких хищений и плутней, отвлекая такой деятельностью от розысков хищений большого масштаба.

---

* Ныне Сталинград.

Темные дела при постройках и эксплуатации железнодорожной сети вошли в историю 60-х и 70-х годов. Баснословные аферы и воровская свистопляска вызывали яростные нападки демократической литературы, и недаром Щедрин включил и «железнодорожников» в соединительный образ торжествующего «чумазого».

Вследствие такой славы разночинная интеллигенция народнического и радикально-демократического толка долгое время сторонилась службы на железных дорогах. И еще в 80-х годах служба, например, в крестьянском банке или работа в земской статистике для этих кругов была предпочтительнее службы в акционерном обществе или в железнодорожном управлении.

Впрочем, для той группы работников, к которым обратился Ададуров, выбор был урезан в большей степени, чем другим, и, сдавленные общей безработицей интеллигенции, они должны были открывшиеся возможности считать для себя счастливой случайностью. А кроме того, многих увлекала и нота «идейности» — борьба со злом «на пользу общества». В эпоху господства теории «малых дел» и такая работа в железнодорожной конторе становилась как бы «почетной» деятельностью.

Ни в малейшей степени эта служба не могла иметь для Горького такой окраски. Для него вопрос стоял проще: пережить зиму. К тому же по самому характеру своей должности он был оторван от всей группы служащей у Ададурова интеллигенции.

«Я — ночной сторож станции Добринка; от шести часов вечера до шести часов утра хожу с палкой в руке вокруг пакгаузов; со степи тысячью пастей дует ветер, несутся тучи снега, в его серой массе, медленно, плывут туда и сюда локомотивы, тяжко вздыхая, влача за собою черные звенья вагонов... Визг железа, лязг сцеплений, странный скрип, тихий вой носится вместе со снегом».

Прямая обязанность Горького была в том, чтобы охранять муку и другие грузы от покушения на них окрестных казаков, «борьба с хищениями» была предоставлена ему в самой непосредственной форме. Но,

как он рассказывал впоследствии, положение его, как сторожа, «было довольно оригинальное».

«Я хожу с палкой вокруг пакгауза, оберегая его от воров, а внутри этого же пакгауза мое непосредственное начальство — начальник станции — имел лавочку, в которой продавал казакам ближайших станиц чай, сахар и другие украденные из вагонов товары» [11].

Когда он после бессонной ночи сменялся с дежурства, его заставляли работать по хозяйству у начальника станции, выносить помои, колоть дрова и таскать их на кухню и в комнаты, чистить медную посуду, топить печи, ухаживать за лошадью и делать еще многое, что отнимало почти половину его дня, не оставляя времени для чтения и сна.

В отличие от этих патриархальных нравов в управленческой конторе Ададурова преобладало в то время некое либеральное «веяние», и добринский сторож мог без неприятностей по службе посылать в Борисоглебск начальству такого рода письма:

«Живу я по-прежнему хорошо, с товарищами по службе (сторожами) сошелся, обязанности свои постиг в совершенстве и исполняю их в точности. Начальник станции мною доволен — и, в знак своего расположения и доверия ко мне, заставляет меня каждое утро выносить помои из его кухни. Прошу ответить, входит ли в круг моих обязанностей таскать помои из кухни начальника станции?» [12]

Сохранилось у одного из интеллигентов — сослуживцев Горького по управленческой конторе — и такое письмо его, в котором есть нота иронии в отношении розыскной деятельности «ададуровцев»:

«Имею честь сообщить Вам, что я караулю, слава богу, ничего себе. Мешки с хлебом по-малу пропадают, и меня занимает теперь вопрос — годен и полезен ли я для службы.

Дело в том, что я никак не могу выяснить себе — кто больше прав и виноват в этой систематической пропаже хлеба — воры ли, которые так ловко похищают мешки, или я, который еще ловчее просыпаю и

не замечаю этого. По этому поводу тоже выскажитесь...

Вы ведь там, в управленческой конторе-то все знаете!..» [13]

После этого Горький послал еще прошение о переводе его со станции Добринка. В этом прошении он стихами изобразил картину своего двойного подчинения: начальнику станции и его кухарке.

Если бы прошение сохранилось, его можно было бы считать первым литературным произведением Горького, имевшим при этом полный успех: автора перевели со станции Добринка на товарную станцию Борисоглебска, поручив ему хранение железнодорожных метел, мешков и брезентов.

Здесь у Горького оказалось больше свободного времени, он получил возможность больше читать, но круг наблюдений над людьми почти не расширился.

Люди этого унылого и грязного города разделились в его понимании на две несоединимые категории: обыватели-мещане — создатели анекдотически варварского быта и группа интеллигентов — «ададуровцев», «фигуры близоруких книжников в очках и пенсне, в брюках «на выпуск», «в разнообразных пиджаках и однообразных мантиях книжных слов».

Большинство из них имело «неблагонадежное» прошлое, тюрьму или ссылку; теперь же они усердно занимались разоблачением плутней весовщиков, кондукторов, рабочих и хвастались друг перед другом удачной ловлей воров.

«Мне казалось, — пишет Горький, — что все они могли бы и должны делать что-то иное, более отвечающее их достоинству, способностям и прошлому...»

Горький был чужим и среди этих железнодорожных «культуртрегеров» и среди обывателей города — «первобытных» людей, жителей мещанской уездной провинции.

«Мечтая о каких-то великих подвигах, о ярких радостях жизни, я охранял мешки, брезенты, щиты, шпалы и дрова от расхищения казаками ближайшей станицы. Я читал Гейне и Шекспира, а по ночам,

бывало, вдруг вспомнив о действительности, тихонько гниющей вокруг, часами сидел или лежал, ничего не понимая, точно оглушенный ударом палки по голове».

Перевод Горького на должность весовщика на станции Крутая, в двенадцати верстах от Царицына, не изменил общей обстановки его жизни, но вскоре создал ему новую среду, и это обстоятельство рассеяло то чувство жуткого одиночества, которое испытывал он в Добринке и в Борисоглебске.

На Крутой Горькому удалось самому организовать «кружок саморазвития». В кружок этот входило пять человек: кроме самого Горького, телеграфист станции Крутой, «техник из крестьян» Юрин, телеграфист с Кривой Музги Ярославцев, слесарь Верин, наборщик и переплетчик Лахметка.

Состав кружка был резко демократический, и этим он отличался от интеллигентских кружков Казани. Он был свободен от обязательных народнических доктрин, здесь не было учителей, которые приносимый Горьким материал его впечатлений «кроили и сшивали сообразно моде и традициям тех политико-философских систем, закройщиками и портными которых они являлись».

Это был дружеский кружок служилой и рабочей молодежи, людей явно «подозрительных» с точки зрения жандармов.

Кружок работал в условиях непрерывной слежки. «Шпионов к нам присылали из Калача, — писал Горький. — Следили за мною, телеграфистом Юриным, казанским переплетчиком Лахметкой и поручиком Матвеевым, бывшим ссыльным» [14].

Еще в бытность Горького в Борисоглебске местные жандармы сообщали в департамент полиции, что «неоднократно и весьма часто приезжали в слободу Михайловскую Василий Алабышев и Алексей Пешков из Борисоглебска, телеграфист Юрин и учительница Анна Долмат со станции Филоново и некоторые другие личности, установить которых не представилось возможным» [15].

Какие речи вел Горький на станции Крутой, видно

из его письма уже 1934 года к своему сослуживцу на Крутой осмотрщику вагонов А. П. Васильеву:

«Получил я твое письмо и отлично вспомнил Басаргина, Курнашева, Ковшова, сторожа Черногорова и почти всю братию на снимке, присланном тобой. Значит — живем еще, Парфеныч? И ведь неплохо стали жить и с каждым годом все лучше будет — растут в стране огромные силы. А помнишь, как вы, черти клетчатые, издевались надо мной, высмеивали меня, когда я говорил, что хозяевами жизни должен быть рабочий народ? Только один Черногоров замогильным голосом откликался: «Верно» [16].

Слежка жандармов, самодурство начальства стали, наконец, невыносимы Горькому, и весною 1889 года он оставляет службу на железной дороге и отправляется частью пешком, частью на площадках товарных вагонов по пути Царицын — Борисоглебск — Тамбов — Рязань — Тула — Москва.

Вспоминая впоследствии о тяжких днях, когда он покидал железнодорожную службу, Горький писал в очерке о Каронине (первая редакция очерка):

«Уходя из Царицына... я сочинял ядовито-сатирические стихи, проклинал все сущее, и мечтал об устройстве земледельческой колонии. За время пешего хождения мрачное настроение несколько рассеялось, а мечта о жизни в колонии, с двумя добрыми товарищами и милой барышней *, укрепилась, стала ярче... Более тысячи верст нес я мечту о независимой жизни с людьми-друзьями, о земле, которую я сам вспашу, засею и своими руками соберу ее плоды, о жизни — без начальства, без хозяина, — без унижений, я уже был пресыщен ими» [17].

От будущих участников земледельческой колонии было составлено письмо Льву Толстому, вдохновлявшему в те годы организаторов земледельческих колоний. Письмо было подписано так: «От лица всех — нижегородский мещанин Алексей Максимов Пешков».

---

* «Два добрых товарища и милая барышня» — телеграфисты Юрин и Ярославцев и дочь начальника станции — Басаргина. — *И. Г.*

Письмо это отличалось более молодой решительностью, чем осведомленностью.

Алексей Пешков писал Льву Толстому:

«...У вас много земли, которая, говорят, не обрабатывается. Мы просим вас дать нам кусок этой земли» [18].

Естественно, что при таких замыслах явилась необходимость свидания и личных объяснений с Л. Н. Толстым. Вот почему путь Горького лежал через Тулу и Москву.

Уходя со станции Крутой, он засунул в свою котомку тетрадь стихов и «превосходную поэму в прозе и стихах» — «Песнь старого дуба».

В очерке «О том, как я учился писать» Горький вспоминал впоследствии, что поэма эта была «огромная» и что написана она была ритмической прозой «по поводу статьи «Кругозор жизни», напечатанной, если не ошибаюсь, — писал Горький, — в научном журнале «Знание», — статья говорила о теории эволюции».

«Из нее в памяти моей осталась только одна фраза:

Я в мир пришел, чтобы не соглашаться —

и, кажется, действительно не соглашался с теорией эволюции».

Текст статьи, которая натолкнула Горького на мысль о создании поэмы, удалось мне найти. Напечатана статья была не в журнале «Знание», а в журнале «Слово», и называлась она «Исторический круговорот» [19].

Против чего спорил и с чем не соглашался в своей поэме Горький — против ли постепенности благоразумного прогрессивного развития, за которое стоит автор статьи, против ли дьявольского «круговорота жизни», при котором один «социальный строй и трудовой гнет» сменяется другим, — мы не знаем и, очевидно, никогда не узнаем.

Но можно с уверенностью сказать, что пафос этой «поэмы» был мирового характера и требовал от людей подвигов для возрождения земли, «пропитанной слезами и кровью».

«Я никогда не болел самонадеянностью, — шутливо вспоминает Горький об этой поэме, — да еще в то время чувствовал себя малограмотным, но я искренно верил, что мною написана замечательная вещь: я затискал в нее все, о чем думал на протяжении десяти лет пестрой, нелегкой жизни. И был убежден, что грамотное человечество, прочитав мою поэму, благотворно изумится пред новизною всего, что я поведал ему, правда повести моей сотрясет сердца всех живущих на земле, и тотчас же после этого взыграет честная, чистая, веселая жизнь — кроме этого и больше этого я ничего не желал».

С таким настроением Горький шел к новому этапу жизни — шел с намерением «отойти в тихий угол и там продумать пережитое».

Но Лев Николаевич Толстой не обнаружил бы в нем своего последователя. Нельзя было найти для принципов «непротивления злу» более неудачный материал, чем боевой и страстный темперамент этого молодого рабочего с клеенчатой котомкой за спиной.

Он шел через жизнь, еще с детства «сцепив зубы, сжав кулаки», «готовый на всякий спор и бой», защищая себя и то, что считал дорогим и ценным в мире.

Толстого Горький пытался увидеть и в Ясной Поляне и в Москве, в Хамовниках, — в обоих случаях неудачно.

«Софья Андреевна * сказала мне, что он ушел в Троице-Сергиевскую лавру. Я встретил ее на дворе, у дверей сарая, тесно набитого пачками книг; она отвела меня в кухню, ласково угостила стаканом кофе с булкой и, между прочим, сообщила мне, что к Льву Николаевичу является очень много «темных бездельников» и что Россия, вообще, изобилует бездельниками».

После этой неудачи Горький решил вернуться в Нижний.

---

* Жена Л. Н. Толстого. — *И. Г.*

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Нижний в те годы еще более, чем Казань, служил передаточным пунктом между сибирской ссылкой и центром.

Здесь проживала большая колония «политиков», как тогда говорили. Она усилилась в 1888—1889 годах высланными из Казани после университетских волнений 1887 года.

Между ними были знакомые Горького по Казани. С двумя из них — Чекиным, бывшим учителем городского училища, уволенным за неблагонадежность, и Сомовым, бывшим ссыльным, он поселился летом 1889 года во флигеле дома Лика по Жуковской улице.

С. И. Мицкевич, один из ранних русских марксистов, встречавший Горького в Нижнем, рассказывает:

«У Чекина я познакомился с Алексеем Максимовичем Пешковым... Чекин сказал: «Вот познакомьтесь — это интересный человек — выходец из народа, Пешков». Передо мною был высокий молодой человек, — в синих очках, с длинными волосами, в черной рубашке и поддевке, в высоких сапогах. Разговорились. Я поделился своими невеселыми впечатлениями о настроениях московского студенчества. Чекин рассказал, что эти настроения существуют и среди нижегородских недавних революционеров, ныне отрицающих революционные пути и считающих, что теперь всего важнее скромная культурная работа культуртрегеров, как тогда говорили. Пешков давал

реплики, из которых видно было, что он вполне разделяет отрицательное отношение Чекина к вновь объявившимся культуртрегерам. Реплики Пешкова были резки и характерны: они выражали пренебрежение к неустойчивости интеллигенции»[20].

И Чекин и Сомов были «поднадзорными», вследствие чего квартира их, естественно, была взята под «негласное наблюдение».

Данные этого наблюдения показались тем более интересными, что в поле зрения жандармов среди привычных жандармскому глазу неблагонадежных интеллигентов обнаружена была фигура молодого рабочего.

Родной город встретил Горького неприветливо. Нужда заставила его идти работать в пивной склад, перекатывать в сыром подвале бочки, мыть бутылки, развозить в тележке по лавочкам и квартирам баварский квас.

Для жандармов было, видимо, ясно, что никакой маскировки здесь нет. Но в смысл этого явления необходимо было проникнуть. Поэтому вскоре же по приезде Горького в Нижний о загадочном «цеховом малярного цеха», как он именовался в паспорте, были посланы запросы в Саратов, Царицын и Казань.

Ответ из Саратова не сохранился, известно только, что он был. Ответ из Царицына пришел совершенно бессодержательный.

Жандармский ротмистр Устинов доносил нижегородскому начальнику жандармов генерал-майору Познанскому, что ни жандармами, ни местной полицией не установлено того, чтобы когда-либо проживал в Царицыне маляр Алексей Максимов Пешков, и, в свою очередь, просил «не отказать почтить предписанием, в котором году и у кого именно проживал Пешков в Царицыне, состоял ли он в качестве рабочего в артели или имел свое малярное заведение».

Зато в Казани Горького знали хорошо.

Начальник казанских жандармов полковник Гангардт сообщил в Нижний, что «маляр Алексей Мак-

симов Пешков» занимался не малярным ремеслом, а «служил разносчиком хлеба» в хорошо теперь известной жандармам булочной Деренкова.

Нашлись и следы пребывания Горького в Казани. Оказалось, что при одном обыске были установлены следующие улики против Горького:

1) Тетрадь, содержащая написанную рукою Алексея Пешкова выписку из статьи Миртова в «Отечественных записках» — «Современные учения о нравственности и ее истории».

2) Принадлежащий Пешкову экземпляр печатного «Систематического указателя лучших книг и журнальных статей 1856—1883 гг.».

Улики для обвинения Горького в революционных действиях были довольно скудные. Тем не менее раз потревоженное воображение жандармов уже работало, и полковник Гангардт, со своей стороны, охотно подтвердил Познанскому его предположение о молодом рабочем, как связующем звене между казанскими и нижегородскими «неблагонадежными» элементами.

Но еще до получения соображений Гангардта «негласным наблюдением» были доставлены сведения, показавшиеся жандармскому управлению значительными.

Было установлено, что «жизнь этих трех лиц (Сомова, Чекина и Пешкова) и общение их между собой велись на коммунистических началах», что они не только не держат у себя никакой прислуги, но, уходя, сами запирают квартиру и «не дозволяют даже прислуге домовладельца г. Лика прибрать у них в комнатах».

Это, конечно, затрудняло шпионскую работу жандармов. Но подоспел случай, который доставил генералу Познанскому, как он выразился в переписке с нижегородским губернатором, «известное удовольствие»: неожиданно пришла из Петербурга от департамента полиции телеграмма с приказом арестовать Сомова — его разыскивали в связи с «провалом» подпольной типографии Федосеева в Казани.

Тотчас же по получении приказа, 12 октября

1889 года, был произведен в «коммуне» обыск, но в квартире никого не застали.

«Книги и бумаги найдены разбросанными и частью порванными и притом между ними не обнаружено ничего существенного».

Во время обыска вернулся в квартиру Пешков и немедленно был подвергнут допросу.

«Держал себя при этом опросе Пешков в высшей степени дерзко и даже нахально», — доносил производивший обыск жандарм. Горький был арестован и заключен в Нижегородский замок.

По рассказу Алексея Максимовича, он при приближении жандармов выпрыгнул из второго этажа в соседний сад и через некоторое время явился, как бы ничего не зная о визите. Этим легко объяснить беспорядок в комнате, сразу бросившийся жандармам в глаза, — книги и бумаги были наскоро перебраны, «разбросаны и частью порваны» *.

Этим объясняется и твердое убеждение жандармов в том, что кто-то предупредил Сомова о предстоящем обыске. «Очевидно было, — писал Познанский, — что найденное представляло только ненужный отбросок, что бумаги пересматривались и разбирались».

На том, что Сомов «бежал», жандармы решили твердо настаивать. Рисуя картину «бегства», Познанский сообщает нижегородскому губернатору и такие сведения:

«Какого-либо имущества (платья, белья и проч.) у Сомова также не было найдено, а между тем об отъезде его из Нижнего и об оставлении им квартиры в доме Лика он не говорил не только ни г. Лику, ни членам его семейства, но даже его прислуге...»

Но перевозить или прятать «какое-либо имущество» Сомову вообще не пришлось бы... за неимением его.

Есть все основания думать, что сама картина «бегства» со всяческими сгущениями красок была

---

* Дом, бывший Лика, и комната с окном в соседний сад существуют и по настоящее время — улица Минина, дом 22.

выдвинута в этих сообщениях Познанского с целью обосновать арест Горького и привлечение его к делу «об укрывательстве».

Однако ни собранные сведения, ни наблюдения непосредственные не дали ощутимых результатов.

Никакого «дела» не получалось. Забранные у «в высшей степени дерзкого» мещанина Пешкова бумаги, книги и фотографии «не дали ничего существенного».

Обстоятельства, при которых был арестован в Казани Сомов, исключили даже обвинение в содействии «бегству» и в «укрывательстве».

В своих воспоминаниях Горький рассказывает, как допрашивал его генерал Познанский.

Он беседовал с арестованным о певчих птицах, большим любителем коих он был, о старинных медалях и о достоинстве стихов Горького, отобранных при обыске, напомнив ему «породистого пса, которому, от старости, тяжело и скучно лаять».

Думается, однако, что этому псу было скучно не от старости, а от ничтожных результатов предпринятой охоты.

Тем не менее «дознание о мещанине Алексее Пешкове» Познанский препроводил губернатору со следующей резюмирующей запиской:

«Полученный от начальника казанского губернского жандармского управления ответ на запросы мои о Пешкове утвердил меня в давно состоявшемся у меня мнении о Пешкове, что он представляет собою удобную почву для содействия неблагонадежному люду России. Из этого отзыва я узнал, что Пешков служил в Казани в булочной, устроенной с неблаговидными целями, что он был знаком в Казани с неблагонадежными личностями, что он читал сочинения особенного, не вполне желаемого и несоответствующего его развитию и полученному им образованию, направления».

Конечно, с охранительной точки зрения и жандармского генерала и губернатора «вполне желаемым» чтением для мещанина, обучавшегося в начальном училище, который даже «курса в оном по бедно-

сти не окончил», была бы только лубочная литература.

Естественно, однако, что на этих данных Познанский не нашел возможным основывать обвинение Пешкова.

Он сообщал губернатору, что «полагал бы справедливым дело о мещанине Пешкове дальнейшим производством прекратить, принятую относительно него меру пресечения — гласный надзор полиции — отменить и отдать его лишь под секретный негласный надзор...» [21].

Такого же порядка донесение было послано и в департамент полиции.

Оба адресата согласились с необходимостью учредить над Пешковым секретный надзор, и с этих пор он уже постоянно оставался в сфере наблюдения жандармского управления, департамента полиции и губернских полицейских властей.

По воспоминаниям Горького, он был освобожден 7 ноября, «накануне Михайлова дня».

«Это я хорошо помню, — писал он, — ибо на другой день была вечеринка у Кларка* и тут я впервые увидел «нелегального» (кажется это был Сабунаев). Он вызвал у меня весьма памятное впечатление: он был очень неумело одет, плохо загримирован, носил рыженький парик, говорил пренебрежительно, а публика слушала его почти подобострастно. Мне он сказал: «Тюрьма — необходимая школа для революционера». Помнится, я ответил ему дерзостью, — должен был ответить так» [22].

Сабунаев привлекался по делу «Народной воли» в 1884 году, уже в период ее разложения. Сосланный в Сибирь, он бежал оттуда в 1888 году и пытался восстановить народовольчество, «гальванизировать труп», как тогда говорили.

Он появлялся всегда неожиданно в разных городах Поволжья, щеголяя конспиративностью и таинственностью. Будучи последышем народовольчества,

---

* Кларк — приятель Горького, исключенный студент, бывший ссыльный. — *И. Г.*

он вместе с тем был как бы предтечей эсерства, его наиболее авантюрных элементов.

В Казани он стремился использовать в своих целях кружок Федосеева, но характерно, что Федосеев дал ему отпор и «не допустил этого козла в свой огород» [23].

Революционной фразе такого позера Горький «должен был» ответить дерзостью.

К этому времени Горький поступил письмоводителем к адвокату Ланину, что несколько упорядочило его жизнь.

Но была у него одна затаенная дума. Волнения, вызванные в нем его первым большим творческим трудом, не могли быть им забыты.

В один из дней декабря 1889 года он решился пойти к писателю Короленко, жившему в то время в Нижнем, и показать ему свою поэму.

Короленко кратко и образно говорил смущенному автору о том, как плохо и почему плохо написана поэма.

«В юности мы все немного пессимисты, — сказал он, — не знаю, право, почему. Но кажется потому, что хотим многого, а достигаем — мало...»

Горького поразило тонкое понимание настроения, побудившего его написать «Песнь старого дуба».

А потом дело дошло до многочисленных курьезов стиля. И здесь мягкая и ласковая по форме, но суровая критика Короленко подействовала на Горького оглушительно. Он «уже ничего не слушал и не понимал, желая только одного — бежать от срама».

Преувеличил ли Горький недостатки своего произведения, вспоминая о нем через тридцать лет, или действительно были они столь многочисленны, но факт, что Короленко на первый план выставил их. Это смутило молодого автора и вызвало у него такой вопрос:

«О содержании рукописи — ни слова. Что же читал в ней этот странный человек?»

Содержание рукописи — требование от людей подвигов для возрождения земли, «пропитанной слезами и кровью».

Короленко прошел мимо этого романтического содержания, указав на ряд погрешностей языка. Это вызвало у Горького решение не писать больше ни стихов, ни прозы. «...И действительно, все время жизни в Нижнем — почти два года — ничего не писал».

В течение этих двух лет жизни в Нижнем Горький поддерживал широкие знакомства в кружках молодежи и «политиков», но среди всех этих «народников» и «радикалов», как называли себя местные группы интеллигентов, слушая их искусные и замысловатые речи, Горький, по его словам, чувствовал себя, «как чиж в семье мудрых воронов».

Сохранился интересный рассказ свидетеля такого собрания. Происходило оно в квартире одного из нижегородских «политиков» в связи с приездом из каких-то сектантских краев «нелегального» народника, рассказывавшего о революционных настроениях крестьянства.

«Пешков тоже оказался здесь и слушал внимательно. А когда «нелегальный» кончил и началась «дискуссия», то Пешков, дождавшись своего череда, тоже заговорил... Он говорил как-то совсем не так, как все другие. Те заполняли свою речь сухими, отвлеченными рассуждениями, от которых клонило ко сну, а Пешков говорил живыми образами. В его разговоре, оснащенном крепкими, пахнувшими жизнью словечками и меткими характеристиками, все жило, трепетало, дышало... Не всем эта речь молодого человека как будто нравилась; «радикально» настроенная публика находила ее отчасти даже еретической, но все, однако, его со вниманием слушали... Лицо Пешкова умело преображаться в такие моменты, — в этом я не раз впоследствии убеждался» [24].

О чем так увлекательно говорил Горький на этих собраниях?

«У меня не было, — вспоминает он, — той дисциплины, или, вернее, техники мышления, которую дает школа; я накопил много материала, требовавшего серьезной работы над ним, а для этой работы нужно было свободное время, чего я тоже не имел. Меня мучили противоречия между книгами, которым я по-

чти непоколебимо верил, и жизнью, которую я уже достаточно хорошо знал» *(XV, 26)*.

Жизненный опыт мешал ему соглашаться с книжными концепциями «народников», и вместо теоретических доводов он возражал богатыми собственными впечатлениями, а по приведенному выше свидетельству речь его и тогда уже отличалась необычайной выразительностью.

И если, как свидетельствует очевидец, «все его со вниманием слушали», то несомненно, что и в этих его личных наблюдениях велика была жизненная правда, о которой он рассказывал с талантом формирующегося художника.

«В хаосе мнений противоречивых и все более остро враждебных, следя за борьбой чувства с разумом, в этих битвах, из которых истина, казалось мне, должна была стремглав убегать или удаляться изувеченной, — позднее вспоминал Горький, — в этом кипении идей я не находил ничего «по душе» для меня... Так же как в Казани, Борисоглебске, Царицыне, здесь я тоже испытывал недоумение и тревогу, наблюдая жизнь интеллигенции... Мне было снова не ясно: почему интеллигенция не делает более энергичных усилий проникнуть в массу людей, пустая жизнь которых казалась мне совершенно бесполезной, возмущала меня своей духовной нищетой, диковинной скукой, а особенно — равнодушной жестокостью в отношении людей друг к другу...»

Единственным человеком, который, казалось Горькому, мог бы объяснить ему пути русской жизни, указать смысл «подвига» и «широту» разумной работы, был Короленко.

«Я не ходил к Владимиру Галактионовичу, — вспоминал Горький, — ибо, — как уже сказано, — решительно отказался от попыток писать. Встречал я его только изредка мельком на улицах или в собраниях у знакомых, где он держался молчаливо, спокойно прислушиваясь к спорам. Его спокойствие волновало меня. Подо мною все колебалось, вокруг меня, я хорошо видел это, начиналось некоторое брожение. Все волновались, спорили, — на чем же стоит

этот человек? Но я не решался подойти к нему и спросить:

«Почему вы спокойны?»

Летней ночью в 1890 году Горький и Короленко встретились на аллее нижегородского «Откоса» — высоком берегу Волги. Здесь, на скамье «Откоса», Горький задал ему этот волновавший его вопрос.

Ответ Короленко был прост: «Я знаю, что мне нужно делать, и убежден в полезности того, что делаю».

Короленко был одним из лучших и талантливейших представителей демократической интеллигенции пореформенной эпохи, неутомимым борцом против крепостнической реакции. Все свои силы художника, публициста и общественного деятеля он отдавал этой борьбе и был глубоко убежден в ее насущной необходимости. Он был человеком уравновешенной и крепкой психики, цели «высшие и отдаленные» он заменил близлежащими социальными задачами и наивно верил в то, что исполнение их само, без острой классовой борьбы, решит вопросы «отдаленного» будущего.

И теперь, на скамье «Откоса», в ответ на раскрытые перед ним тревоги и недоумения Горького он взволнованно говорил о своей вере:

«Необходима — справедливость! Когда она, накопляясь понемногу маленькими искорками, образует большой огонь, он сожжет всю ложь и грязь земли, и только тогда жизнь изменит свои тяжелые, печальные формы. Упрямо, не щадя себя, никого и ничего не щадя, вносите в жизнь справедливость — вот как я думаю» (*XV, 31*).

В историческом смысле это короленковское понятие «справедливости» было понятием демократической борьбы против гнета крепостничества и его пережитков.

Борьба эта в значительной степени легла на плечи бессословной интеллигенции. Но «бессословность» не означала «бесклассовости» интеллигенции, это исчерпывающе разъяснил Ленин.

«Бессословность», — писал он, — нимало не исключает классового происхождения идей интеллигенции... Всегда и везде буржуазия выступала против отживших сословных рамок и других средневековых учреждений во имя всего «народа», классовые противоречия внутри которого были еще не развиты, и она была, как на Западе, так и в России, права, так как критикуемые учреждения стесняли действительно *всех»* *.

Развитие классовых противоречий разрушало первоначальное единство, раскалывая «бессословную интеллигенцию» на либеральные и демократические группы, — пестрая картина измен демократическим идеалам особенно характерна для 80-х годов.

Короленко оставался верным рыцарем демократии и энергичным пропагандистом борьбы с произволом самодержавия и с дворянско-полицейским режимом при глубоком сочувствии к угнетенным массам. Но он был не только демократическим, но и буржуазно-демократическим борцом, представлял общебуржуазные интересы, поскольку их защита являлась прогрессивным делом по отношению к диким пережиткам крепостничества и дворянской гегемонии.

Это было борьбой за социально-культурный прогресс, за умножение «законности», «справедливости», «гуманности», «добра».

Мы видели, что и Горький страстно мечтал о таком вмешательстве в жизнь, «ужасающе бедной разумом», которое умножало бы ее культурные и этические ценности. Но жизненный опыт и его сознание пролетария столкнули его с новыми противоречиями действительности.

«В развитие социально-культурного прогресса никак не вмещался мой хозяин Василий Семенов и вообще не вмещались хозяева. Из всех премудростей, которые слышал и читал я, «в память врезалась» особенно глубоко одна, сказанная Прудоном:

«Собственность есть кража».

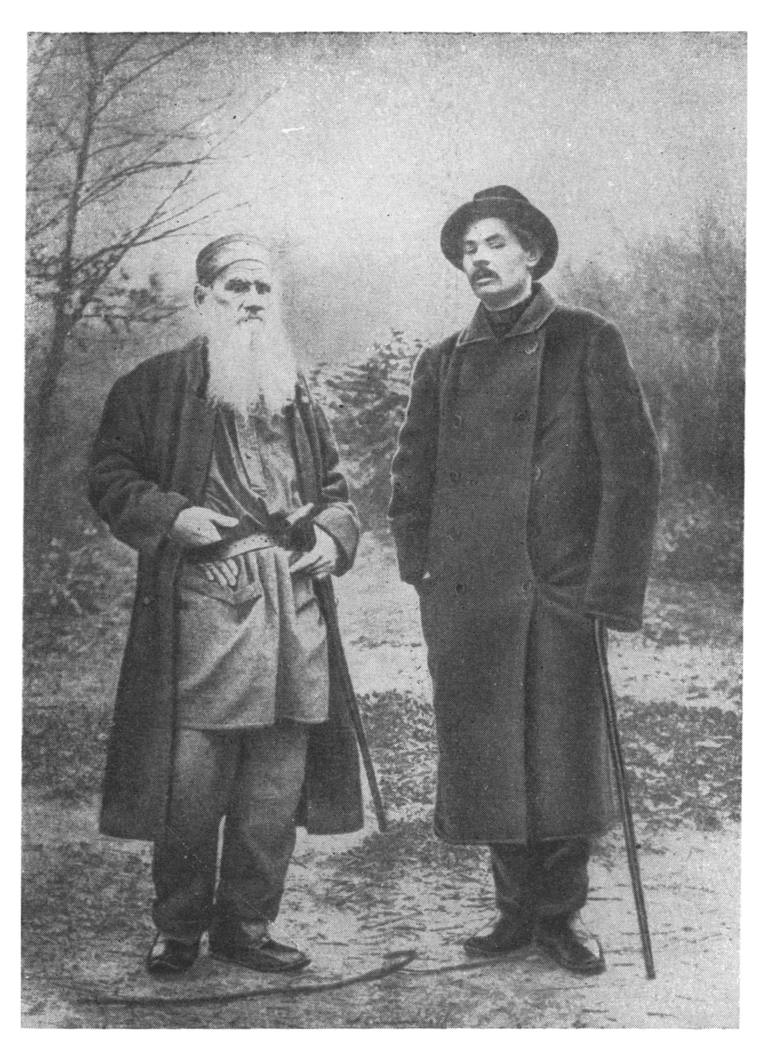
Это было совершенно ясно для меня. И хотя

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 1, стр. 401—402.



А. М. Горький и Е. П. Пешкова с сыном Максимом. Нижний-Новгород, 1899—1900 годы.



А. М. Горький и Л. Н. Толстой. Ясная Поляна, 1900 год.

я близко знал немало профессиональных воров, я видел..., что «честные» хозяева всеми силами, неустанно стремятся утвердить истину Прудона и что в этом — весь смысл их жизни» *(XXV, 345)*.

Горький обладал преимуществом молодости, несокрушимой страстью в поисках своего места в жизни и неиссякаемой душевной энергией. Он упорно и настойчиво вглядывался в окружающее, ища те силы, которые могли бы преобразовать жизнь.

Мучимый хаосом противоречий, он решил пойти по стране, посмотреть, что за народ живет на Руси, не книжный «народ», о котором говорили народники, а настоящий народ, во плоти и крови повседневной жизни.

И еще одно чувство диктовало ему это решение. «Мне нужно было, — вспоминал Горький, — найти в жизни, в людях нечто способное уравновесить тяжесть на сердце, нужно было выпрямить себя» *(XI, 311)*.

Так начались его странствия.

2

Это было в начале апреля 1891 года. Горький вышел из Нижнего, когда на полях еще стояли лужи талого снега и не совсем просохли дороги.

Он вышел пешком из Нижнего, чтобы уйти от слежки, шел по берегу, потом плыл на пароходе до Царицына и по очень знакомой ему Грязе-Царицынской железной дороге доехал до станции Филоново.

С этих мест два года тому назад отправился Горький на север, на Тулу и Москву. Здесь еще работал телеграфист Юрин, друг его молодости, с которым он так сблизился на станции Крутой. Здесь они с Юриным и Ярославцевым обдумывали в то время проект земледельческой колонии, которая казалась временным выходом из нелепой и повсеместной «тесноты жизни». Здесь был тот кружок демократической молодежи, настроения которого поддерживали Горького в его отчаянных поисках своего пути.

И теперь Филоново стало первым этапом его но-

вых странствий после двух лет жизни в Нижнем, когда он, как глухо сказано в его автобиографической заметке 1897 года, «почувствовал себя не на своем месте среди интеллигенции».

А в одном из его рассказов свои странствия он объясняет неодолимой потребностью уйти «из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности», — так охарактеризовал он жизнь нижегородских кружков (*III*, *43*).

Теперь он возвращался сюда с той же, если не с большей, силой отталкивания от прошлого.

Тогда — два года тому назад — он был не только полон страстного желания «независимой жизни», мечтал о жизни «без начальства, без хозяина, без унижений», но и ожидал подвигов для возрождения земли, на которой для всех должна взыграть «честная, чистая, веселая жизнь».

Теперь он оставлял за собой два года настойчивых поисков социальной правды, оказавшихся бесплодными, потому что в кружках нижегородской интеллигенции, среди людей, призванных, казалось ему, решать эти задачи, он видел или старую приверженность к «раскрашиванию» какого-то несуществующего на земле «народа», или цинический скепсис ко всяким «идеям», самодовольную уверенность в том, что «и без нас обойдутся», или, наконец, тихое приспособленчество «поумневших» людей.

Естественно, что в этом «брожении» Горький не находил ничего «по душе» для себя.

Порвав с этим миром бесплодных словопрений, Горький уходил из Нижнего в мрачном состоянии духа. Но, зная о его настроении в эти дни, мы не знаем, каковы были теперь его положительные мысли о преобразовании жизни, с чем теперь он пришел в кружок своих прежних друзей.

В свое время хоть что-нибудь по этой части очень хотелось узнать жандарму станции Филоново, который 29 мая 1891 года направил своему начальству курьезное по тону и содержанию донесение:

«Наблюдая, на основании § 13 инструкции жандармам, за служащими на железной дороге, с некоторых пор заметил, что у надсмотрщика станции Филоново, техника из мещан города Борисоглебска, Чичагова очень часто собираются преимущественно молодые люди, а именно: телеграфист из крестьян Юрин, техник при вагонной мастерской Хлебников, учитель хутора Березовского Фролов и временно проживающий, приехавший из Нижнего-Новгорода цеховой малярного цеха Алексей Максимов Пешков. Все вышеназванные лица собираются в помещении Чичагова, и собрания эти продолжаются большей частью и за полночь и более и всегда при занавешенных окнах и затворенных дверях, так что неожиданно для них попасть к ним нельзя... Ввиду скрытности вышеназванных лиц и подозрительного поведения есть основания предположить, что они при этих собраниях обдумывают злонамеренные цели против начальства, что у означенных лиц имеются вредные и запрещенные книги...»

Нет сомнения в том, что в этом кружке революционно настроенной молодежи главенствовал Горький, имевший все преимущества широкого запаса наблюдений и необычайной силы пытливости.

Принятое Горьким решение пойти по стране соответствовало его натуре еще не осознанного им в себе писателя. Горький вспоминал: «Решено было мною самому пойти посмотреть, как живет «народ».

И несомненно, что через донские степи, по полям Украины, по знойной Новороссии, по всем исхоженным им пространствам родины Горький шел уже, в сущности, как писатель, пытливо решавший для себя вопрос — «чем люди живы».

Он шел многолюдными станицами, проходил степные города и села, работал в шумных приморских портах — очагах отчаянной эксплуатации и нищеты. Он вступал в разнообразные отношения с сотнями людей, являясь перед ними рабочим, батраком, просто «прохожим».

Когда-то разночинец Левитов, писатель-демократ 60-х годов, писал:

«Будучи, по натуре своей, человеком улицы, я, шатаясь из конца в конец по нашей великой отчизне, видел, по крайней мере, сто миллионов людских глупостей и двести миллионов людских же подлостей» [25].

Вспоминая об этом, он «приходил в неизъяснимое бешенство». Но мучительный опыт его скитаний оборачивался в его рассказах или едкой усмешкой, или многословной лирикой, изливавшейся в жалобах и сарказмах.

Горький был не разночинцем, а пролетарием по жизненному опыту, он рос человеком другого склада, демократом другого времени. Его столкновение с «буднично-страшным» крепило в нем порыв к борьбе, стремление к протесту. Он напряженно оборонялся, «всегда готовый на всякий спор и бой».

Опыт его странствий был не менее богат, чем левитовский, но у него неизмеримо острее была реакция на приниженность массы, на звериную повадку «хозяев», на дикую психику мещанина, на все явления классово-враждебного ему мира.

Со станции Филоново его путь лежал через Донскую область, Украину и Новороссию. Он добывает себе на месте пропитание: работает грузчиком в ростовском порту, батрачит у крестьян на Украине, в Екатеринославской и Херсонской губерниях.

15 июля в селе Кандыбине, в тридцати верстах от города Николаева, Горький стал свидетелем публичного истязания женщины — сцены, описанной им в рассказе «Вывод».

Он вмешался в эту гнусную расправу и сам был до полусмерти избит. Его вывезли из села и бросили в кусты, в грязь, «чем я и был спасен, — писал Алексей Максимович, — от преждевременной и «поносной» смерти, ибо получил «компресс» [26].

Шарманщик, ехавший с какой-то сельской ярмарки, подобрал избитого человека и доставил в Николаев, в больницу, где Горький и отлежался.

Оттуда он прошел к Очакову; здесь, на Днепровском лимане, жил с рыбаками и в поисках заработка ходил на соляную добычу. В автобиографическом

очерке «На соли» рассказывается о происшествии с Горьким на этой нечеловечески-тяжелой работе.

Замученные и замордованные грузчики-босяки встретили нового человека жестокими издевательствами; издевательства завершаются тем, что ему устраивают подвох с тачкой, расщепленные ручки ее срывают кожу с ладоней.

И хотя в горячих объяснениях ему и удалось вызвать в каталях вспышку рабочей солидарности, но было ясно, что она еще не пересилит темного груза их психики и что ему нужно уходить. В этой беспросветной жизни все они были «пристрочены друг к другу», и вне этого все вызывало реакцию тяжкого раздражения — такова была изуродованная психика отчаяния.

Его дальнейший путь лежал на Бессарабию. Горький пришел туда к сбору винограда, и этот чудесный край дал ему отдых и восстановил силы.

Пройдя южной частью Бессарабии до берегов Дуная, он через Аккерман возвратился в Одессу.

Из Одессы, где он работал в порту грузчиком, через Николаев, Херсон, Перекоп, Симферополь, Ялту, Феодосию, Керчь, Тамань, Черноморье, Кубань, Терскую область, по Военно-Грузинской дороге Горький приходит в ноябре 1891 года в Тифлис.

История этого последнего периода его хождений сохранилась с бо́льшими подробностями благодаря известному рассказу Горького «Мой спутник».

Работая в одесской гавани, он столкнулся с юношей грузином, который заинтересовал его. Оказался он барчонком, отбившимся от своей семьи. Занесенный в чужой край, он бедствовал и не видел никакого выхода из своего положения.

Молодой грузчик вызвался помочь голодавшему баричу, прокормил его своим трудом и довел до родины. А тот, искренне не понимая такого отношения к себе, счел своего спутника и покровителя дураком и сделал из этого свои выводы. Он не только жил на его счет и обкрадывал его, но в дороге пытался еще оклеветать, чтобы спастись самому, и чуть не предал его в опасных обстоятельствах.

Когда же они дошли до Тифлиса, он, пообещав ему приют в своем доме, бросил его в незнакомом городе, предварительно обманув.

Весь рассказ построен на лепке заинтересовавшего Горького цельного и законченного характера «культурного дикаря».

«Я никогда больше не встречал этого человека, — заканчивает рассказ Горький, — моего спутника в течение почти четырех месяцев жизни, но я часто вспоминаю о нем с добрым чувством и веселым смехом.

Он научил меня многому, чего не найдешь в толстых фолиантах, написанных мудрецами, — ибо мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей».

Но человек этот нашелся. Когда рассказ Горького в 1903 году был в переводе на грузинский напечатан в приложениях к газете «Цнобис-Пурцелли», номер с воскресным приложением попался ему на глаза.

Он явился в редакцию газеты с просьбой разъяснить, как мог автор рассказа узнать в таких подробностях о его путешествии с неким Пешковым.

Получив разъяснения, он захотел, чтобы записали и его версию рассказа о путешествии.

Этот обнаруженный персонаж Горького (в газете он фигурирует как С-дзе, Горький в пометке на сообщении о его рассказе называет его Цулукидзе) рассказал о новых эпизодах путешествия, не упоминаемых Горьким. В целом же рассказ Цулукидзе совпадает с рассказом Горького иногда до мелких деталей, если не считать возражений, имевших целью самореабилитацию «спутника».

Цулукидзе подтверждает, что один Пешков доставал и деньги и еду, жалея своего спутника и уделяя ему бо́льшую часть хлеба, когда его было мало. Цулукидзе, как и Шакро Птадзе в «Моем спутнике», подойдя к Тифлису, не хотел войти в него засветло, боясь встретить знакомых, а в Тифлисе, по его словам, как-то разошелся с Пешковым.

«После этого о Пешкове я решительно ничего не слышал и не знал, что он переменил фамилию», —

как бы в параллель рассказу Горького заканчивает С-дзе[27].

Но повесть Горького об этом путешествии была далеко не полна. Целый ряд эпизодов был использован им в других рассказах.

В очерке «Два босяка», не входившем в собрание сочинений до последнего издания, автор упоминает о сопровождавшем его по Кубани спутнике-грузине. С другой стороны, С-дзе в своем повествовании упоминает о двух босяках, с которыми они работали в тех же местах. Такие перекрестные сообщения указывают на несомненную автобиографичность этих рассказов Горького.

Не доходя до Майкопа, вблизи станции Ханской, Горький работал на молотьбе пшеницы и здесь, как рассказывается в «Двух босяках», стал свидетелем гибели босяка Маслова, бывшего рабочего, доведенного фабричной эксплуатацией до отчаяния и до озлобления на всякую машину. Отчаянный и озлобленный, он гибнет в нелепой и неравной тяжбе с молотилкой. Маслов — один из самых трогательных образов первых «босяцких» рассказов Горького.

В Майкоп Горький пришел один, временно разойдясь со своим спутником. В этом городе он встретился с утихающим, но еще не угасшим пламенем трагических для населения событий из тех, которые повсеместно волновали в те годы и Дон и Кубань и о которых трудно было сказать, что в них играло бо́льшую роль — стихийное бедствие или феодальное самодурство царских чиновников.

«15 сентября, — вспоминал позднее Алексей Максимович, — был «чумный бунт»; казаки прогнали и, помнится, избили санитарную комиссию за то, что — по их рассказу мне — инспектор распорядился согнать всех волов в одно огороженное место, где больные волы, постояв двое суток вместе со здоровыми,— заразили последних.

Для «усмирения» казаков была прислана «кавказская стрелковая дружина», а в состав оных дружин входили различные кавказцы — грузины и, кажется, черкесы Терской области, исконные враги кубанцев.

Была «битва русских с кабардинцами», кавказцев прогнали. Явились драгуны, командовал ими ротмистр, фамилию коего я забыл, но рожу его, очень глупую, — помню... Происшествие сие — т. е. «бунт» и суд — было описано в корреспонденции «Московских ведомостей»; №-а — не помню, читал уже спустя четыре месяца, в Тифлисе. По сему делу были повешены трое или четверо, помню фамилию и фигуру одного: Черный, эдакий усатый молодчина.

Я был задержан как «проходящий» 18 сентября, во время поминок по убиенным. А так как в котомке моей оказалось Евангелие, то сей факт весьма скомпрометировал меня *. Впрочем — были еще какие-то две книжки, безвредные, и тетрадь моих стихов. Сидел я несколько дней в только что отстроенной тюрьме, из окна ее видел за Лабою **, в поле, множество гусей, — очень красивая картина.

Допрашивали: почему хожу. «Хочу знать Россию». Жандармский офицер с двойной фамилией, забытой мною, и с лицом обиженного человека сказал: «Это — не Россия, а — свинство».

От Майкопа Горький шел на Беслан, здесь велись в то время работы по прокладке железной дороги на Петровск, к берегу Каспийского моря.

Был уже конец октября, когда Горький, снова соединившись со своим спутником, шел от Владикавказа по Военно-Грузинской дороге в Тифлис.

Когда вошли в Тифлис, Горький на лавочке, под навесом станции конно-железной дороги у Верийского моста, часов шесть прождал обещанного возвращения спутника. Потом, сильно промерзнув, отправился искать себе приюта.

Он нашел его... в полицейском участке, «где, — добавляет Горький, — я благополучно и приятно провел первую ночь моего пребывания в столице Кавказа».

Такой горькой иронией кончается первоначальная

* Горький был принят за сектанта, подстрекающего казаков к мятежу. — *И. Г.*

** Ошибка памяти Алексея Максимовича. Река, на которой стоит Майкоп, называется Белою, а Лаба протекает восточнее Майкопа. — *И. Г.*

редакция рассказа «Мой спутник». Я просил Алексея Максимовича сообщить, каким образом он попал на такой ночлег.

«Как рассказано в «Моем спутнике», — ответил мне Алексей Максимович, — я некоторое время ожидал Шакро (Цулукидзе) на Верийском мосту, но, потеряв надежду дождаться, зашел в духан, был очень нелюбезно встречен там пьяными «кинто», немножко подрался с ними, и с ними же был отправлен в участок на Ольгинской улице» [28].

Утром его допросил «частный пристав» и, возможно, поступил бы с ним «по обстоятельствам», потому что внешний облик арестованного не вызывал сомнений в его социальном положении, а цели прибытия в Тифлис были крайне подозрительными.

«Оправдаться» можно было, лишь указав на какого-нибудь солидного поручителя из местных людей. Горький назвал жившего в Тифлисе М. Я. Началова, политического поднадзорного, с которым он знаком был по службе на Грязе-Царицынской железной дороге. Началова в полиции знали, жил он в участке этого пристава и под его же надзором. Горький в сопровождении городового был направлен к Началову и после удостоверения последним истины отпущен.

Таким образом, курьезный случай помог Горькому найти в Тифлисе нужные ему связи. Его знакомый М. Я. Началов встретил его и на новом месте так же радушно, как в свое время в Царицыне.

Что же касается частного пристава, то, конечно, он мог подозревать представшего перед ним оборванного и закаленного долгими хождениями босяка в каких угодно неблагонадежностях, но вряд ли в политической «неблагонадежности», а потому и не придал никакого значения знакомству пришельца с вверенным ему поднадзорным.

3

В 1931 году, в дни празднования десятилетия Советской Грузии, Горький писал:

«Прекрасный праздник, на котором мне хотелось

бы присутствовать скромным зрителем и еще раз вспомнить Грузию, какой видел я ее сорок лет тому назад, вспомнить Тифлис — город, где я начал литературную работу.

Я никогда не забываю, что именно в этом городе сделан мною первый неуверенный шаг по тому пути, которым я иду вот уже четыре десятка лет. Можно думать, что именно величественная природа страны и романтическая мягкость ее народа — именно эти две силы — дали мне толчок, который сделал из бродяги — литератора» *(XXV, 414)*.

Действительно, Тифлис в жизни Горького стал целой эпохой. Здесь он пережил «неисчислимо много», здесь подвел итоги огромному запасу своих впечатлений, здесь ему яснее стал его путь.

Но пришел он в этот город, как мы видели, «бродягой».

На первое время Началов приютил его в комнате, которую он сам занимал с женой. Началов служил в управлении Закавказской железной дороги и использовал свои связи, чтобы устроить Горькому заработок.

«Сначала, — писал Алексей Максимович, — месяц с лишком работал в кузнечном, молотобойцем, затем — в счетоводном отделе мастерских записывал расходы материалов по «малому ремонту паровозов» [29].

Началов ввел Горького в круг своих друзей, тифлисских «политических», в большинстве ссыльнопоселенцев.

В семье одного из членов кружка «политических», у Данько, Горький снял себе комнату. Данько жили в высокой части Тифлиса, на горе Вере, за Верийским мостом, во втором этаже небольшого деревянного дома.

Однако на протяжении почти года своей жизни в Тифлисе Горький не приобрел свойств оседлого человека.

В разное время в течение этого года он исходил Грузию, насыщаясь впечатлениями новой для него и

пленившей его страны. Во время этих странствований он побывал в Ахалкалаки, Боржоме, Батуме, Ахалцихе, Кутаисе, Озургетах, Телави и Гори.

Летом 1892 года Горький прошел на Черноморье и работал вместе с «голодающими» на постройке шоссе Сухум — Новороссийск.

Для работ на этом шоссе, прокладка которого имела стратегическое значение и была поручена генералу Анненкову, набирались тысячи крестьян голодающих губерний.

Под видом «общественных работ», устраиваемых как бы в помощь голодающим, здесь происходила жесточайшая эксплуатация растерянных и отупевших от нужды и горя людей.

В рассказе «Рождение человека» Горький вспоминает о своих товарищах по работе, о людях, «раздавленных своим горем».

«...Оно сорвало их с родной, усталой, неродимой земли и, как ветер сухие листья осени, занесло сюда, где роскошь незнакомой природы — изумив — ослепила, а тяжкие условия труда окончательно пришибли этих людей».

Еще до похода в Черноморье Горький побывал и в другой, восточной части Кавказа, в Баку. Здесь он был со своим другом, рабочим-механиком Федором Афанасьевым.

Это страшное в то время «черное царство» мучительного труда рабочих и колоссальной наживы нефтяников произвело на обоих спутников угнетающее впечатление.

«Часа два, три мы ходили, посматривая издали на хаос грязных вышек, там что-то бухало влажным звуком, точно камни падали в воду, в тяжелом, горячем воздухе плавал глуховатый, шипящий звук. Человек десять полуголых рабочих, дергая веревку, тащили по земле толстую броневую плиту, связанную железной цепью, и угрюмо кричали:

— Аа-á!-а-á!

На них падали крупные капли черного дождя. Вышка извергала толстый черный столб, вершина его, упираясь в густой, масляный воздух, принимала

форму шляпки гриба, и хотя с этой шляпки текли ручьи, она как будто таяла, не уменьшаясь... Во всем этом было нечто жуткое, нереальное или уже слишком реальное, обезмысливающее. Федя Афанасьев, плюнув, сказал:

— Трижды с голоду подохну, а работать сюда — не пойду!» *(XVII, 114).*

Вернувшись в Тифлис, Горький поселился с Афанасьевым на одной квартире. К ним присоединились их общий знакомый Рохлин, а также ученик старшего класса землемерного училища Самет, семинарист Виланов и студент учительского института С. Вартаньянц.

Оказавшись в центре группы живой и общественно-активной молодежи, Горький развернул свои организаторские способности.

Таким образом и случилось, что в полуподвале на Ново-Арсенальной улице образовалась «коммуна», члены которой были увлечены Горьким на путь пропагандистской работы среди учащейся молодежи и рабочих.

Жизнь здесь протекала довольно оживленно и шумно. Почти ежедневно происходили чтения, беседы, обсуждения и споры.

Семинаристы, воспитанники землемерного училища, учительского института, учительницы, слушательницы акушерского института и рабочие сближались на общих занятиях в этом неожиданно возникшем и расцветшем политическом «клубе».

К этим дням относится сообщение Горького в письме к И. А. Картиковскому, своему товарищу по отроческим годам нижегородской жизни, впоследствии профессору Казанского университета:

«В коротких словах — вот моя внешняя жизнь: с 9 до 4 работа, с 4 до 5 отдых, с 5 до 9 чтения (от них свободны только Среда и Воскресенье), с 9 до 11—12 споры, раздоры и прочее, с 12 до 3—4 читаю и пишу для себя» [30].

А своему казанскому другу Гурию Плетневу Горький писал с такой уверенной и радостной бодростью:

«Читаю с учениками института и семинарами. Ничему не учу, но советую понимать друг друга. С рабочими в депо железной дороги читаю и разговариваю. Есть тут один рабочий Богатырович — хорошая фигура, с ним мы душа в душу живем. Он говорит, что в жизни ничего нет хорошего, а я говорю — есть, только спрятано, чтоб не каждая дрянь руками хватала» [31].

Обнаружились и такие связи рабочей солидарности, которые казались слишком кратковременными для того, чтобы быть закрепленными в дружеской переписке.

Из жандармских документов стало известно, что в том же 1892 году, при обыске в Ростове-на-Дону по «делу о распространении преступных изданий», были найдены письма Пешкова, в одном из которых он писал так:

«Поливаю из ведрышка просвещения доброкачественными идейками и таковые приносят известные результаты», причем добавлял, что «работы пока нет, и работников, способных к чему-нибудь, всего 6—8 человек».

В другом письме он просит достать место двум парням и уведомляет, что он и его товарищи ожидают «визита блестящих пуговиц» [32].

Нашлись письма Пешкова и у другого обвиняемого по этому делу.

Теперь мы знаем, что Горький был в переписке с сожителем и товарищем по работе в ростовском порту «матросом Петром», был в переписке с маркировщиком Тросткиным, а отрывки найденных писем лучше всего говорят о том, какими мыслями делились товарищи по работе в ростовском порту, что их связывало на далеком расстоянии, после того как они разлучились.

«Себя я вижу в ту пору фантазером, стихотворцем, — писал Алексей Максимович, — пропагандист я был, вероятно, плохой» [33].

Думается, однако, что Алексей Максимович, по своей скромности, преуменьшал здесь значение собственной пропагандистской работы.

С. Я. Аллилуев, участник первого социал-демократического кружка в Тифлисе, в 1892 году рассказывает, что на собрание кружка пришел Пешков и в общей беседе рекомендовал рабочим записывать то, что их особенно взволнует или возмутит на заводе.

«Пишите на злобу дня, записывайте факты, а записанное передавайте одному, другому товарищу, — пусть прочтут. Такие коротенькие записки-обращения можно даже переписать в нескольких экземплярах, раздать товарищам... Этими листовками можно достигнуть многого» [34].

Как видно, Горький давал рабочим идею предпрокламаций.

Нет никакого сомнения, что Горький был организатором всей деятельности «коммуны», и когда через шесть лет Федор Афанасьев был привлечен по серьезному политическому делу, жандармы, обратившись к прошлому Афанасьева, безошибочным нюхом определили степень влияния Горького на тифлисскую молодежь в период существования организованного им содружества.

Недаром с тех пор во все жандармские «справки на Горького» входила формула, с которой выступил перед жандармами один из свидетелей, давший «откровенные показания»:

«Припоминая разговоры и суждения Пешкова, скажу, что, несомненно, он был причастен к пропаганде рабочей. Так часто и так много и резко он говорил об эксплуатации рабочих, так много он развивал на эту тему суждений» [35].

Что же касается другой стороны его деятельности, «фантазера-стихотворца», как он называл себя, то и здесь у нас есть свидетельство современников. По словам лиц, знавших в ту пору Горького, у него были целые тетради, исписанные стихами, и сам он был полон каких-то замыслов.

«Не раз, — вспоминает С. Вартаньянц, один из членов этого содружества, — он звал меня к себе в комнату (у него была отдельная комната) и с особенным увлечением читал мне «Манфреда» и «Каина»... Когда теперь воскрешаю в памяти зимние

вечера 1892 года в подвальном этаже, в довольно просторной комнате, но с бедной обстановкой, и вижу перед собой мощного по фигуре Максимыча, рассказывающего свои мытарства и скитания по обширной России, полные бедствий, лишений, страданий и борьбы, то становится мне понятным его восторженное увлечение Байроном. Байрон поддерживал в нем... дух недовольства настоящим, дух протеста и вместе с тем уносил его вместе с Манфредом в заоблачные края:

В мир новый, мир иной,
Где слез не надо проливать,
Где крик души больной
Не станет сердца разрывать
Щемящею тоской [36].

Строки эти, по свидетельству мемуариста, представляют собой отрывок из большого произведения, написанного Горьким в этом году.

Такое настроение знакомо нам. Это отголоски того «романтизма юности», который и в прежние годы поднимал его над «темными впечатлениями бытия», оберегая от «ядовитых отрав жизни».

Но мы видели, что всегда — в противоречие его стремлению отойти «в тихий угол» жизни от гнета этих отрав — в нем одновременно рос и креп импульс борьбы, и чем могущественнее была сила «буднично-страшного», тем горячее росла в нем сила сопротивления.

Яркий след этих настроений имеется в одном из немногих сохранившихся стихотворений Горького того времени:

Как странники по большой дороге
Сквозь сердце мое прошли
В печали, сомнениях, тревоге
Тысячи детей земли.

Немногих с грустью милой
Я в памяти сердца храню
За то, что они дали силу
Сердца моего огню... [37]

Путь его странствий не был усыпан розами, — Горький признается, что после странствий он «огру-

бел, обозлился еще более», — однако, как и в прежние годы, хождение по дорогам родины укрепило его и рассеяло мрачное состояние духа, а огромный опыт всего виденного переполнял его, требовал исхода, требовал применения этого богатейшего материала.

И вот здесь, в Тифлисе, ему встретился человек, влияние которого имело для Горького в ту пору решающее значение.

Это был Александр Мефодиевич Калюжный, тифлисский знакомый Горького из группы ссыльнопоселенцев.

О том, что произошло между этими двумя людьми, рассказал в письме к Калюжному сам Горький и рассказал с такой сердечной теплотой, которая всегда означала у него и глубокое волнение:

«Дорогой друг и учитель мой, Александр Мефодиевич!

С той поры, как я, счастливо для себя, встретился с Вами, прошло тридцать четыре года; с того дня, как мы виделись второй и последний раз — истекло двадцать два года.

За это время я встретил сотни людей, среди них были люди крупные и яркие. Но поверьте, — никто из них не затемнил в памяти сердца моего Ваш образ.

Это потому, дорогой друг, что Вы были первым человеком, который отнесся ко мне воистину по-человечески.

Вы первый, памятным мне, хорошим взглядом мягких Ваших глаз, взглянули на меня не только как на парня странной биографии, бесцельного бродягу, как на что-то забавное, но — сомнительное. Помню Ваши глаза, когда Вы слушали мои рассказы о том, что я видел, и о самом себе. Я тогда же понял, что пред Вами нельзя хвастаться ничем и, мне кажется, что благодаря Вам я всю жизнь не хвастался собою, не преувеличивал моей самооценки, не преувеличивал и горя, которым щедро напоила меня жизнь.

Вы первый, говорю я, заставили меня взглянуть на себя серьезно. Вашему толчку я обязан тем, что вот уже с лишком тридцать лет служу русскому искусству.

...Старый друг, милый учитель мой, — крепко жму Вашу руку» [38].

Если сопоставить с этим признанием Горького хотя бы цитированные выше воспоминания С. Вартаньянца, то взаимоотношения Горького и его тифлисских друзей станут еще яснее. Несомненно, что он возбуждал интерес к себе всюду: и в группе молодежи, посещавшей «коммуну», и в обществе старшего поколения — ссыльнопоселенцев.

Но этот интерес не помогал ему понять себя, разобраться в мучительных поисках.

«Резкий во мнениях, — по словам С. Вартаньянца, — оригинальный во взглядах на вещи и явления, он был грубоват в манерах и движениях, что, впрочем, шло к нему», — вот такое внешнее внимание, вероятно мало удовлетворявшее Горького, не влекло за собой установления интимно-близких и сердечных отношений.

А так как рассказчиком Горький, как известно, был и тогда уже очень интересным, то рассказы его, возбуждавшие внимание присутствующих, давали ему, вероятно, нередко случай «похвастаться», а слушателям — полюбоваться на этого «забавного» парня «странной биографии».

Огромная заслуга Калюжного была в том, что, убедившись в необычайной даровитости своего молодого друга, он отнесся к нему «воистину по-человечески»: внушил ему серьезное отношение к самому себе и к своему призванию.

И то, что Калюжный сделал для Горького, отозвалось у писателя глубоким чувством благодарности.

«Мы не виделись с Вами почти девять лет, — писал Горький Калюжному в 1900 году, — но я прекрасно помню все пережитое с Вами и никогда не забывал, что именно *Вы первый* толкнули меня на тот путь, которым я теперь иду» *(XXVIII, 122)*.

А первым шагом на этом пути был рассказ «Макар Чудра», написанный Горьким в квартире Калюжного в пору их наиболее тесного сближения. Калюжный же содействовал и тому, что рассказ был

напечатан в местной газете «Кавказ» 12 (24) сентября 1892 года.

Этот день Горький считал началом своей литературной работы, — тогда же, сидя в редакции, он придумал свой псевдоним.

Нужно вспомнить все условия жизни Горького до этого периода, его метания и сомнения, его хождения, как он выразился, «вокруг да около самого себя», чтобы понять, как велик был для его сознания переход от «бродяги» к «литератору», при его высоком представлении о назначении писателя.

Рассказ «Макар Чудра» Горький назвал своим «первым, неуверенным шагом» на пути литератора. И все же великая объективная правда была в том, что этим рассказом стали открываться собрания сочинений прославленного писателя, что этот полусказочный очерк стал рубежом в русской литературе и целое поколение читателей запомнило его знаменитое начало:

«С моря дул влажный холодный ветер, разнося по степи задумчивую мелодию плеска набегавшей на берег волны и шелеста прибрежных кустов».

Пафос этого рассказа был так же прямолинеен, как непосредственны были его горячие метафоры, как ярки были его образы и чувства героев. Пафос его был в преодолении всех пут, порабощающих человека.

И как необычайно было появление этой романтически-пылкой легенды в чопорном и сухом официозе наместника Кавказа, так необычаен вообще этот гимн свободному человеку во времена мертвой полосы реакции и полукрепостнического строя «богохранимой» Российской империи.

«Макар Чудра» — это первое в русской литературе воплощение начинавшегося подъема, выраженного пока еще в легендарных, сказочных, полуфантастических очертаниях.

Откуда же этот пафос, какие силы страны вызвали это первое воплощение?

Жадное желание узнать, самому увидеть, как и чем живет народ, какие он таит в себе силы, что

думает о своей жизни, — это желание заставило Горького все бросить и идти из конца в конец страны.

Он шел по деревням, еще зажатым крепостническим гнетом помещиков, кулаков и урядников, шел через монастыри, где корыстные люди делали своей профессией примирять овцу с волком и обещаниями радостей загробной жизни старались смирить обобранного и обездоленного человека.

Он работал в среде людей, еще рабски приниженных и забитых, но работал и в среде тех, кто уже радостно откликался на зовы новой, рабочей правды, еще не имевшей возможности громко благовестить.

Он видел несокрушимые силы народа, силы сопротивления, которых не мог задавить ни самодержавный сапог Александра III, ни развратить иезуитский талант обер-прокурора синода Победоносцева, усердно насаждавшего духовное растление.

И в самом деле: не очень спокойно чувствовало себя царское правительство, если не переставало издавать все новые и новые крепостнические установления и держать полстраны под «усиленной охраной» и угрозой военных судов.

Замечательные странствия Горького умножили его силы и внушили тот оптимизм борьбы, который нашел свое отражение уже в первых его рассказах и который не имел ничего общего ни с «утешениями» буржуазно-мещанской литературы, ни с бездорожьем и разочарованиями литературы «народнической».

Народник Левитов вынес другой опыт из своих скитаний. Он сообщал читателям, что бешенство, испытываемое им от людских глупостей и подлостей, он умерял лишь общением с природой — «она была лучше всего, что только я узнал во всю мою жизнь».

Такой расколотости сознания не могло быть у Горького — сама природа шла к нему мощным союзником. Широта степи, необъятность моря, мириады тонн солнца и воздуха — все, что он получил в дар от своей родины, все это отразилось еще небывалой в русской литературе силой оптимизма и уверенности в победе.

Народная стихия, фольклорные источники коей с детства питали Горького, определила и первые шаги его писательского пути.

Не случайным было то, что в его котомке вместе с тетрадями его стихов были и тетради его записей народных песен и сказаний *.

«Мною в 90-х годах, — писал Алексей Максимович, — были записаны десятки песен несомненно подлинно народных, они погибли в жандармском управлении, а раньше — я утопил тетрадь записей в Керченском проливе. По сей день жалею: песен этих нет нигде у собирателей» [39].

Народные легенды легли и в основу его первых эпических произведений.

Фольклорного происхождения была легенда о Радде и Лойко, в произведениях Горького она стала повестью о людях с органическим и несокрушимым чувством свободы. В Тифлисе был сделан им первый набросок легенды о Данко, человеке, который вырвал из своей груди горящее сердце, чтобы светить людям, изнемогающим во мраке, и указать им путь к жизни и свободе **.

И, наконец, наиболее значительная вещь этого ряда — сказка «Девушка и Смерть», которую по праву можно бы назвать поэмой всепобеждающей жизни.

Впервые «Девушка и Смерть» была напечатана в 1917 году, и время ее написания не вызывало сомнений.

Но в одном из писем ко мне 1926 года Алексей Максимович, рассказывая о начале своего «литературного бытия», сообщил, что он пробовал поместить в газете «Волжский вестник» сказку «Девушка и Смерть». «Рейнгардт ***, — писал Алексей Максимович, — нашел ее нецензурной».

---

* Одну из тетрадей с записями народных песен Горький еще в годы странствий послал на адрес Академии наук. Тетрадь эта, очевидно, пропала.

** В одной из статей 1910-х годов Горький, упоминая об этой легенде, сообщает, что слышал ее в молодости на Дунае.

*** Редактор-издатель газеты «Волжский вестник». — *И. Г.*

Когда я в 1928 году подготовлял собрание сочинений М. Горького, я запросил о времени написания сказки для определения ее места в собрании.

«Спешу подтвердить телеграмму, — отвечал Алексей Максимович, — «Девушка и Смерть» написана в Тифлисе, значит — в 92 году. Напечатал «Д. и С.» в 15 или 16 г., кажется в книжке «Ералаш» * и с намерением услышать: что скажут? Никто ничего не сказал» [40].

Апофеоз Жизни, могучее, всепобеждающее презрение к Смерти, к Судьбе, темным и косным силам старого мира, все, что так ярко выражено в этой короткой поэме, было как бы прологом ко всему творческому пути Горького, явилось образной программой действий и основой его миропонимания.

Глубокой осенью, в конце сентября 1892 года, он плыл Каспийским морем на рыбачьей шхуне на север, на родину, в Нижний.

---

* Алексей Максимович здесь не точен: «Девушка и Смерть» была напечатана в 1917 году в газете «Новая жизнь», а затем в 1918 году вошла в сборник «Ералаш и другие рассказы». — *И. Г.*

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

С последним рейсом парохода, 6 октября 1892 года, Горький вернулся в Нижний-Новгород.

Поступив здесь снова на службу письмоводителем к адвокату Ланину, он поселился в подвальной комнате того дома, где жил Ланин, отдавая работе все время: днем выполняя поручения в суде, вечером работая у Ланина на дому.

Судя по позднейшим высказываниям Горького о «начале своего литературного бытия», можно бы считать, что по приезде в Нижний он начал печататься и довольно скоро стал профессиональным литератором.

Однако остается фактом то обстоятельство, что в течение почти года после опубликования первого его рассказа — «Макар Чудра», ни одного рассказа Горького не появилось в печати, хотя, несомненно, он много писал.

Может быть, мешало внутреннее препятствие, выразившееся в том, что «пестрота и тяжесть впечатлений бытия», это накопленное богатство, еще не укладывалось в нужные формы: переходя от стихов к аллегории, от аллегории к бытовому рассказу или к рассказу о своих странствиях, от бытового рассказа к легенде, от легенды к воспоминаниям о своем детстве, молодой писатель пробовал свои силы во всех родах литературы.

И мы не знаем, сколько он по ночам, после пе-

реписки прошений, кассационных и апелляционных жалоб, написал и уничтожил художественных произведений, не веря себе, но уже испытывая, как он вспоминал потом, «приливы горячей волны какого-то странного самозабвения».

Первое свидетельство художественной работы Горького в этот период дошло до нас, датируемое полгода спустя после приезда писателя из Тифлиса — 5 апреля 1893 года.

Произведение это написано на двадцати восьми страницах обычной школьной тетради того времени. Название оно носит несколько тяжеловесное, но характерное своей горькой иронией:

«Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца».

Это разрозненные сцены воспоминаний о детских годах, изложенные отрывочно, как «оттиски памяти».

Мы находим в них знакомых нам людей, знакомые события, слышим отчасти знакомые речи.

Нам знакомо все это по автобиографической повести Горького «Детство», написанной двадцать лет спустя после «Изложения». Но было бы неправильно считать «Изложение» как бы «первой редакцией» или «набросками» «Детства». Можно даже сказать, что позднейшая повесть полностью противоречит направленности этих ранних заметок, этой короткой цепи поистине горьких воспоминаний и дум.

«Детство» Горького явилось в эпоху близкого крушения в России буржуазного порядка под ударами социалистической революции. Пафос его автобиографических повестей определялся ожиданием победы над «свинцовыми мерзостями» мещанского порядка, того порядка, когда копейка служит солнцем в небесах, нажива — единственной целью жизни.

Пафос автобиографических вещей Горького был в возвеличении труда, преобразующего мир, а не в изображении отдельной личности; это сказалось и на стилевой основе повестей. Горький писал, что он «ставил себя в позицию свидетеля событий, избегая

выдвигаться, как сила, действующая, дабы не мешать самому себе, рассказчику о жизни».

А в ранних автобиографических заметках изложение событий идет в свете суждений о своей судьбе, с этим связано отношение к обидам в детстве, как к обнаженным ранам («...и этого я никогда не забуду, хотя и хотел бы забыть»).

Все это имеет мало общего с позднейшими автобиографическими повестями Горького. По всем данным, эти заметки не предназначались для печати.

Весною 1893 года Короленко еще не был членом редакции журнала «Русское богатство», но и тогда уже редакция привлекала его к работе в журнале. Короленко направлял рукописи молодых авторов, обращавшихся к нему, в журнал со своим отзывом и рекомендацией.

В письме от 30 мая 1893 года он писал руководителю журнала Н. К. Михайловскому:

«Посылаю Вам при сем же еще два стихотворения некоего Пешкова... На сей раз и стихи, и человек много интереснее: это самородок с несомненным литературным талантом, еще не совсем отыскавшим свою дорогу. Из прилагаемых стихотворений — первое слабее по форме, но картина осмыслена и есть несомненная поэтическая струйка. Два других — незначительнее, но кажется безукоризненны по форме... Автору очень дорого услышать Ваше мнение об этих пробах. Он мечтает и о напечатании их в «Русском Богатстве». Я же в личное одолжение прошу несколько слов и быстрого по возможности решения» [41].

Стихотворения эти нам остались неизвестными. Некоторое представление об одном из них дает С. Д. Протопопов в своих воспоминаниях:

«Однажды Короленко привез из Нижнего в редакцию «Русского Богатства» стихотворение Алексея Максимовича. Описывался босяк в степи. Михайловскому стихотворение не понравилось, в журнале оно не появилось, а Короленко хвалил, взял стихотворение и прочитал его, подчеркнув слова:

И встану я, бродяга, на колени...

— Ведь это хорошо! — говорил Короленко» [42].

Протопопов ошибался, думая, что Короленко «привез из Нижнего» стихотворение Горького. Несомненно, что это стихотворение было одним из трех, присланных им Михайловскому.

Разговор же о стихах и чтение в редакции «Русского богатства» происходили в конце июня или в начале июля 1893 года, когда Короленко и Протопопов были в Петербурге проездом на Всемирную выставку в Чикаго.

Но, уезжая в Америку, Короленко, видимо, взял слово с Михайловского, что тот ответит молодому автору хотя бы через общего знакомого в Нижнем — Н. Ф. Анненского. Михайловский исполнил это.

«Многоуважаемый Николай Федорович,

В. Г. Короленко просил меня через Вас ответить г. Пешкову о его, Пешкова, стихотв[орениях]. Будьте же любезны передать ему следующее. Доставленные им стихотворения неудачны. Первое проникнуто настоящим поэтическим чувством, но очень уж хромает формой, а остальные два, гораздо более выдержанные по форме, бессодержательны.

Короленко говорил мне, что г. Пешков пробовал себя и в прозе, и что хотя известные ему, Короленко, пробы сами по себе неудачны, но свидетельствуют о таланте. Не пришлете ли Вы мне что-нибудь посмотреть, но не из того, что уже видел Короленко?» [43]

Михайловский повторил мнение Короленко о стихах Горького, но в более резкой форме. Вместо оговорки Короленко «два других — незначительнее» он прямо называет стихотворения бессодержательными. Но Михайловский в 90-х годах называл в литературе «бессодержательным» и «бесцельным» все выходившее из рамок либерально-народнической программы.

Неизвестно, давал ли Горький что-нибудь «посмотреть» для Михайловского, но известно, что три рассказа были посланы или переданы через Н. З. Васильева, его друга, в московскую газету «Русские ведомости».

5 августа 1893 года появился в «Русских ведомостях» рассказ Горького «Емельян Пиляй».

Емельян Пиляй и рассказчик бредут из Одессы к рабочим куреням в поисках работы.

Босяк Пиляй говорит:

«Ничего больше не остается делать, как идти на соль! Солона эта проклятущая работа, а все ж таки надо взяться, потому что эдак-то, неровен час, и с голоду подохнешь».

В этом рассказе впервые в русской литературе дан босяк — мечтатель и говорун.

Приуныл он оттого, что голодно ему очень или, как он говорит товарищу, — «незадача нам с тобой всю неделю».

«Какая моя жизнь? — говорит Пиляй. — Собачья жизнь. Нет ни конуры, ни куска — хуже собачьей! Человек я разве? Нет, брат, не человек, а хуже червя и зверя! Кто может меня понимать? Никто не может! А ежели я знаю, что люди могут хорошо жить, то — почему же мне не жить?.. Чорт вас возьми, дьяволы!»

Это был первый горьковский реалистический рассказ, появившийся в печати.

В истории весны и лета 1893 года в жизни Горького поражает одна черта: его быт, вследствие задолженности разным лицам, был очень тяжелым, но, несмотря на все претерпеваемые бедствия, он находился в состоянии большого творческого подъема.

Несомненно, что ряд рассказов, ставших впоследствии известными всему миру, задуманы были именно в это время и входили в ту, как он выразился, «кучу всяких писаний», которую он предполагал разослать «во все редакции» уже ближайшей осенью, к зиме 1893—1894 годов.

О том, каким образом в это же время Горький стал сотрудником казанской газеты «Волжский вестник», у нас нет сведений. В письмах его ни о каких связях с этой газетой не упоминается.

Вероятно, в июле, после двухмесячного молчания «Русских ведомостей», потеряв надежду на ответ, Горький направил в «Волжский вестник» остальные рассказы, предназначавшиеся для московской газеты.

В своих воспоминаниях о Короленко Горький сообщает о легкости, с которой «Волжский вестник» напечатал посланные им рассказы. Однако целый ряд ошибок памяти в этих воспоминаниях позволяет и эту деталь поставить под сомнение.

И очень возможно, что именно появление «Емельяна Пиляя» в «Русских ведомостях», газете весьма влиятельной среди провинциальных редакций того времени, ускорило появление рассказов Горького и в «Волжском вестнике».

«Емельян Пиляй» был напечатан в «Русских ведомостях» 5 августа 1893 года, а с 18 августа начались печатанием рассказы Горького в «Волжском вестнике».

Среди них 4 сентября была напечатана и знаменитая впоследствии «аллегория» — «О чиже, который лгал, и о дятле — любителе истины».

И вот теперь, когда осенью 1893 года Горький, после напечатания рассказов в «Волжском вестнике», пошел к Короленко, вернувшемуся из поездки в Америку, тот, по воспоминаниям Горького, встретил его таким ободряющим восклицанием:

«— А мы только что читали ваш рассказ «О чиже» — ну, вот, вы и начали печататься, поздравляю! Оказывается, вы — упрямый, все аллегории пишете. Что же, — и аллегория хороша, если остроумна, и упрямство — не дурное качество».

Провожая после продолжительной беседы Горького, он снова пожелал ему успеха.

« — Так вы думаете — я могу писать? — спросил я.

— Конечно! — воскликнул он несколько удивленный. — Ведь вы уже пишете, печатаетесь, — чего же? Захотите посоветоваться, несите рукописи, потолкуем...»

Если Калюжный указал Горькому его путь, то Короленко явился внимательным руководителем на этом пути, отзываясь на каждый рассказ Горького, появлявшийся в местных газетах.

Его советы и указания всегда были кратки, просты, вспоминал Горький, но это были как раз те указания, в которых я нуждался... «Пишете вы очень

своеобразно, — говорил Короленко Горькому, — не слажено все у вас, шероховато, но — любопытно» *(XV, 32—35)*.

Этого любопытства не проявляли присяжные редакторы, и рукописи, как писал Горький в одном письме, «просто «терялись» в редакциях».

Нижегородское жандармское управление продолжало секретно наблюдать за ним.

«В 1894 году он жил в Нижнем-Новгороде, продолжая сношения с неблагонадежными лицами», — говорится в справке департамента полиции о Горьком.

Нет сомнения в том, что Горький встречался с кружком нижегородских марксистов.

В начале 1894 года приезжал в Нижний-Новгород Ленин и читал в марксистском кружке реферат против книги народника Воронцова «Судьбы капитализма в России». Горький не был на чтении реферата и не виделся с Лениным, но дошедшие до него идеи, без сомнения, отразились на его миропонимании.

В это время Горький ушел со службы письмоводителя, освободив время для литературной работы. Он писал в местной газете рассказы по две копейки за строчку, написал повесть «Горемыка Павел», которая шла фельетонами. Короленко внимательно следил за его работой. Так, он упрекнул Горького за то, что он не показал ему в рукописи рассказ «Дед Архип и Ленька», — этот рассказ, по мнению Короленко, можно бы напечатать в журнале.

Особенно памятна была Горькому долгая беседа летним утром 1894 года, когда они после бессонной ночи гуляли по полю на окраинах Нижнего. Короленко много и подробно говорил о рассказах Горького, указывая ему на то, что пишет он торопливо, наспех, что нередко видна в его рассказах недоработанность, неясность.

«Вот что, — сказал он в заключение, — попробуйте вы написать что-либо покрупнее, для журнала. Это пора сделать. Напечатают вас в журнале, и, надеюсь, вы станете относиться к себе более серьезно».

Придя домой, Горький тотчас же принялся за ра-

боту. Сюжетом он взял случай, рассказанный ему одесским босяком, его соседом по койке в больнице города Николаева.

Рассказ получил название «Челкаш».

Прочтя рукопись, Короленко сердечно поздравил Горького:

«Вы написали недурную вещь. Даже прямо-таки хороший рассказ! Из целого куска сделано... Вы можете создавать характеры, люди говорят и действуют у вас от себя, от своей сущности, вы умеете не вмешиваться в течение их мысли, игру чувств, это не каждому дается! А самое хорошее в этом то, что вы цените человека таким, каков он есть. Я же говорил вам, что вы реалист!

Но, подумав и усмехаясь, он добавил:

— Но в то же время — романтик!..»

В эту пору Короленко теснее входит в редакцию журнала «Русское богатство».

«Челкаша» напечатаем в «Русском Богатстве», — говорил он Горькому, — да еще на первом месте, это некоторая отличка и честь» *(XV, 41—42)*.

Неясно, сам ли Короленко послал рукопись, или послал ее Горький, ссылаясь на Короленко, но от Н. К. Михайловского, возглавлявшего журнал, Горький получил следующее письмо:

«Милостивый Государь,

Вы прислали своего «Челкаша» для печати и мнения моего о нем, может быть, вовсе не желаете знать. Но я не могу ответить простым «да» или «нет», в виду некоторых особенностей рассказа, и потому позволю себе распространиться.

Рассказ задуман превосходно и представлял бы большой и идейный и художественный материал, если бы Вы приняли во внимание нижеследующее.

Рассказ местами очень растянут, что может быть устранено чисто механически, так как имеется не мало повторений. Гораздо затруднительнее то, что рассказ страдает отвлеченностью. Понятна отвлеченность самого Челкаша, ему, босяку, обтершемуся в кипучей жизни международного города, таким и быть должно. Но Гаврилу я себе представить не могу, не психоло-

гию его — она понятна, а как бытовую фигуру. Российский человек ходил на косовицу на Кубань. Откуда? Челкаш не задает ему этого естественного вопроса, и сам он, при всей словоохотливости, не говорит. Сколько я понимаю, это неверно в бытовом отношении, а при том и неудобно для фабулы: где Гаврила научился так управлять веслами и рулем в море? Курский или Орловский мужик этого не может. Не пахнут жизнью, «бытом» и все разговоры Гаврилы. Челкаш может говорить о «свободе» и причем почти таким же языком, как и мы с Вами говорим, но Гавриле этот язык совершенно не подобает. Мне кажется, что если Вы взглянете на свой рассказ с этой точки зрения, то сами увидите, что он требует серьезных поправок.

Я бы на Вашем месте обратился к В. Г. Короленко, который предполагает скоро приехать в Петербург, и попросил бы его пройтись с карандашем по рукописи (для этого нужен художник вроде Короленки). Если он возьмет на себя этот труд, я заранее поздравляю «Русское Богатство» с прекрасным рассказом» [44].

Смысл письма ясен: Михайловский, возвращая рассказ, находит, что он «задуман превосходно» и *представлял бы* большой идейный и художественный материал, *если бы* были внесены требуемые «серьезные поправки». Он предлагает Горькому обратиться к помощи Короленко.

«Если он возьмет на себя этот труд, я заранее поздравляю «Русское Богатство» с прекрасным рассказом». Смысл этой изысканно-любезной фразы тоже ясен: рассказ может появиться в журнале только при условии редакции Короленко.

Михайловский рассчитывал, что Короленко, взявшись за рассказ, исправит Гаврилу в народнически-либеральном направлении.

В своем ответе Михайловскому Горький благодарит его за внимание к рассказу и добавляет: «Мне думается, что поправки, вносимые Вами в мой набросок, сделать очень легко и что они не особенно изменят его» *(XXVIII, 7—8)*.

Это расходилось с мнением Михайловского, который рассчитывал на то, что Короленко изменит фигуру Гаврилы. Письмо Горького должно было несколько раздражить его.

13 декабря 1894 года Короленко писал Михайловскому:

«Челкаша» в исправленном виде посылаю... Ах, как хорошо бы его напечатать в ближайших книжках. Рассказ хорош, а автор болен и бедствует»[45].

Первоначальная рукопись «Челкаша» не сохранилась, и мы не можем сказать, что было исправлено в рассказе и было ли что изменено в нем в согласии с указаниями Михайловского.

Алексей Максимович рассказывал в письме: «...кажется мне, что Короленко *не правил* «Челкаша», а только посоветовал мне выбросить сцену: Челкаш наблюдает игру уличных детей, что я и сделал»[46].

Обращает на себя еще внимание, что единственное конкретное указание Михайловского на необходимость уточнить вопрос, откуда родом Гаврила, не было исполнено, хотя исполнить его было проще простого.

Это обстоятельство, естественно, наводит на мысль, что и другие, более сложные изменения не были произведены и что здесь Горький мог встретить полную поддержку Короленко.

Но исправления были, как об этом ясно говорит письмо Короленко. Какие? Они, несомненно, коснулись некоторых длиннот (как, например, игра уличных детей), которые вообще были обычны для молодого Горького и которые в последующие годы он с таким необычайным чувством стиля и языка устранял, мастерски уплотняя диалоги и описания в своих произведениях.

В этой части своего письма Михайловский был, вероятно, прав. Но и здесь Короленко, можно думать, ограничился советами, с большим уважением предоставляя молодому автору руководствоваться своими оценками.

На эту мысль наводит простое обстоятельство: дата письма Короленко Михайловскому: *13 декабря.*

В своем письме Михайловский рекомендовал Горькому обратиться к Короленко, «который предполагает скоро приехать в Петербург», — под этим разумелось, конечно, что Короленко сам привезет рукопись, занявшись предварительно, как художник, необходимой, по мнению Михайловского, конкретизацией рассказа.

Но Короленко посылает рукопись, *вернувшись* из Петербурга. А вернулся он *12 декабря*. Именно в его отсутствие Горький мог делать в рукописи последние изменения, доставив ее Короленко или в день его приезда, или на следующий день, когда она была отправлена в редакцию «Русского богатства».

И, зная, с какой тщательностью и ответственностью Короленко-редактор работал с чужими рукописями, невозможно допустить, чтобы он (как художник!) взялся создать новую редакцию рассказа Горького в течение дня или даже нескольких часов.

Как бы то ни было, 13 декабря 1894 года Короленко писал Михайловскому о «Челкаше»: «Ах, как хорошо бы его напечатать в ближайших книжках. Рассказ хорош...»

Только 19 апреля 1895 года, то есть через четыре месяца после этого, Михайловский определил в письме к Короленко судьбу рассказа: «Челкаш» намечен на июньскую книжку».

Можно допустить наличие всяких редакционных соображений, заставивших отложить печатание рассказа почти на полгода, но разница в отношении к «Челкашу» Михайловского и Короленко бросается в глаза.

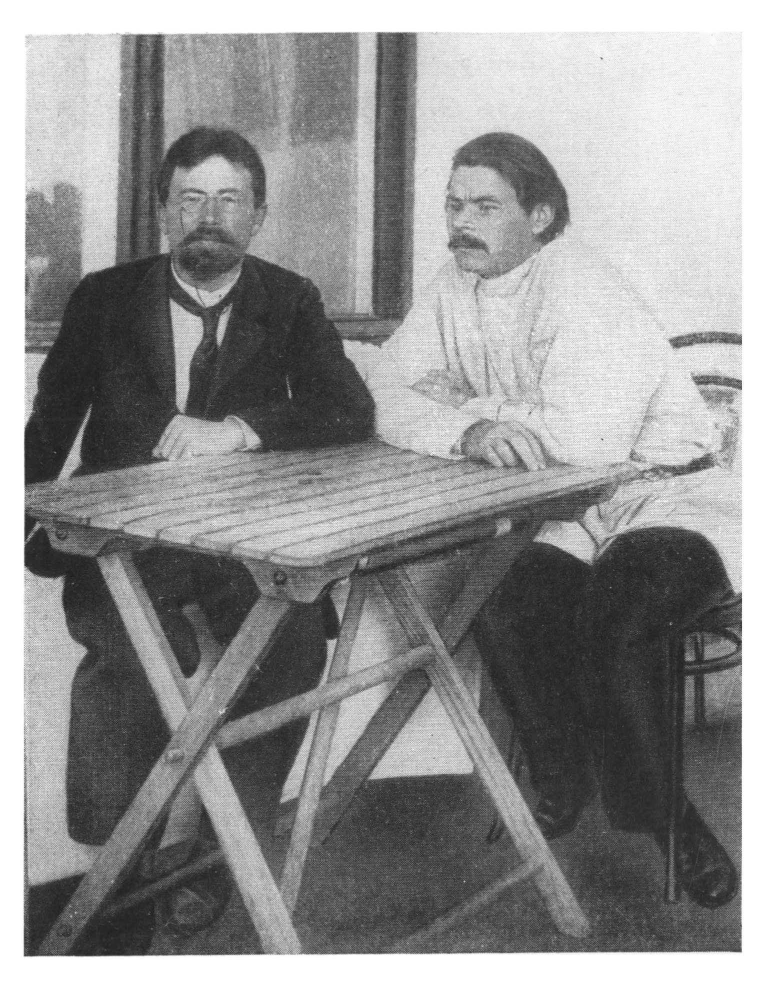
Несомненно, что Михайловский признавал известную ценность рассказа («задуман превосходно»), но несомненно и то, что остался к нему холоден, был им недоволен, «своим» для журнала не считал.

И возможно и в высшей степени вероятно, что, если «Челкаш» в таком виде все же появился на страницах журнала, в этом была заслуга Короленко.

«Челкаш» был напечатан, когда Горький уже давно жил и работал в Самаре.



А. М. Горький и Ф. И. Шаляпин. Нижний-Новгород, 1901 год.



А. М. Горький и А. П. Чехов. Крым, Ялта, 1900—1901 годы.

2

«Самарская газета» была основана в 1880-х годах неким И. П. Новиковым.

Отставной гусар, гласный думы, владелец типографии, издатель, директор городского театра, антрепренер и актер — он был популярным лицом в городе. Более всего увлекался Новиков театром. Театр и был причиной того, что он прогорел по всем статьям своих разнообразных занятий.

Дошла очередь и до «Самарской газеты». В феврале 1894 года ее купил молодой коммерсант С. И. Костерин.

В эти годы, в связи с общим оживлением общественной жизни страны и увеличением количества газет в провинции, наряду с листками типа «Губернских ведомостей» начинают появляться в крупных центрах и такие газеты, хозяева и сотрудники которых пытаются придать им более или менее выдержанное либеральное направление. Разумеется, в меру своих политических воззрений и милости местной цензуры.

Такое изменение претерпела и «Самарская газета» при новом хозяине-издателе.

Секретарем преобразованной газеты и фактическим редактором ее стал Н. П. Ашешов — журналист, высланный из столицы за «неблагонадежность». Обосновавшись в Самаре, он предпринял реорганизацию «Самарской газеты».

Авторитет Короленко в кругах поволжской журналистики был очень высок, и Ашешов прислал письмо с предложением сотрудничества и с просьбой дать советы.

Короленко воспользовался этим письмом для того, чтобы побудить Горького переменить свою неустроенную и бедственную жизнь в Нижнем на профессиональный труд в Самаре.

После настойчивых уговоров со стороны Короленко Горький согласился переехать в Самару.

Мемуаристы относят приезд М. Горького в Самару к весне 1895 года. Алексей Максимович, доверяя

им, писал, что приехал он в Самару «вероятно в апреле 95 г.; еще лужи на улицах были подморожены».

На самом деле было так: нижегородский губернатор Баранов извещал московского обер-полицмейстера, что состоящий под негласным надзором от 15 ноября 1889 года Алексей Максимов Пешков 20 февраля выезжает в Москву, откуда предполагает проехать в Самару [47].

Горький выехал из Нижнего 20 февраля, проехал через Москву, 23 февраля был в Самаре и 24 февраля уже приступил к работе.

Алексей Максимович признал в 1934 году показанные ему «Очерки и наброски» от 25 февраля своими. И конец февраля (по старому стилю) подходит к тому времени, когда «лужи на улицах были подморожены».

Е. С. Иванова, служившая в то время в конторе «Самарской газеты», так рассказывает о первой встрече с Горьким:

«Прихожу я однажды на службу, вхожу в редакционную комнату, вижу, сидит за столом, сгорбившись над газетой, человек, а кто такой — не видно: все лицо волосами закрыто. Входя я хлопнула дверью, он как вскочит, волосы отбросил назад и на меня уставился... Я даже испугалась: такой-то бледный да худой, как после болезни бывает, — нехороший. Потом узнала: Горький. И разглядела: совсем молодой, растительности на лице нет, тужурка черная на нем, — одет плохо... Посадили его на вырезки из газет, положили 50 рублей в месяц за это, а за рассказы по $2^1/_2$ копейки за строчку беллетристики...» [48]

«Вырезки из газет», как называет Е. С. Иванова «Очерки и наброски», 25 февраля начинались с рассказа об историке Абулгази-Баядур-Хане, описывавшего быт одного татарского племени.

Ссылка на Баядур-Хана прозвучала в «Самарской газете» неожиданно. Для нас она показывает занятия Горьким историей монголов. В письме к Короленко он просит сообщить какой-либо источник по истории

монголов, кроме Баядур-Хана, и добавляет: «очень интересны эти монголы».

До приезда в Самару Горький уже года полтора работал в поволжских газетах исключительно как беллетрист.

Но в 1895 году с первого дня приезда на работу в «Самарскую газету» он становится профессиональным публицистом, обязанным ежедневно давать обзор прессы, преимущественно провинциальной, в отделе «Очерки и наброски».

Этот отдел составлялся из набора газетных цитат, связанных комментариями лица, ведущего отдел.

Группируя факты российской действительности, газета давала читателю нечто вроде небольшого внутреннего обозрения.

С Горьким вошел в газету новый, еще невиданный в ней фельетонист. Обозревая печать во всероссийском масштабе, Горький вытаскивал дикие факты произвола и самоуправства, эксплуатации, зверского обращения с рабочими, избиения женщин и другие такие же мрачные факты российской действительности и комментировал их с нескрываемым гневом.

В первом же письме Короленко из Самары Горький просит у него указаний и советов:

«Я веду в газете «Очерки и наброски».

Скажите, что Вы думаете о том, как я трактую факт? О самой ценности факта? О тоне?» *(XXVIII, 9)*.

Газета, по мнению Горького, как он писал Короленко, должна была бы колотить «по пустым башкам, как молот».

Популярности «Самарской газеты» среди обывателей способствовал опытный журналист С. Гусев (Слово-Глаголь), легко и непринужденно — «либерально» — беседовавший с читателем в своем ежедневном фельетоне «Между прочим».

Когда Слово-Глаголь уехал из Самары, его фельетон «Между прочим» перешел к Горькому. Тогда-то впервые, 14 июля 1895 года, появляется подпись *Иегудиил Хламида.*

Как понимал задачи фельетониста Иегудиил Хламида?

Говорить об отрицательных явлениях бытовой и общественной жизни Самары, вскрывать эксплуатацию трудящихся, обличать своекорыстные интересы сильных лиц и отсутствие гражданского чувства у заправил города или, как он пишет в одном из фельетонов: «открывать в глухих зарослях нашей тьмы и невежества разнообразную дичь и... бить ее верно и метко» *(XXIII, 12)*.

Иегудиил Хламида понимал, что все эти уродства вскормлены капиталистическим строем, но говорить об этом открыто он не имел возможности. Недаром в своих воспоминаниях Горький назвал деятельность Иегудиила Хламиды «окаянной работой».

Обязанность ежедневных выступлений под цензорским карандашом, обязанность выискивать тему, которую пропустил бы цензор, делали эту работу «окаянной».

А писать Иегудиилу Хламиде было о чем.

Самара выросла в какие-нибудь сорок лет из маленького уездного городка в десять-пятнадцать тысяч жителей в большой город, в 90-х годах насчитывающий уже более ста тысяч жителей.

В то время такой быстрый рост города был исключительный, и Самару стали звать «русским Чикаго».

Этот рост объясняется тем, что богатейшие степи самарского края стали захватывать разбогатевшие кулаки и промышленники, разводя скот и скупая у крестьян пшеницу. Пшеницу, шкуры и сало свозили на самарскую пристань и населяли город массой работников.

В Самаре стали возникать богатейшие особняки, а на окраинах ютились тесные лачуги людей, работающих на купцов.

Однажды Иегудиил Хламида предложил:

«На набережной города Самары следовало бы устроить такую же вывеску, как у Жигулевского завода, и на этой вывеске написать:

Смертный, входящий в Самару в надежде в ней встретить культуру.
Вспять возвратися, зане город сей груб и убог,

Ценят здесь только скотов, знают цену на сало и шкуру,
Но не умеют ценить к высшему в жизни дорог».

Городом управляла кучка миллионеров: мукомолов, хлеботорговцев, скотопромышленников, владевших громадными участками по тысяче и по две десятин земли. Эти бывшие гуртовщики, прасолы и разбогатевшие кулаки были малограмотны, но держали город в своих руках, формируя городскую думу и управу.

«...В думе всем ворочает «его степенство», — ворочает очень сильно, когда дело идет о его пользе, — писал Горький, — а если дело идет о пользе города, то... и тогда не менее сильно ворочает, но тоже в свою пользу» *(XXIII, 109)*.

Воровство членов управы, раболепствующих перед заправилами города; бесконечно долгие думские комиссии по делам, которые были невыгодны «его степенству»; недоимки миллионеров, не желавших платить налоги; комедия суда над ними; наконец памфлет на городского голову — вот темы фельетонов Иегудиила Хламиды, которыми он бичевал самарское «именитое» купечество.

Около кучки миллионеров гнездились купцы города помельче, владельцы Троицкого рынка. Затемнение магазинов для того, чтобы сбывать негодный товар, дикие забавы купцов и раболепство приказчиков, грязь и чудовищная эксплуатация в «бакалейных заведениях» — обо всем этом мы читаем в гневных строках Иегудиила Хламиды.

Но больше всего фельетонов посвящено обывателю. Это буржуазно-мещанское население Самары, обалдевшее от скуки и пустоты жизни, развлекающееся сбрасыванием из окон кошек на проходящих, безобразничающих в вагонах конки, тяжущихся из-за пятнадцати копеек, и т. д.

Из ста тысяч жителей Самары насчитывалось грамотных до восьми тысяч, но грамота буржуазных обывателей не улучшала положения фельетониста, как это видно из сатирических фельетонов Горького за подписью Паскарелло.

Эти фельетоны были помещены в июне 1895 года и носили название «Несколько дней в роли редактора провинциальной газеты».

За гротеском сатиры мы угадываем бытовые особенности провинциальной газеты 90-х годов.

Фельетоны рассказывают, что в редакции нового редактора встречает бешеный натиск людей обличающих, людей, протестующих против обличения, опровергающих, ругающихся, предупреждающих угрозами, теребящих растерянного редактора.

Так стремились обыватели сочетать задачи прессы с покровительством их темным и мелким делишкам, недвусмысленно угрожая при этом физической расправой.

Многочисленны были нападения Иегудиила Хламиды на обывательский быт, бессодержательный от безделья и скуки, на праздничные визиты, на сплетни и серость мещанской жизни.

Поздравляя читателей с Новым годом, Иегудиил Хламида пользовался этим случаем, чтобы выразить по традиции пожелания читателям, и пожелания эти превращаются в памфлет против буржуазного обывателя.

Так последовательно изображал Иегудиил Хламида в своих фельетонах жизнь Самары, ее быт и общественные нравы.

Но главная сторона социальной жизни была для него закрыта.

В Самаре были большие заводы, и слухи о волнениях рабочих в столицах и центральных областях доходили до Самары довольно явственно.

Как только Иегудиил Хламида пытался писать о более серьезной, центральной теме своих фельетонов, цензор, по его словам, «вынимал из его писаний ребра», и получалась «какая-то густая и нелепая каша из разных плохо связанных мыслью слов» [49].

То была в полной мере «окаянная» работа.

Иногда Иегудиил Хламида прорывался через тиски цензора, прибегая к такому языку и таким образам, которые цензору были непонятны и пропускались им.

Например, Иегудиил Хламида писал:

«Мы сидели в саду на лавочке... Над нами висел зеленый полог ветвей, и солнечные лучи, проходя сквозь него, бросали на траву зеленые пятна света...

Крохотные букашки разнообразных форм и цветов нервно копошились в траве, ползали, исчезали, снова появлялись; муравьи что-то таскали в своих сильных челюстях...

Малюсенькие букашки во всю мочь устраивали «как лучше» свою краткую жизнь...

Веселая и, полагаю, остроумная мысль пришла мне в голову:

«А не заняться ли нам от скуки, по примеру букашек, муравьев и других микроскопических насекомых, устроением нашей жизни «как лучше» [50].

Так Иегудиил Хламида говорил о революционном перевороте и о кипучей деятельности людей, которые устроили бы жизнь «как лучше».

Страстно и упорно искал он понимающего и сочувствующего читателя.

Через несколько дней после фельетона о букашках и муравьях Иегудиил Хламида попытался открыто выступить против цензуры. Говоря о проявлении обывателями своих чувств и своей морали, он писал:

«На этом пути — лежит красный камень преткновения, а вокруг него произрастают разные другие колючие тернии.

Дойти сквозь них до публики ясным и точным фельетонисту удается редко, и большинство обывателей хотя и ведет [себя] зазорно и достойно осмеяния, — но...

И даже «но» не только с запятой, а и со знаком восклицания — «но»!..

Я знаю, что есть очень много людей, коих необходимо ежедневно публично и печатно сечь, — но!» *(XXIII, 20—21)*.

Чувства и мораль обывателей — это чувства и мораль эксплуататоров и хищников. Иегудиил Хламида умышленно мягко говорит «обыватели».

Цензор-чиновник не понял намека на «красный камень преткновения» (красный карандаш цензора)

и счел это, очевидно, просто фельетонной белибердой, потому что, когда яснее писал фельетонист, он просто вычеркивал, как это было в сатирических фельетонах Паскарелло:

«В красных рубцах лежали предо мной гранки, и мне казалось, что это их до крови высекли» *(II, 62)*.

Цензор вычеркивал все, что так или иначе касалось служащего дворянства и государственной администрации. Вычеркивал по инструкции. Не дозволялось писать о рабочем вопросе, особенно по причине забастовок в Петербурге.

Но о детском труде не было запрещения писать, чем и воспользовался Иегудиил Хламида.

Очень злые фельетоны были направлены против типографщика Грана, избившего мальчика, против фабриканта Лебедева, по вине которого произошло увечье мальчика.

Лебедев написал «опровержение», в котором доносил начальству, что Хламида «возбуждает антагонизм между заводчиком и служащими», и, обзывая Хламиду «болезнетворной бациллой в здоровом организме печати», взывал к издателю газеты, купцу Ко́стерину, который должен бы «ближе, чем Хламида, стоять к жизни» *(XXIII, 39)*.

Понятно, что, по выражению Лебедева, означало «стоять ближе к жизни».

Иегудиил Хламида опубликовал «опровержение» Лебедева и обещал вернуться к порядкам лебедевской фабрики.

Но этого не пришлось сделать. Одновременно с «опровержением» Лебедев послал жалобу министру внутренних дел.

27 октября 1895 года начальник главного управления по делам печати известил Лебедева, что цензор подвергнут «взысканию в административном порядке» [51].

Однако еще до получения цензором «административного взыскания», 19 октября, появился фельетон Иегудиила Хламиды, в котором рассказывалось, что владельцы вальцовых мельниц, несмотря на бойкое время для их заведений и на то, что они завалены ра-

ботой, убавили своим рабочим жалованье на трешницу в месяц.

Причина —холод, прекращение навигации, рабочему некуда деться.

«Купец это понимает.

И, подождав, когда будет еще холоднее, он еще трешку скинет.

Он не только просто хозяин, но и хозяин всего современного экономического положения.

И он, прекрасно понимая это, стремглав летит к своему идеалу, к такому положению вещей, при котором на его милость работали бы совсем даром.

Что ж? С богом!

Сведущие люди говорят, что его успехи подвигают к нему его гибель» *(XXIII, 43)*.

Мельники не протестовали против фельетона, газет они не читали. Цензор не уразумел, очевидно, конец фельетона, но главное управление по делам печати обратило на него внимание.

Начальник управления послал 10 ноября самарскому губернатору уведомление о необходимости «сделать распоряжение, чтобы на будущее время не были разрешены в местные повременные издания статьи, могущие поселить вражду рабочих к хозяевам»[52].

Этот фельетон был совершенно открытым свидетельством М. Горького о том, что класс купцов погибнет.

Иегудиил Хламида так писал о невозможности говорить правду:

«Мой знакомый пришел ко мне и тотчас же заявил:

— Местная печать не соответствует своему назначению...

В сущности я прекрасно знаю, что не соответствует, и знаю причины, в силу которых в русской жизни установились и кои поддерживают несоответствие печати с ее назначением.

Дело, видите ли, в том, что, с точки зрения сведущих в деле жизни людей, порядок гораздо нужнее для жизни, чем правда, справедливость и иные прочие вещи, без которых живем ведь мы!»

«Порядок» эксплуататорского общества противопоставлен «правде» и «справедливости». Охранители «порядка», преследующие «правду» цензоры делают печать спотыкающейся, «косноязычной».

«Печать имеет тенденцию проводить в жизнь правду, и за склонность к оной пребывает косноязычна и ратоборствует по линии наименьшего сопротивления».

Так признавался Иегудиил Хламида в ратоборстве по линии «наименьшего сопротивления».

И все же нигде в русской легальной литературе среди русских журналистов того времени не найти было такого настойчивого, такого упорного заступника трудящихся, обязавшегося проводить в жизнь *правду.*

Он обличал скупщиков, прижимавших крестьян, администрацию железных дорог, бессовестно обсчитывающую мелких служащих, лавочников, патриархально эксплуатировавших своих «молодцов», и т. д.

Иегудиил Хламида настаивал на том, что город обязан дать помещение для нанимающейся домашней прислуги, вынужденной мокнуть под дождем или мерзнуть в ожидании нанимателей; выступал против возмутительного намерения городской управы выселить бедноту с городской земли, боролся с самарскими толстосумами, эксплуатировавшими все и вся в своих интересах.

Едва ли не единственным фельетоном, изображавшим симпатичную картину, был фельетон о гулянье Общества книгопечатников.

В жизни этого общества Горький принимал большое участие. В декабре им была организована в помещении редакции елка для детей наборщиков и для маленьких тружеников типографии.

В фельетоне он писал:

«В четверг, на гулянии общества книгопечатников в Струковском саду, было не особенно много «настоящей публики», но зато в нем присутствовало много оригинальных, шумных и веселых, чумазых и оборванных маленьких людей, придававших устроенному

симпатичным обществом вечеру милейший, задушевный характер.

Это были мальчики из типографий, воспитанники печатного станка, незаметные труженики слова, веселые искры которых со временем, может быть, разгорятся в большие огни...» *(XXIII, 23)*.

Иегудиил Хламида и здесь не забывал сказать о будущем, о «больших огнях», которые разгорятся от веселых искр этих «незаметных тружеников слова».

В 1931 году Горький писал самарскому наборщику Г. П. Борисову:

«Тяжелое, мутное время пережили мы с Вами в Самаре, и трудно было тогда представить, что энергия рабочего класса развернется так мощно и победоносно, как развернулась она теперь» *(XXX, 213)*.

И вот тогда, в Самаре, в «тяжелое, мутное время», Горький призывал к «большим огням» революции.

Сказка «Старый год» в новогоднем номере «Самарской газеты» является ожиданием грядущей революции, ожиданием, скрытым от цензорского взора.

К «Старому году» явились все человеческие Свойства: пришли Лицемерие со Смирением, Честолюбие с Глупостью, пришло Уныние — «и все почтительно поклонились ему, потому что оно в чести у времени».

Последней же пришла Правда. Робкая и забитая, как всегда, прошла в угол и одиноко села там.

Когда Старый год прощался с человеческими Свойствами, явился гонец от Вечности и сказал:

«...Зачем Новый год ветхим людям?.. Нового года не будет до нарождения новых людей. Останется с ними тот, что уже был — пусть он переоденется из савана в платье юноши и живет... И доколе люди не обновят дум и чувств своих, ты останешься с ними...»

Таким было поздравление Горького читателей с Новым годом и таким был призыв его к молодому поколению «обновить думы и чувства свои».

Как фельетонист Горький разоблачал капиталистические силы Самары и отстаивал интересы трудящихся. В то же время он усиленно работал над худо-

жественными произведениями, посвященными революционному анализу классового общества.

Среди рассказов Горького в «Самарской газете» были помещены такие известные его вещи, как «Вывод», «На плотах», «Дело с застежками», «Однажды осенью», «Мой спутник» и «Старуха Изергиль».

А 5 марта 1895 года Горький напечатал «В Черноморье». Это была знаменитая «Песня о Соколе». Эта «Песня» — призыв к свету, к свободе — обращена была непосредственно к революционным рабочим, противостоящим громаде самодержавия и капиталистических сил.

Гордый гимн героическим борцам за свободу скоро стал боевым достоянием всех честных людей нашей страны. На боевых лозунгах «Песни о Соколе» воспитывалась рабочая молодежь 1905 года. Крылатые места «Песни» — «рожденный ползать летать не может», «безумству храбрых поем мы славу» — вошли в большевистские боевые прокламации, ими пользовался Ленин.

Ем. Ярославский на вечере памяти Горького в Зеленом театре Центрального парка культуры и отдыха 18 июня 1941 года говорил о том, какое значение для революции 1905 года имела «Песня о Соколе»:

«В 1895 году, в тот год, когда Ленин в Петербурге организовал «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», Горький в Самаре, в местной газете, опубликовал «Песню о Соколе»—произведение исключительной силы, звавшее к неустанной борьбе. Мы, участники рабочего движения того времени, издавали «Песню о Соколе» в миллионах экземпляров» [53].

Размножали разными способами — печатали в подпольных типографиях, на гектографах, переписывали от руки.

Но в описываемое время, в середине 90-х годов, одинокое положение Горького в «Самарской газете» усугублялось тем, что работал он в среде, чуждой ему.

Все же и в качестве публициста и в качестве беллетриста он занимал в течение года видное место

в «Самарской газете» и был необходимейшим лицом в редакции.

А в 1896 году он получает предложение издателя газеты «Одесские новости» присылать корреспонденции из Нижнего.

К тому времени и «Нижегородский листок» реформировался по образцу «Самарской газеты» и тоже превратился в областной орган.

В Нижнем-Новгороде открылась в 1896 году Всероссийская промышленная и художественная выставка, и Горький, как уже видный газетный работник, был приглашен в «Нижегородский листок» в качестве постоянного сотрудника и обозревателя Всероссийской выставки.

3

То были годы еще небывалого в России промышленного подъема. Рост заводской промышленности поднимал спрос на труд, а нищающая все больше деревня интенсивно выбрасывала из своих недр свободную, то есть излишнюю, рабочую силу, подлежащую промышленно-капиталистическим формам эксплуатации.

Словом, перспективы — казалось капиталистам — были самые радужные. Русский промышленный капитал, поощряемый министром финансов С. Витте, на Всероссийской выставке делал смотр своих рядов.

Перемена Горьким города и газеты ставила и новые задачи перед ним как публицистом. Расширялся круг тем. Пыль и грязь на улицах, спящие на заседаниях гласные, малограмотные купцы — заправилы города — все это осталось позади. В центре нижегородской жизни стояла Всероссийская выставка, и это ставило на очередь ряд вопросов общекультурного и общегосударственного значения.

Положение сотрудника либеральной газеты, находящейся в тисках губернских властей да еще в условиях усиленной охраны «порядка» (на выставку ожидался царь), ставило вполне понятный предел публицистическому темпераменту Горького.

Но и в этих условиях были ясны его тенденции и прежде всего его ненависть к купеческо-мещанскому быту, который он показывает все тем же — первобытным и диким. Никакие торжества и флаги не замаскируют этой дикости.

«Я приехал в Нижний... — пишет он в своей первой корреспонденции в «Одесских новостях»,—и на меня, нижегородца, знающего город, как свои пять пальцев, — он произвел странное впечатление чистотой, которая еще год тому назад совершенно не была ему свойственна, новыми зданиями, скверами, сетью проволок, опутавших его главные улицы, по которым проложена линия электрической железной дороги, и всей своей физиономией, благообразной, чистенько уютной, утопающей в смешанном аромате свеже-растворенной извести, асфальта, масляной краски и, конечно, карболки.

...И невольно вспоминаются наши «волгари», люди «по старой вере», благочестивые, сытые, жестокие; люди, ворочающие сотнями тысяч, имеющие десятки барж и пароходов и обсчитывающие своих рабочих на двугривенные; люди, от которых в будни пахнет дегтем, потом и кислой капустой и которые, надевая на себя в торжественных случаях вместо долгополых сюртуков и поддевок «цивильное» платье — и в цивильном платье остаются кулаками и сквозь тонкий аромат духов Аткинсона — отдают скаредничеством, кислой капустой, потом, нефтью и всеми другими специфическими запахами истых волгарей» [54].

Разоблачать показное и вскрывать сущность — такому методу Горький остался верен и в описании выставки.

Готовилась эта выставка в атмосфере угодливого казенного пафоса и расторопного ура-патриотизма. А хозяева ее, русские промышленники, поняли задачи выставки весьма просто; она в их представлении являлась грандиозной рекламой фирме, и все старание их заключалось в том, чтобы кричащими эффектами затмить соседа и конкурента.

Детищем их мощной фантазии была, например, колонна из стеариновых свечей двух аршин в поперечи-

не и восьми аршин в высоту... Не уступали ей по изобретательности и бюсты четырех императоров из *мыла* или удивительные ворота из *бутылок* трех цветов — цветов национального флага.

Впрочем, зрелища, по-видимому, удовлетворяли публику.

И вот Горький, подходя к описанию каждого отдела, ставит вопрос о некультурности самой организации выставки, полностью пренебрегшей показом трудовых процессов, а отсюда следовал прямой переход к вопросам быта и теме эксплуатации рабочих.

Обозревая Павильон горных округов Сибири, Горький писал:

«Очень хочется знать, кто, чем и как вытащил из земли эти 10 000 пудов золота и дал государству за 30 лет почти 300 000 000 золотых рублей, не считая серебряных и медных, не принимая во внимание драгоценных камней. Кто они, эти добрые гномы?.. Как они это делают и как они при этом поживают?» [55].

Показывать, как поживают «гномы» — рабочие, совсем не входило в программу устроителей выставки. Поэтому обозреватель, по своей инициативе, всюду, где мог, восполнял эти «пробелы» и рассказывал читателям о своем личном опыте знакомства с рабочим бытом.

Павильон бакинских промыслов Нобеля дает ему повод подчеркнуть, «как скверно живется людям в этой обетованной стране нефтяников», — посещение в 1892 году «черного города» в поисках работы было ему памятно.

По поводу сообщения в рекламной брошюре казанского завода братьев Крестовниковых о больнице и спальне для рабочих он писал так:

«Я видел в 1889 году больных, которых выдворяли из этой больницы, решив превратить ее в склад душистого мыла. И спальня есть, и в ней, действительно, спят рабочие, спят и — представьте! — не задыхаются в ней, хотя к этому приняты все меры: спальня полным-полна запаха разных кислот, гниющего жира, согретой нефти, мыла, аммониака...»

О кожевенном заводе Алафузова, также хорошо знакомом ему по Казани, Горький рассказывает читателям:

«Грязь всюду невылазная, рабочие то и дело болеют всякими болезнями от хронического катарра бронхов— результат облаков пыли, стоящих в мастерской, до сибирской язвы — результат полного отсутствия гигиены в обработке кожи. Рабочие в чесальне — все страдают трахоматозным воспалением слизистых оболочек глаз: болезнь, часто приводящая к слепоте. При заводе нет ничего, что необходимо, ни достаточного количества воздуха в мастерских, ни больнички, но система штрафов удивительно точно разработана» [56].

Чтобы понять огромность проведенной Горьким работы во время выставки, нужно знать, что, помимо большого количества рассказов, напечатанных им в это время в газете, он в течение трех-четырех месяцев дал репортажа, корреспонденций, фельетонов, очерков и статей несколько десятков печатных листов. А чтобы понять его душевное состояние, его чувство одиночества, отчужденности от окружающей его среды, нужно вчитаться в такие, например, места его фельетонов:

«После дня, проведенного среди разнообразной архитектуры выставочных зданий, в пестром хаосе красок, в разношерстной толпе людей, всегда создающей вокруг себя такой странный шум — строптиво-глухой, недовольный, жадный, — наслушавшись громкой музыки, оглушенный звоном колоколов * — чувствуешь, что мозг твой засорен, душа подавлена и нервы тупы... Хочется уйти из царства индустрии, из сферы всевозможных диковин и чудес,—уйти куда-нибудь подальше, куда не долетал бы шум этого искусственно созданного мира и где было бы более просто, не так тесно и не так много резких противоречий, оскорбляющих глаз и душу... О, конечно, выставка имеет большую цену... для торговцев и фабрикантов—но она утомляет человека... и... слишком много горьких дум она возбуждает...»

---

* Колокола-экспонаты, усердно трезвонившие. — *И. Г.*

Мир торговцев и фабрикантов, парадировавший на выставке, возбуждал у Горького отвращение, но такое же отвращение он испытывал и к миру буржуазной интеллигенции, обществу дельцов, обслуживающих крупный капитал, инженеров, адвокатов, выставочных организаторов и журналистов.

В. И. Ленин в книге «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» в 1894 году писал:

«Состав «интеллигенции» обрисовывается так же ясно, как и состав общества, занятого производством материальных ценностей: если в последнем царит и правит капиталист, то в первой задает тон все быстрее и быстрее растущая орава карьеристов и наемников буржуазии...» *

Возвращаясь не раз к характеристике этого общества, в котором «царит и правит капиталист», Горький словно не находит достаточно резких слов для того, чтобы заклеймить его неискренность, лицемерие, жадность...

«Выставка поучительна гораздо более — как правдивый показатель несовершенства человеческой жизни, чем — как картина успехов промышленной техники страны. А впрочем — речи о таких вещах возбуждают скуку у читателя; читатель в газете ищет прежде всего развлечения. Уступая его вкусу на сей раз, поговорю о развлечениях, ибо и они могут иллюстрировать смысл жизни так называемой «культурной толпы» ничуть не хуже всего другого, чем живет эта толпа... Ведь она, в сущности, культурна только внешне, ее культура — это культура портных и сапожников, культура галстука, внутренне же она—стадо, как и всякая другая толпа... Это люди, у которых вместо желаний — похоти.

...Но — будем говорить о развлечениях просто, не морализуя, ибо ведь все равно — мораль бесполезна там, где ее некому и нечем воспринять».

Это неожиданное добавление весьма недвусмысленно. Оно заверяло либеральных читателей

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 1, стр. 276.

газеты, что памфлет относился в равной мере и к ним.

Если мы обратимся к рассказам, над которыми Горький работал в это время, то почти в каждом из них мы встретим отголосок этих же настроений.

Вот «Озорник» — рассказ, в котором сатирически изображен либеральный болтун, редактор провинциальной газеты, работающий на прижимистого купца-издателя; рассказ «В степи» — откровенная компания босяков противопоставлена лицемерному «порядочному обществу», в котором, даже когда берут за глотку своего ближнего, стараются сделать это с возможной любезностью и соблюдением всех приличий, уместных в данном случае; «Болесь» — рассказ интеллигента о «падшей» девушке, — в конце рассказа он признает себя самого «глубоко падшим... в пропасть всяческого самомнения» и убеждения в своем превосходстве.

Еще характернее известное отступление в рассказе того же времени «Коновалов».

Речь идет там о невозможности для автора долго жить в «культурном обществе» и не пожелать «уйти куда-нибудь из сферы всех этих тяжелых условностей, узаконенных обычаем маленьких ядовитых лжей, из сферы болезненных самолюбий, идейного сектантства, всяческой неискренности — одним словом, из всей этой охлаждающей чувства и развращающей ум суеты сует... Всего лучше отправиться в трущобы городов, где хоть и грязно, но все так просто и искренно, или идти гулять по полям и дорогам родины, что весьма любопытно, очень освежает и не требует никаких средств, кроме хороших, выносливых ног. Лет пять тому назад я предпринял именно такую прогулку...»

Горький говорит о своем уходе из Нижнего в 1891 году, но после сделанных сопоставлений мы вправе, пожалуй, сказать, что речь идет здесь и об «уходе» Горького из Нижнего в 1896 году.

А в ряде последующих рассказов («Бывшие люди», «Проходимец», «Товарищи», «Скуки ради») мы видим, как охотно Горький отправляется в трущобы

городов и на «дороги родины», противопоставляя искренность, цельность и простоту трущоб лицемерию и утонченной жестокости «общества».

Уже через месяц после открытия выставки выяснился катастрофический неуспех ее.

Впрочем, инициатор выставки С. Витте на обеде, данном в его честь экспонентами, заявил, что отсутствие на выставке масс его не беспокоит и что распространенное мнение о «мнимообщественном значении масс» ошибочно; что если бы в течение всего времени выставки на ней побывало с пользой для государства только десять посетителей-промышленников, то выставка, на его взгляд, уже окупилась.

Все понимали, конечно, что это хорошая мина при плохой игре: для удобства десяти заводчиков не стоило тратить тридцать-сорок миллионов рублей.

Но особенно любопытны были эти оговорки теперь, после обилия пышных слов о готовящемся «торжестве национального труда», «празднике русской промышленности» и т. д.

Как бы то ни было, стали искать виноватых и нашли их в прессе, которая будто бы недостаточно оценила достоинства выставки, что и повлияло на приток посетителей. По этому поводу Горький в забавной форме дал опыт своего анализа причин, почему национальное торжество не привлекло к себе нации:

«Провинциалы, посетившие выставку и возвратившиеся к пенатам, в огорчении на понесенные проторы и убытки, раздосадованные алчностью субсидированных выставочных поильцев и кормильцев, очистивших их карманы, — клянут и ругают выставку совсем не так, как газеты...

Увы! В городе Тмутараканске, и в городе Тартарарынске не читают газет, — все еще не читают. Из сих городов на выставку ездили его степенство Сидор Ермолаич Шкуродеров, он усмотрел в ней нечто глубоко оскорбившее его, а именно: он увидал, что он отстал, он далеко, непостижимо далеко отстал от современных блестящих приемов обирания ближнего. Это

так глубоко огорчило его, что он ничего не видел на выставке, кроме своей собственной глупости и тупости, кроме того, что он, Шкуродеров, в деле околпачивания ближних применяет приемы никуда негодные, устаревшие, слишком грубые.

И, в огорчении своем, он разносит выставку перед обывателями Тартарарынска, и они, послушав его вдохновенные речи, не поедут, ни за какие коврижки не поедут посмотреть на торжество культуры и праздник нации» [57].

То, что этот фельетонный персонаж Шкуродеров был действительно одним из типовых посетителей выставки и что Горький со своей писательской точки зрения очень внимательно присматривался к нему, показывают и позднейшие воспоминания Алексея Максимовича. В 1930 году он пишет:

«Я вспоминаю о том, что было 34 года до этого дня, но совершенно четко вижу перед собой бородатые лица хозяев псковских, вятских, сибирских и всяких других городов, губерний и областей. Вижу их в Машинном отделе. Они — удивлены, — в этом нет сомнения, но они — недовольны, это тоже ясно... Неизвестно почему в Машинном отделе помещена немецкая типографская машина, — кажется на ней предполагалось печатать издания выставки. Сухонький, остробородый старичок с безжалостно веселыми глазками рыжего цвета и с беспокойными руками говорит усмехаясь:

— Экого чорта сгрохали! А к чему она? Заведующий отделом объясняет: — «Газеты печатать». — «Газеты-ы? Дерьмо-то? Какая же ей цена?» Услыхав цену, старик поправил картуз, поглядел на окружающих и, видя сочувственные улыбки, сказал: «Вот куда налоги с нас вбивают — в газеты! Ах ты...» У него не хватило храбрости, он поджал губы и отошел прочь, скрипя новыми сапогами, за ним потянулись его единомышленники.

Этой группе предложено было подняться на привязном воздушном шаре. «Благодарствую, — сказал старик и спросил: — А ежели отвязать пузырь этот — может он до бога взлететь? Не может? Ну, так на

кой же пес в небе-то болтаться, как дерьмо в проруби?»

Почти каждый раз, бывая на выставке, я встречал такого, как этот старичок, организатора мышления и настроения «хозяев» *(XXV, 318—319)*.

Таков был средний тип посетителя выставки. Надо полагать, что, несмотря на свою благонамеренность, он не входил в расчеты министра финансов, готового помириться на десяти интересных ему промышленниках.

Что же касается остальной «нации», то ее не было, хотя нельзя сказать, что не было проявлено «забот» о ней.

Некто А. Пороховщиков, издатель газеты «Русская жизнь» и прожектер, — неутомимый добытчик каких-то пособий и субсидий — соорудил на эти средства отдел огнестойких построек с целью показать необходимость переделки Руси из деревянно-соломенной, ежегодно погорающей, в Русь глинобитную и несгораемую.

Запроектирована была и «народная дружина», которая, обучившись «глинобитию», должна была отправиться обновлять Русь, — словом, весь этот «глинобитный патриотизм», по выражению В. Короленко, сильно отдавал шарлатанством.

Пока что глинобитные постройки были выставлены для того, чтобы ознакомить с ними народ.

«Но народа-то ведь нет на выставке, — писал по этому поводу Горький. — Есть публика — но публика разве «народ»? Народ, как всегда, занят своими обязанностями, и у него нет ни средств, ни времени для посещения торжества русской промышленности».

Последнюю корреспонденцию Горький поместил после закрытия выставки под названием «Последнее сказание» и с комическим эпиграфом: «Умерла моя муза».

Аллегорически изобразив историю выставки и изложив причины ее малого успеха, он заключает так: «Теперь, при конце дней нашей выставки, вполне

уместно спросить у старушки: «Для чего и зачем ты жила, кто тобой на земле осчастливлен?»

«И следует быть уверенным, — писал Горький, — что старушка, умей она сказать два слова, сказала бы, покачивая обелиском: — «Не знаю, батюшка. Дело начальства, родные вы мои!» [58]

Но самому Горькому выставка дала очень много. То, что он видел здесь и слышал, запомнилось ему на всю жизнь. И картины быта выставки, люди, которые здесь были, нашли яркое изображение во многих его произведениях и особенно в «Жизни Клима Самгина».


ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Скоро Горький покидает Нижний. Переутомление работой во время выставки вызвало обострение туберкулезного процесса, который начался у него в Самаре.

В начале октября 1896 года он слег в постель и в течение трех месяцев претерпевал резкое обострение болезни, грозившей, по словам лечившего его тогда врача В. Золотницкого, смертью.

Только в январе, получив ссуду из Литературного фонда, Горький уехал в Крым, где доктор Алексин поставил его на ноги.

Известный литературовед и библиограф С. Венгеров, прослышав о новом писателе, направил к нему циркуляр «критико-биографического словаря» с просьбой прислать автобиографию и произведения.

Горький, автор уже двадцати рассказов, составивших его первую славу, когда они вышли отдельным изданием, отвечал:

«До сей поры еще не написал ни одной вещи, которая бы меня удовлетворяла, а потому произведений моих не сохраняю — ergo *: прислать не могу. Замечательных событий в жизни моей, кажется, не было, а впрочем, я неясно представляю себе, что именно следует подразумевать под этими словами» *(XXIII, 272)*.

---

* Следовательно *(лат.)*.

Весной 1897 года Горький поселяется в селе Мануйловка Полтавской губернии и здесь, освобожденный от срочной газетной работы, пишет рассказы, устраивает деревенский театр.

Устраивая в Мануйловке крестьянский театр, Горький проявляет блестящие способности организатора, пропагандиста, выступает режиссером и актером.

В декабре 1897 года он писал В. С. Миролюбову в ответ на приглашение участвовать в «Журнале для всех»:

«Напишу Вам о мужицком театре, к[ото]рый я устроил в Малороссии...» *(XXVIII, 20)*.

К сожалению, Алексей Максимович не осуществил этого намерения. Театр работал все лето 1897 года, но сведений о нем осталось чрезвычайно мало. Известно только, какие пьесы были поставлены. Более подробные сведения мы имеем о последнем спектакле — «Мартын Боруля».

«Мартын Боруля» — пьеса украинского драматурга И. К. Карпенко-Карого. Этот спектакль был 1 октября, и Алексей Максимович писал о нем жене, Екатерине Павловне, к тому времени уехавшей из Мануйловки.

Сатирическая пьеса Карпенко-Карого была демократична по содержанию, по своим обличительным тенденциям, и Горький воспользовался этим, чтобы пропагандировать театр как школу народа.

Крестьянин Хрисанф Мороз, исполнитель одной из ролей, так вспоминает беседы Горького:

«— А ну, хлопцы, скажите, кто дурнее — Омелько или Мартын Боруля? — спрашивал как-то Алексей Максимович у крестьян в дни подготовки спектакля.

— Омелько, — отвечают.

А он еще более смеется:

— Да нет, хлопцы, дурнее Мартын Боруля. Даром, что богатый и в дворяне лезет» [1].

Так Горький разъяснял крестьянам содержание пьесы, указывая на смешные стороны Мартына Борули и на тему социального неравенства, проводимую в пьесе.

«Мужицкий театр» Горького собирал зрителей со

всех окрестных сел и деревень. Местные власти были обеспокоены тем, что политический поднадзорный Пешков устраивает такие спектакли.

Этим объясняется инцидент на представлении «Мартына Борули». Когда все собрались в театре, становой пристав Згура и урядник Бойко пришли разогнать публику. Приставу была предъявлена бумага полтавского губернатора на беспрепятственную постановку пьесы, раздобытая А. А. Орловской, женой земского врача и дочерью местной помещицы княгини Н. А. Ширинской-Шихматовой, у которой жил Горький.

Пристав все же пытался разогнать зрителей, но зал был так полон, что ему не удалось это. Крестьяне не соглашались разойтись, и представление началось.

«Спектакль прошел блестяще и с блестящим скандалом... — писал Горький Е. П. Пешковой. — Народищу было масса, хохотали оглушительно... Хорошо играли, чорт их возьми!»

Не все, впрочем, разделяли восторги от спектакля. «Мартын Боруля» в трактовке Горького был направлен против сословных предрассудков, против аристократической заносчивости и тяги к знатности. Даже помещица Ширинская-Шихматова резко переменила свое отношение к писателю.

«Сегодня утром... — сообщал Горький в том же письме, — она едва поклонилась мне, и я едва не поклонился ей за это...»

Так Горький сдружился с крестьянами-украинцами. Он воспитал в короткий срок целую труппу, политически направил ее, возбудил интерес к театру в целой округе.

Горький открыл среди крестьян бесспорные актерские дарования. Среди них Яков Бородин был настолько талантлив, что приезжавший в Мануйловку на другой год И. К. Карпенко-Карый со слезами уговаривал Бородина вступить в его труппу, но тот не соблазнился славою актера и остался в селе.

Когда Горький в октябре 1897 года уезжал из Мануйловки, крестьяне — актеры и зрители — устрои-

ли ему в сельской чайной торжественный, задушевный обед и поехали всей массой провожать Горького за пятнадцать верст на станцию Галещино.

Начало зимы Горький живет в Тверской губернии у своего друга Н. З. Васильева, лаборанта писчебумажной фабрики Кувшинова, а в январе поселяется в Нижнем.

1898 год был знаменательным годом в жизни Горького. В этом году впервые вышли отдельным изданием его произведения — два томика по десяти рассказов в каждом.

Устроить издание этих книг было не просто. Несколько издателей отказались от такого предложения, а известная издательница того времени О. Н. Попова прямо заявила, что ее фирме не пристало издавать рассказы, шедшие фельетонами в провинциальных газетах.

Организовалось новое издательство для выпуска этих книг — два начинающих издателя, Дороватовский и Чарушников, взяли на себя риск такого предприятия.

Но, по-видимому, и они не очень были уверены в том, как встретит рассказы нового автора читающая публика, потому что Горькому было предложено написать предисловие, мотивирующее появление необычного материала.

Из сохранившегося ответа Горького видно, что автор понимал желание издателей, но исполнить его затруднялся:

«Огорчен, что не могу написать предисловие, но — не могу. Пробовал, знаете, но все выходит так, точно я кому-то кулаки показываю и на бой вызываю. А то — как будто я согрешил и слезно каюсь. И, чувствуя, что все это не подходяще — бросил я это дело» [2].

Известно, какой успех имели эти два маленьких томика, вышедшие под названием «Очерки и рассказы». Появление их в то же время стало событием не только в истории литературы, но и в истории революционного подъема 90-х годов.

Люди горьковских рассказов были невиданными до того в русской литературе. При всей нищете своего внешнего быта они самым существованием своим, упорством своего протеста непримиримо требовали себе места в жизни. Изображение «униженных и оскорбленных» с целью вызвать гуманные чувства в буржуазном обществе совсем не входило в задание автора. Не милости к ним — «падшим», не сочувствия им, не помощи от щедрот «общества» требовал автор.

Все накопленные дворянской, либерально-буржуазной и отчасти народнической литературой представления о «кротости» и «терпении» русского «меньшого брата» после рассказов Горького уходили в историю.

Вместо прославленной «искры божией», которую литераторы названных направлений так усердно искали в душах забитых и эксплуатируемых, чтобы оправдать гуманное отношение к ним, здесь перед читателями был грубоватый, свободолюбивый и непреклонный дух протеста, настроение людей, никак не согласных на покорное и кроткое подчинение хозяевам жизни.

Не нужно думать, что всю эту массу безработных рабочих, безземельных крестьян, обнищавших голяков, бродивших из конца в конец страны в поисках работы и хлеба, Горький представлял как протестующих людей. Из этого горючего материала он брал наиболее талантливые и колоритные фигуры и делал их выразителями настроений угнетенной массы.

В этих рассказах Горький выступает с новым творческим методом. Проникающий их реализм в сочетании с революционной романтикой создавал впечатление возмущающее и поднимающее.

Либеральная и народническая критика не разглядела в этих рассказах их сути. Критика увидела живописные лохмотья на босяках, но не увидела самого главного — достоинства человека, который даже на самом дне социальной жизни не покоряется всей сумме гнетущих его сил. Критика не увидела протеста против рабского, кабального труда на кулака, купца, промышленника, капиталиста.

Между тем картина такого труда, изображенная, например, в рассказе «Челкаш», уже говорила о чувствах и мыслях автора.

«Гранит, железо, дерево, мостовая, гавань, суда и люди — все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию...

Стоя под парами, тяжелые гиганты — пароходы — свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда... Шум — подавлял, пыль, раздражая—ноздри,—слепила глаза, зной—пек тело и изнурял его, и все кругом казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко...»

Правда, образ революции, этот взрыв, дан еще в самых смутных, самых общих очертаниях, но он дан как тоска по новым, уже истинно человеческим формам жизни, где нет угнетения человека человеком, нет рабства, нищеты и насилия.

Открыто протестующие герои Горького были отражением только еще начинавшегося подъема эксплуатируемых масс, накапливающих в те годы мощный потенциал горючей энергии.

Появление и слава Горького составили эпоху в русской литературе и в русской культуре по тому новому чувству родины, по тому страстному призыву к борьбе за ее счастье, которым проникнуты были его книги.

Поэт Александр Блок писал впоследствии, что если есть это великое необозримое, «что мы привыкли объединять под именем *Руси,* — то выразителем его приходится считать в громадной степени — Горького».

В первых же его книгах эта новая, своеобразная Русь была представлена колоритными, яркими фигурами: «Озорник» — смелый наборщик, вставивший правдивые слова в передовицу болтуна редактора; бродяга Челкаш, темпераментный, кипучий, человек широкой души; его темная, пропащая жизнь не пога-

сила в нем ни ярости его презрения, ни высоких порывов благородства; плотовщик Силан, могучий, страстный, порывистый, жадный до жизни, с нетронутыми богатырскими силами; пекарь Коновалов, артист в работе, человек нежнейшей души, влюбленный в землю, готовый всю ее «ошагать», насмотреться на невиданные красоты.

И во всех произведениях Горького русская песня словно раздвигает рамки рассказа, подымает его на высокий лирический тон, и русские просторы живут в них широкой манящей далью.

Герои ранних произведений Горького — чаще всего босяки. Это не «деятели истории». Но и они являются носителями гнева и возмущения. Именно этот горьковский пафос борьбы против социального гнета и создал ему широчайшую популярность среди демократических читателей.

Два своих наиболее значительных рассказа — «Коновалов» и «Бывшие люди» — Горький поместил в журнале «Новое слово».

В декабре 1897 года четыре царских министра постановили закрыть «Новое слово». В журнале совещания министров говорится:

«В статьях научного содержания последовательно проводится учение К. Маркса и Энгельса; в беллетристическом отделе первое место дается таким произведениям, в которых раскрывается борьба классов и бедственного состояния рабочего люда. С особой яркостью эта тема разработана в талантливых повестях Горького (псевдоним Пешкова) «Коновалов» и «Бывшие люди»[3].

Естественно, что такая известность обострила внимание к писателю и органов полицейского надзора.

И охранители феодально-полицейской империи приступили к новому, более подробному дознанию о личности Горького.

При обыске в Тифлисе у Афанасьева (сожителя Горького в 1892 году) нашли фотографическую карточку «с изображением мужчины в русском костюме»; на оборотной стороне карточки была надпись: «Дорогому Феде Афанасьеву на память о Максимыче».

И хотя Федя Афанасьев отозвался незнанием фамилии мужчины в русском костюме, но дознаться о ней не составило тифлисским жандармам никакого труда.

Среди других сведений по «делу» Афанасьева, обвинявшегося в распространении нелегальной литературы, в департамент полиции сообщалось о Пешкове на основании свидетельских показаний:

«Это в высшей степени подозрительный человек: начитанный, хорошо владеющий пером, он исходил почти всю Россию (все большей частью пешком); в Тифлисе же пробыл около года без определенных занятий и куда-то отсюда выехал».

То обстоятельство, что прибытие Пешкова в Тифлис и отъезд его «является загадочным», а также совокупность свидетельских показаний по «делу» Афанасьева, уличавших Пешкова в политической неблагонадежности, побудили тифлисских жандармов принять чрезвычайные меры.

В Нижний было послано телеграфное требование «обыскать, арестовать и препроводить в Тифлис по этапу».

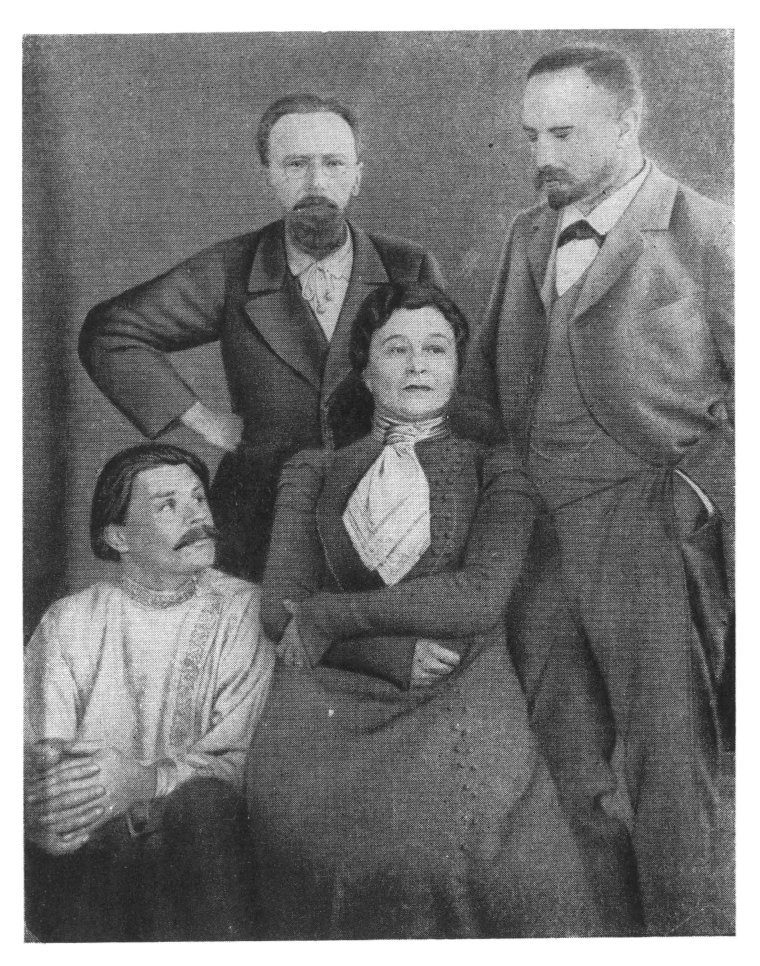
11 мая 1898 года Горький был доставлен в Тифлис вместе с «запечатанным тюком вещественных доказательств» (свыше пятисот писем, заметок и т. п.) и заключен в Метехском замке в одиночной камере.

Видимо, тогда же были доставлены в числе «вещественных доказательств» два тома рассказов Горького и вызван для допроса Калюжный.

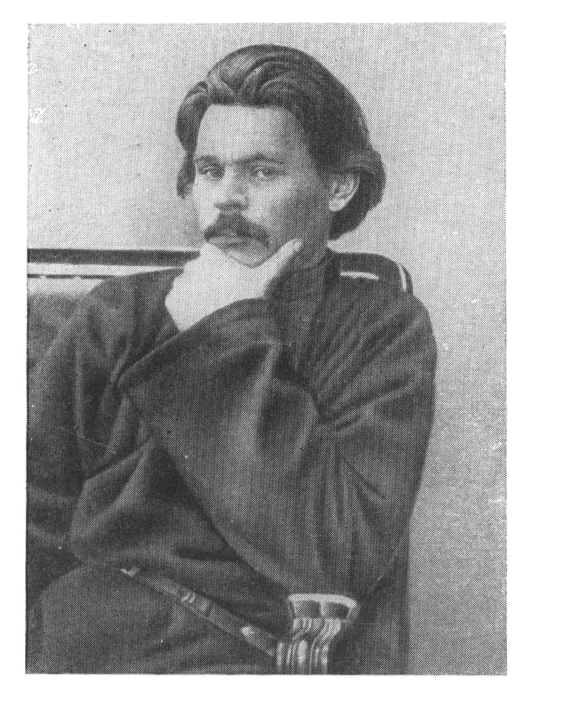
Неизвестно, как долго продлилось бы время заключения Горького и процедура его допросов («дело» Афанасьева велось уже в течение года), если бы бесцеремонность жандармов не обратила на себя внимание общественности.

С выходом «Очерков и рассказов» Горький становится широко популярен, а в литературных кругах Петербурга вскоре стало известно об его аресте и «препровождении».

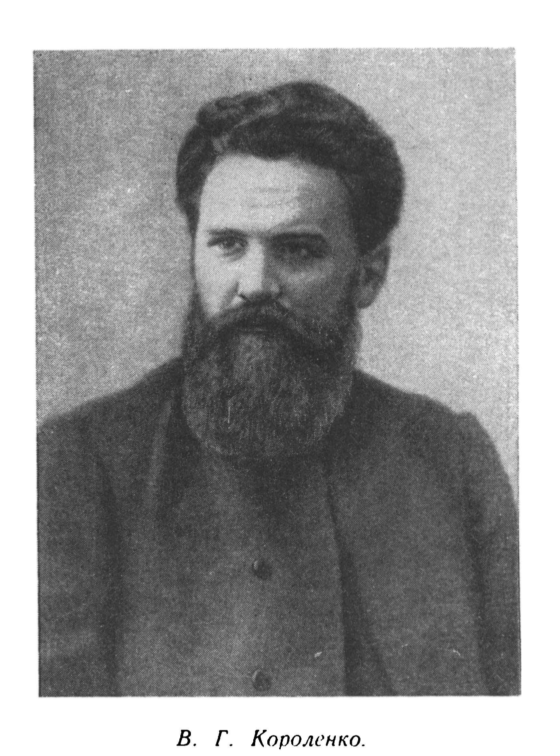
Департамент полиции, раздосадованный тем, что агенты его перестарались, посылает им запрос: чем



А. М. Горький, М. Н. Ермолова, Л. В. Средин и А. Н. Алексин.
Крым, 1901 год.



А. М. Горький. Москва, 1903 год.



В. Г. Короленко.

вызвано препровождение в Тифлис по этапу и почему нельзя было арестовать и допросить Горького в Нижнем.

Пришлось дать объяснения, и в объяснениях этих необходимость ареста и затребования арестованного по этапу мотивируется простодушно-цинически, — во-первых, «удобством», по обстановке дела, допроса в Тифлисе; во-вторых, непоседливостью, опасением, «чтобы Пешков не выбыл бы куда-либо, так как по дознанию являлась небезызвестною его любовь к передвижению».

Неприятнее всего для жандармов было то обстоятельство, что допросы Горького не дали никаких результатов.

Правда, нашелся свидетель, который утверждал, что, встречаясь в 1892 году с Пешковым, был «поражен (!) его явной политической неблагонадежностью», «что Пешков, несомненно, был причастен к рабочей пропаганде, так как часто, много и резко говорил об эксплуатации рабочих», — но все это относилось к прошлому, и связать с последующей нелегальной организацией Афанасьева «дело» Горького не удалось.

Он был освобожден из Метехского замка 29 мая.

Для обвинения Горького по тифлисскому дознанию не было улик, а в «запечатанном тюке» с его бумагами не обнаружено, как доносили жандармы, ничего «преступного» и даже «предосудительного».

Тем не менее фигура этого «цехового», ставшего к тому времени всероссийской известностью, внушала столь сильное беспокойство, что теперь он был отдан под «особый надзор» полиции.

Это значило, что теперь Горький мог переезжать с места на место только по особому разрешению соответствующих жандармских управлений, следовать по утвержденному маршруту «без права останавливаться где бы то ни было, за исключением случаев болезни или каких-либо непреодолимых препятствий», и с обязательством сообщать об остановках и прибытии местной полиции.

2

Из Тифлиса Горький поехал в Самару на кумыс, а оттуда в августе 1898 года вернулся в Нижний. Зиму он намерен был посвятить большой работе.

«Отношение публики к моим писаниям, — писал он С. П. Дороватовскому, — укрепляет во мне уверенность в том, что я, пожалуй, и в самом деле сумею написать порядочную вещь. Вещь эта, на которую я возлагаю большие надежды... мною уже начата, и зимой я буду ее продолжать» *(XXVIII, 23—24)*.

Вещь эта, получившая название «Фома Гордеев», дала читателям широкую картину нравов большого купеческого города, хозяева которого не зарекались от уголовных подвигов и в то же время тянулись к политической власти в стране.

В своих позднейших комментариях к этой повести, говоря о психологии «хозяев», Горький вспоминает:

«Больше всего знаний о хозяевах дал мне 96 год. В этом году в Нижнем-Новгороде была Всероссийская выставка и заседал «Торгово-промышленный» съезд... Я видел там представителей крупной промышленности всей России, слышал их жестокие споры с «аграриями». Не все в этих речах было понятно мне, но я чувствовал главное: это — женихи, они влюбились в богатую Россию, сватаются к ней и знают, что ее необходимо развести с Николаем Романовым» *(XXV, 317)*.

Присутствуя на выставке и на Торгово-промышленном съезде, Горький наблюдал, как креп и наливался соками торгово-промышленный класс.

Но он наблюдал и другое: в семьях купцов и промышленников участились самоубийства сыновей и дочерей, случаи бегства из семьи. Бывало, крутой отец сам выгонял непокорных из дому, и зачастую сыновья спивались, «выламывались» из жизни.

Эти факты мелькали в газетной хронике происшествий и в уголовной хронике тех лет. Но нужно было художественное зрение Горького, чтобы поставить

диагноз болезни класса, вскрыть обреченность этого класса.

О купечестве в 80—90-х годах писали многие — Боборыкин, Мамин-Сибиряк, Лесков, — все они критиковали купцов, но с некоторой долей добродушия, а иногда, как мещанский писатель Боборыкин, — с приятием капитализма как прогрессивного явления русской жизни. И никто из бытописателей того времени, даже и Мамин-Сибиряк и Глеб Успенский, не усмотрели в рабочем классе действенной силы, непримиримого врага буржуазии.

Только Горький написал «Фому Гордеева» с разоблачением подлинной сущности класса, вскрывая внутренние процессы надлома и вырождения уже в то время — в период его наибольшего расцвета.

Горький указал на паразитичность «труда» капиталиста, на то, как этот — в человеческом и творческом понимании — бессмысленный и уродливый труд становится ненавистен даже отдельным представителям класса буржуазии, если они, как Фома Гордеев, не чужды истинных человеческих запросов и не лишены способности критически отнестись к окружающей действительности.

В «Фоме Гордееве» Горький показал пути капитализма в России. Рядом с Ананием Щуровым, хозяином с первобытной, звериной хваткой, находятся молодые, «европеизированные» купцы Тарас Маякин и Африкан Смолин. Но в центре стоит Яков Маякин, руководитель всего купечества.

Это очень красочная фигура. Владелец канатного завода, он уже способен думать не только о своем деле, он выступает защитником и пропагандистом класса, он — политический вождь.

Впоследствии Маякины стали председателями черносотенных союзов. В одном из писем Горький сообщает: «Фомой я загородил Маякина, и цензура не тронула его».

Потом Горький покажет в пьесе «Враги», в романах «Мать», «Дело Артамоновых», в «Егоре Булычове» историю гибели класса, покажет и рабочего, как

сознательного и ярого, непримиримого врага буржуазии.

Теперь же, в конце XIX века, в период полной мощи класса капиталистов, он показал первые признаки его вырождения.

«Фома Гордеев» печатался в течение 1899 года в петербургском журнале «Жизнь».

Отдельное издание было посвящено Чехову. С Чеховым Горький познакомился вскоре после выхода своих первых сборников. Посылая их Чехову, он писал:

«Собственно говоря — я хотел бы объясниться Вам в искреннейшей горячей любви, кою безответно питаю к Вам со времен младых ногтей моих... Сколько дивных минут прожил я над Вашими книгами, сколько раз плакал я над ними и злился, как волк в капкане, и грустно смеялся подолгу» *(XXVIII, 92)*.

В другом письме Горький писал ему:

«Я вообще не знаю, как сказать Вам о моем преклонении перед Вами, не нахожу слов, и — верьте! — я искренен» *(XXVIII, 52)*.

Горький преклонялся перед Чеховым как разоблачителем пошлой жизни обывателей, о чем и сам он немало писал. Но Чехов не шел дальше разоблачения будничной жизни, разоблачения интеллигенции, бессильной и беспомощной.

Горький не удовлетворялся этим. В 1900 году он писал Чехову:

«Право же — настало время нужды в героическом: все хотят возбуждающего, яркого, такого, знаете, чтобы не было похоже на жизнь, а было выше ее, лучше, красивее» *(XXVIII, 113)*.

К концу 1899 года известность Горького возросла необычайно. В столице в честь его устраивались литературные вечера, о нем читали лекции, писали и печатали брошюры.

Когда на передвижной выставке появился портрет Горького работы Репина, этот портрет стал «гвоздем» выставки. Публика, особенно молодежь, с жадным вниманием всматривалась в черты нового писателя.

В Нижнем Горький развернул широкую культур-

но-просветительную и политическую деятельность. Его нижегородская квартира, по словам В. Десницкого, свидетеля тех лет, стала «центром, к которому стягивались все нити общественной, культурной и художественной жизни города».

Горький организует сбор учебных пособий для детей бедняков, призывает жертвовать на бесплатный каток, хлопочет об устройстве общежития для ночлежников-золоторотцев, устраивает для нижегородских малышей ежегодно грандиозные «елки», на которых тысячи детей получали одежду и другие подарки. Он, с большим умением объединяя вокруг этих предприятий местные общественные силы, практически организует помощь беднейшему населению города.

Связь с «местными силами», конечно, не ограничивалась такого характера работой. Горький принимает близкое участие в делах нижегородско-сормовской организации социал-демократической рабочей партии. Полицией и жандармами много стараний прилагалось для обнаружения связи его с революционной работой Нижнего и центра.

«Надзор за ним, — пишет в своих воспоминаниях В. Десницкий, — проводился в самых разнообразных формах. Его почтительно ели глазами чины общей полиции; охраняли все пути жизни писателя бравые жандармы, переодетые и в полной форме... настойчивые шпики под разными обликами пытались проникнуть в самое жилище писателя».

Но все это мало достигало цели.

«Бедные филеры совсем не могли разобраться в бесконечной веренице посетителей опекаемой квартиры, не умели выделить из тучи неинтересных, с жандармской точки зрения, людей — сто́ящих гостей, «матёрых, чтобы повнимательнее проследить и осветить именно их» [4].

Живя в Нижнем, Горький устанавливает тесные связи с революционной молодежью, с сормовскими рабочими и с партийными организациями Сормова и Нижнего.

«Революционная жизнь в Нижнем, совершенно затихшая после выставки, — доносит охранник Ратаев

директору департамента полиции, — ныне опять бьет ключом, и все, что есть только революционного в Нижнем, дышит и живет только Горьким» [5].

Немалое затруднение для хранителей империи состояло в том, что Горький открытую общественную деятельность, которую ему было невозможно запретить, совмещал с разнообразной и широкой помощью революционному движению.

Об этом толково доносит департаменту полиции провокатор Гурович, бывший агентом охранки в кругах революционной интеллигенции.

Он сообщает, что Горький «участвует в разных революционных организациях, причем если не выступает активно, то все-таки стремится создавать благоприятные условия для существования подобных организаций. Пешков удачно соединяет легальные занятия (участие в редакциях, обществах и т. п.) с подпольной деятельностью и таким образом всякое легальное дело превращает в революционное».

Так Горький широко общался с революционными элементами Нижнего, в то же время соблюдая конспиративные условия.

В 1900 году Ленин, вернувшись из ссылки, стал организатором общерусской нелегальной марксистской газеты, которая получила название «Искра». В июне Ленин приезжал в Нижний-Новгород договариваться с нижегородскими марксистами о поддержке ими «Искры». Горький выражал горячее сочувствие этому предприятию, хотя, по условиям конспирации, не мог видеться с Лениным. По словам В. А. Десницкого, на организацию «Искры» Горьким передано было через него пятьсот рублей.

В декабре 1900 года вышел за границей первый номер «Искры», и с тех пор член Нижегородского комитета Российской социал-демократической рабочей партии И. П. Ладыжников регулярно доставлял номера «Искры» Горькому.

В январе 1901 года Горький писал К. П. Пятницкому:

«Новый год я встретил превосходно, в большой компании живых духом, здоровых телом, бодро наст-

роенных людей. Они — верная порука за то, что новый век — воистину будет веком духовного обновления... Все они погибнут в дороге, едва ли кому из них улыбнется счастье, многие испытают великие мучения, — множество погибнет людей, но еще больше родит их земля, и — в конце концов — одолеет красота, справедливость, победят лучшие стремления человека» [6].

В 1899 году были опубликованы «временные правила», которыми предусматривалась отдача студентов в солдаты за «учинение скопом беспорядков», то есть за участие в демонстрациях и прочих массовых действиях.

В декабре 1900 года эти правила были применены впервые: в Киеве сто восемьдесят три студента за участие в сходке были сданы в солдаты.

В статье «Отдача в солдаты 183-х студентов», напечатанной во втором номере «Искры», В. И. Ленин писал:

«Это — пощечина русскому общественному мнению... И пусть открытое заявление правительства о расправе со студентами не останется без открытого ответа со стороны народа!» *

Горький писал знакомым писателям в Москву (письма сохранились в полицейских архивах):

«Надо заступиться за киевских студентов. Надо сочинить петицию об отмене временных правил. Умоляю: хлопочите. Некоторые города уже начали».

И в другом письме:

«Настроение у меня, как у злого пса, избитого, посаженного на цепь... Отдавать студентов в солдаты — мерзость, наглое преступление против свободы личности, идиотская мера обожравшихся властью прохвостов» [7].

В связи с революционными поручениями Нижегородско-Сормовского комитета (одно из поручений было приобретение мимеографа для печатания сормовским рабочим прокламаций) Горький приезжает в феврале в Петербург.

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 4, стр. 391, 393.

Студенческие волнения, усилившиеся после применения правительством «временных правил», привели к большой демонстрации 4 марта 1901 года в Петербурге, на площади Казанского собора, — демонстрация закончилась массовым избиением ее участников.

В ответ на лживое сообщение правительства о событиях 4 марта появилась прокламация «Опровержение правительственного сообщения», в которой разоблачалась предрешенная и обдуманная организация избиения беззащитных людей, — департамент полиции устанавливает, что автором «опровержения» является Горький.

Кроме того, департамент полиции установил, что Горький «внес 2000 рублей на партийную работу, столько же в агитационный студенческий фонд». Удалось проследить (через того же провокатора Гуровича) и другие нелегальные связи.

12 марта 1901 года нижегородским жандармам из Петербурга была послана департаментом полиции шифрованная телеграмма:

«Известный вам Алексей Пешков, он же Горький, и нижегородский житель, сотрудник журнала «Жизнь», приятель Горького, некий Петров, приобрели здесь мимеограф для печатания воззваний к сормовским рабочим. Мимеограф отправили 10 марта через транспортную контору по адресу Печорка, аптека Кольберг, Вере Николаевне. Благоволите установить за получением мимеографа тщательное секретное наблюдение и, отнюдь его не арестовывая, выяснить осторожно, куда будет отвезен, и поставить то место под наблюдение».

Департаменту полиции очень важно было обставить «дело» с Горьким наиболее верным образом, потому дополнительно сообщались такие директивы:

«...Выжидать для производства обыска и ареста удобного момента. Желательнее всего было бы взять мимеограф вместе с лицами в самый момент воспроизведения ими предположенных воззваний... надлежит произвести ликвидацию прикосновенной к этому делу группы тотчас же по появлении первого воззвания...» [8].

Случилось, однако, так, что нижегородским агентам не удалось напасть на след мимеографа, и хотя Горький с группой товарищей был арестован, но «ничего явно преступного не обнаружено», сообщали нижегородские жандармы департаменту полиции.

Пустить в дело петербургские доказательства — это равносильно было бы провалу ценного провокатора и открывало бы возможность огромных разоблачений.

Таким образом, привлекая Горького к дознанию, выдвигая против него тяжкое по кодексу обвинение в «бунте против верховной власти», охранка не имела в руках нужных ей фактов.

Оставалось пока одно — длить следствие и заключение. Но последним тоже пришлось поступиться.

В тюрьме вновь у Горького обострился легочный процесс. Стараниями друзей и давлением общественности удалось добиться осмотра его комиссией врачей, которая пришла к единогласному выводу:

«...Дальнейшее пребывание его под стражей может губительно повлиять не только на здоровье, но и на жизнь» [9].

После месяца заключения Горький был выпущен из тюремного замка, но отдан под домашний арест.

«В кухню моей квартиры посадили полицейского, в прихожую — другого, и я мог выходить на улицу только в сопровождении одного из них» *(XV, 208)*.

Такова была довольно курьезная мера «предупреждения и пресечения преступлений» в отношении Горького, придуманная царским правительством.

Роман «Трое», печатавшийся в 1901 году, усилил популярность Горького в революционной среде. Трое молодых людей — Илья Лунев, Павел Грачев, Яков Филимонов — ищут себе место в жизни, пробиваются в люди каждый своими путями.

Илья Лунев хочет пробиться к «чистой жизни» путем хотя бы преступления, и его ненависть к «хозяевам жизни» кончается бурной вспышкой, в результате которой он сам же гибнет.

Яков Филимонов мечтает о монастыре, а вместо

этого попадает в трактир и работает у своего отца-эксплуататора.

И только Павел Грачев, сблизившись с политическими ссыльными, с социалистическим кружком Сони, становится рабочим. Он сочиняет стихи, напечатанные в местной газете и кончающиеся так:

Я чувствую — нашел я друга!
И ясно вижу — кто мой враг!..

Горький показал своим романом, что капитализм — враг рабочего.

В письме к К. П. Пятницкому он пишет:

«Сейчас прочитал «Трое». Знаете — это хорошая книга, несмотря на длинноты, повторения и множество других недостатков, хорошая книга! Читая ее, я с грустью думал, что, если бы такую книгу я мог прочесть пятнадцать лет тому назад, — это избавило бы меня от многих мучений мысли, столь же тяжелых, сколько излишних» *(XXVIII, 204).*

В сентябре 1901 года министр внутренних дел «до окончательного разрешения производящегося о Пешкове дела» постановил «водворить его под гласный надзор полиции Нижегородской губернии в местности по усмотрению нижегородского губернатора».

Такой местностью оказался уездный город Арзамас, куда Горькому и предстояло отправиться. А так как здоровье его продолжало быть резко плохим, то для установления срока выезда на полицмейстера была возложена обязанность периодического освидетельствования здоровья поднадзорного «через правительственного врача».

В конце концов удалось добиться разрешения перед ссылкой в Арзамас пробыть несколько месяцев в Крыму для лечения под надзором полиции.

Было разрешено поселиться до 15 апреля 1902 года в Ялтинском уезде, без дозволения жить в самой Ялте.

Известия о всех перипетиях дела Горького проникали в печать, обходили и столичные и провинциальные газеты, и одно это уже имело значение бродила.

Но особенно была возбуждена и взбудоражена нижегородская молодежь, состав которой значительно пополнился студентами, высланными из столиц в связи с революционным движением.

О ее бурном настроении хорошо говорит воззвание, изготовленное на гектографе в Нижнем и распространявшееся в Москве:

«Завтра, 8-го ноября, в 8 часов утра с почтовым поездом в Москву приедет проездом в Крым Максим Горький. Из Нижнего он удаляется административно, то есть насильственно и незаконно. Весь Нижний возбужден этим новым проявлением насилия над любимым поэтом, — поэтом, воспевшим борьбу за свободу и певшим песню безумству храбрых. 3 ноября Горькому были устроены шумные овации на студенческом вечере, 5 ноября был устроен банкет, на котором собралось около 130 человек местной интеллигенции, высланных сюда курсисток и студентов, был прочитан хорошо составленный адрес, покрытый многочисленными подписями, и свободно говорились при всеобщем одушевлении смелые, вызывающие речи. Завтра ему устраиваются демонстративные проводы, в которых объединяются все слои общества под одним общим знаменем открытого протеста. Не знаем, чем это кончится, нас, может быть, раздавят, но мы будем биться до последнего. Теперь мы обращаемся к московской учащейся молодежи и ко всему московскому обществу с просьбой присоединиться к нашему протесту, расширить его и постараться об устройстве таких же демонстративных встреч в городах, через которые поедет Горький. Теперь он едет в Крым через Харьков. Пускай же путь борца за свободу человеческой личности будет триумфальным шествием победителя, и еще раз смелым и открытым протестом общество откликнется на этот вызов правительства. Пусть мыслящая Россия покажет, что она уже развилась и окрепла для того, чтобы бороться за свои права, не боясь грубой силы. Вперед, товарищи, перед нами сила темная и большая, но уже занимается заря свободы и новой жизни!

Нижегородцы.

Быстро распространяйте!»[10]

На банкете, упомянутом в прокламации, Горький прочел свой новый рассказ «О писателе, который зазнался». Он клеймил в нем либеральных интеллигентов, которые «ищут жизнь теплую, жизнь тихую, жизнь уютную» в старом здании, пропитанном «кровью людей, которых оно раздавило». Это здание «сотрясается от дряхлости, охвачено предчувствием близкого разрушения и в страхе ждет толчка, чтобы с шумом развалиться», потому что «скоро придут иные люди, люди смелые, честные, сильные — скоро!..».

Нижегородская революционная молодежь замечательно организовала проводы Горького.

Правда, она ошиблась в расчетах на то, что «все слои общества» присоединятся к ней. Либеральная интеллигенция, говорившая на банкетах затейливые речи, на улицу не пошла.

Но воодушевленная Горьким молодежь провела демонстрацию на вокзале с песнями, лозунгами и разбрасыванием прокламаций, затем после отъезда Горького отправилась в центральную часть города и устроила на главной улице летучий митинг.

Это была первая политическая демонстрация в Нижнем, и, несмотря на уже достаточно известное властям значение Горького, полиция все же не ожидала такой силы протеста: значительные наряды ее чинов, как рассказывал Алексей Максимович, молились в это время в соборе — был канун дня Михаила Архангела, патрона полиции.

Нижегородская молодежь была неповинна в том, что демонстрация не перекинулась в Москву.

Власти, наученные опытом Нижнего, в дальнейшем оказались предусмотрительнее.

За несколько верст до Москвы, на станции Москва-Рогожская, Горькому неожиданно было объявлено, что, «за отсутствием разрешения, он в пределы столицы допущен быть не может». Горького арестовали и кружным путем отправили на станцию Подольск.

На Курском вокзале в Москве тем временем со-

бралась демонстрация. Встретив два утренних поезда и не обнаружив в них Горького, демонстранты узнали, что вагон с ним отцеплен на станции Москва-Рогожская.

После этого все отправились туда, но не застали там Горького, который уже был отправлен к тому времени в Подольск.

Екатерина Павловна Пешкова была свидетельницей этого, как рассказывает Горький:

«Жена в это время была отведена в трактир на Рогожской и там ожидала поезда в Москву. Сидя в трактире, она видела, как на Рогожскую пришла большая толпа демонстрантов... Пошумев и узнав, что меня увезли куда-то, они возвратились в Москву, а вслед за тем со всех дворов высыпала масса полиции и последовала за ними».

Так испугались царские власти, арестовавшие прославленного на всю Россию писателя, чтобы не допустить его въезда в Москву.

Но демонстрации при проезде Горького продолжались.

Горький так рассказывает об этом в письме к В. А. Поссе:

«Везде на вокзалах масса жан[дармов] и пол[иции]. В Харькове — мне предложили не выходить из вагона на вокзал. Я вышел. Вокзал — пуст. Пол[иции] — куча. Пред вокзалом — большая толпа студентов и публики, пол[иция] не пускает ее. Крик, шум, кого-то, говорят, арестовали. Поезд трогается. Час ночи, темно. И вдруг мы с Пятницким, стоя на площадке вагона, слышим над нами во тьме могучий, сочный, такой, знаешь, боевой рев. Оказывается, что железный мост, перекинутый через станционный двор, весь усыпан публикой, она кричит, махает шапками — это было хорошо, дружище! Мост — высоко над поездом, и крик был такой бурный, дружный, бодрый.

Все сие рассказывается тебе, товарищ, не ради возвеличения Горького в твоих глазах, а во свидетельство настроения, которым *все более* проникается лучшая часть русской публики» *(XXVIII, 197—198)*.

Характеризуя состояние страны и подъем в ней революционного движения, В. И. Ленин писал:

«В Нижнем небольшая, но удачно сошедшая демонстрация 7-го ноября была вызвана проводами Максима Горького. Европейски знаменитого писателя, все оружие которого состояло — как справедливо выразился оратор нижегородской демонстрации — в свободном слове, самодержавное правительство высылает без суда и следствия из его родного города. Башибузуки обвиняют его в дурном влиянии на нас, — говорил оратор от имени всех русских людей, в ком есть хоть капля стремления к свету и свободе, — а мы заявляем, что это было хорошее влияние» *.

Сильнейшим фактором этого влияния была напечатанная Горьким в апреле 1901 года в журнале «Жизнь» «Песня о Буревестнике».

Вначале «Песня» входила в рассказ «Весенние мелодии», где птицы рассуждают о свободе и чиж поет товарищам где-то слышанную им «Песню о Буревестнике».

Цензура запретила рассказ к печати, но по недальновидности и глупости разрешила «Песню».

«Песня о Буревестнике» была воспринята всей массой читателей Горького как манифест революционного подъема с предвестием «бури», с призывом к открытой героической революционной борьбе.

«Буревестника» перепечатывали в каждом городе на гектографе, на пишущих машинках, переписывали от руки, читали на вечерах среди молодежи и в рабочих кружках. Он был вестником революции.

3

Когда Горький был в Крыму, произошел эпизод с выборами его Академией наук в почетные академики. Департамент полиции возмущенно отметил факт выборов:

«Привлечен к дознанию по обвинению в револю-

* В. И. Ленин, Соч., т. 5, стр. 295.

ционной пропаганде среди рабочих и состоит под особым надзором полиции. Одни унижают, другие возвышают».

Тотчас же была составлена подробная сводка результатов слежки за Горьким в течение двенадцати лет, с 1889 года, кончая последним, наиболее серьезным «делом».

Сводка была доложена министру внутренних дел и через него — царю. От него последовал с «высочайшим окриком» приказ о том, что, по его повелению, «выбор Горького отменяется».

Но министр народного просвещения Ванновский сказал царю, что лучше будет, если объявить, что сама академия признает выборы Горького несостоявшимися.

Через несколько дней в «Правительственном вестнике» выборы Горького были объявлены *от имени самой академии* недействительными. Академия смолчала, принимая «вину» на себя.

Возмущенные таким произволом царского правительства и молчаливой покорностью чиновников, почетные академики А. П. Чехов и В. Г. Короленко вернули в академию свои дипломы.

«Академический» инцидент получил широкую огласку, еще более привлекая симпатии к Горькому и будоража демократические элементы страны.

Начало XX века — эти годы полны были огромного содержания в истории революции. В декабре 1900 года вышел первый номер «Искры», организованной Лениным.

Нарастает буря, и ее вестником и глашатаем выступает уже прославленный на весь мир писатель Максим Горький. Его «Песня о Буревестнике» стала революционным манифестом, художественным и политическим документом времени.

Ленин в статье «Перед бурей» пользуется ее образами, как широко известными массам.

В эти же годы Горький выступает с новым революционным словом, словом со сцены.

В одной речи в 1928 году Алексей Максимович говорил, что два героя занимали его всю жизнь в ли-

тературе: один герой — строитель новой жизни, борец за переустройство мира, и другой «герой» — мещанин, который во время борьбы за переустройство мира мечтал о том, чтобы построить домик с палисадником, где он по праздникам мог бы есть беспрепятственно пироги.

В первой пьесе Горького «Мещане» (1901) уже изображены два героя — Петр Бессеменов и машинист Нил.

Горький говорил о Чехове, что его пьесы можно было бы назвать лирическими комедиями. В его пьесах полусожаление, полусочувствие людям, которые не заметили, как прошла жизнь, потеряно счастье и т. д.

О «Мещанах» Горького можно сказать, что это политическая комедия. Петр Бессеменов изображен с таким сарказмом, которого мы в пьесах Чехова не встретим.

В 1901 году происходят волнения студенческой молодежи, закрытие университетов, сдача студентов в массовом порядке в солдаты, что приводило Горького в ярость. Именно в это время он делает одним из персонажей своей пьесы студента, который случайно оказался в революционном движении и исключен временно из университета, причем это изображено календарно точно.

В начале пьесы говорится: «А до праздников еще далеко... Ноябрь... Декабрь...» Значит, действие происходит в октябре. В мае 1901 года были большие аресты в результате волнений, причем подвергся аресту и сам Горький.

Бессеменов исключен из университета и до октября живет в безделье в доме отца.

Это выхвачено прямо из жизни. Зритель того времени мог видеть на сцене события текущего года.

Буржуазная критика, привыкшая к анализу пьес семейных конфликтов, отнеслась к пьесе «Мещане» по-обычному: борьба отцов и детей, семейные разногласия, конфликт. А здесь было семейное единство, потому что отец и сын Бессеменовы — это одно.

Чехов писал, что Петр умнее и хитрее своего отца и потому будет вреднее.

Отец — откровенный плут и мещанин, а сын — замаскированный мещанин, который использует весь арсенал культурных средств интеллигенции, чтобы нападать на людей, перестраивающих мир.

Этот «мещанин, бывший гражданином полчаса», недалеко уйдет от своего отца, домовладельца и кулака. Разве только «переставит мебель» в его доме, как говорит один персонаж пьесы.

Все это было сильнейшим ударом по двуличной и бесхребетной интеллигенции.

Настоящий конфликт шел по линии Бессеменовы— Нил.

Чехов очень оценил Нила, «нового человека».

«...Это роль главная героическая, — писал он, — она совсем по таланту Станиславского» [11].

Действительно, Нил — новый герой в русской литературе. Этот герой полон энергии и оптимизма. В письме Станиславскому Горький писал:

«*Нил* — человек спокойно уверенный в своей силе и в своем праве перестраивать жизнь и все ее порядки по его, Нилову, разумению» *(XXVIII, 219)*.

В русской литературе не раз изображались герои, боровшиеся за лучшее будущее, но все это были герои-одиночки, дело которых кончилось неудачей.

В образе Нила впервые в русской литературе дан герой, опирающийся на силы восстающего класса, и потому он так уверен в своем праве и в своей силе. Это было явное отражение силы рабочего класса России.

Настороженность властей в отношении Горького была так велика, что вначале «Мещане» были запрещены совсем, а потом разрешены Московскому Художественному театру только для четырех абонементных спектаклей. Первый спектакль «Мещан» должен был состояться в Петербурге во время гастролей театра.

Министр внутренних дел Сипягин писал московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Романову:

«Хотя из пьесы «Мещане» устранены все неудобные в цензурном отношении места и выражения, но, принимая во внимание широкую популярность Горького в известных кругах публики и особенно молодежи, а также направление названного писателя, я признал необходимым командировать на генеральную репетицию означенной пьесы начальника главного управления по делам печати князя Н. В. Шаховского. Ввиду тех же соображений, не благоугодно ли будет Вашему императорскому высочеству назначить для присутствования на генеральной репетиции пьесы «Мещане» особое лицо, которое могло бы доложить Вам о сценическом впечатлении, производимом первым драматургическим опытом Горького. Таким образом представится возможность не допустить до публичного воспроизведения тех отдельных мест или выражений, которые в чтении не производят отрицательного впечатления, но каковые в исполнении на сцене могут вызвать нежелательное действие...» [12].

Дело в том, что царским сатрапам внушал беспокойство самый факт горьковского спектакля, ожидание, что в связи с возмущением по поводу «отмены» избрания Горького в академию будет устроена во время спектакля в его честь демонстрация, которую Сипягин называл «нежелательным действием». Отсюда шли беспощадные вымарки из пьесы, особенно из речей Нила.

Сообщение об отмене выборов Горького было опубликовано 12 марта 1902 года, а генеральная репетиция Московского Художественного театра состоялась 19 марта.

«Все тузы сказали, — пишет О. Л. Книппер А. П. Чехову, — что разрешат пьесу, если Клейгельс * поручится, что не будет скандалов. Как же это можно поручиться? До сих пор ничего не известно» [13].

«Все тузы», по выражению О. Л. Книппер, — это министры Святополк-Мирский, Витте, Воронцов-Дашков и другие сановники, бывшие на генеральной репетиции.

---

* Клейгельс — петербургский градоначальник. — *И. Г.*

«На генеральную репетицию, — вспоминает К. С. Станиславский, — в Панаевский театр съехался весь «правительствующий» Петербург, начиная с великих князей и министров. В самый театр и вокруг него был назначен усиленный наряд полиции; на площади перед театром разъезжали конные жандармы» [14].

Так боялось царское правительство любви народа к своему писателю.

Разрешение было, наконец, дано, но вместо капельдинеров в дни четырех абонементных спектаклей, когда шли «Мещане», были поставлены городовые, чтобы не допустить в театр нежелательных лиц и следить за настроением публики.

Несмотря на цензурный террор и частое запрещение спектаклей, «Мещане» ставились во многих городах, возбуждая повсюду огромный интерес.

В марте 1902 года В. И. Ленин в «Докладе редакции «Искры» совещанию (конференции) комитетов РСДРП» писал:

«Как практическое средство борьбы, конференция особенно рекомендует устройство бойкотов, манифестаций в театрах и т. п., а равно организованные массовые демонстрации» *.

«Мещане» были первой пьесой, возбуждавшей зрителей к общественным выступлениям. Так, в Ростове-на-Дону на представлении «Мещан» произошла в ноябре 1902 года большая манифестация. Демонстрация во время спектакля «Мещан» произошла в Белостоке, как об этом говорится в газете «Искра»:

«Кричали «долой самодержавие, произвол... да здравствует свобода!» Бросали карточки с теми же надписями. Городовые с шашками наголо в театре же начали бить куда попало. Произошла схватка... Потом перенесли демонстрацию на улицу. Было сильное возбуждение. Озверелая полиция начала стрелять... Были вызваны войска, закрыли все магазины (в 6 часов вечера). Убит один рабочий, есть и ране-

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 6, стр. 87.

ные. Арестовано до 30 человек... Демонстрация продолжалась 4 часа, охватив все улицы. Возбуждение в городе громадное. Со всех фабрик начали собираться рабочие, вооруженные палками» *(VI, 548)*.

И в других городах представление «Мещан» сопровождалось демонстрациями.

После Крыма Горький все лето 1902 года провел в ссылке в Арзамасе, работая над второй своей пьесой — «На дне».

Сослав писателя в Арзамас, город сонный и тихий, царское правительство надеялось, что будет контролировать его деятельность. Однако Горький сумел и при полицейском, стоящем под окном его, поддерживать свои революционные связи и даже организовал для Нижегородского комитета РСДРП подпольную типографию в Арзамасском уезде.

Департамент полиции, не имея прямых улик против Горького, не рискнул привлечь к суду знаменитого писателя и через полтора года под давлением общественности вынужден был прекратить «дело» о мимеографе.

В середине августа Горький узнал о прекращении «дела», в конце августа переехал в Нижний и 5 сентября в Москве читал труппе Московского Художественного театра свою пьесу, произведшую на актеров громадное впечатление.

18 декабря 1902 года состоялась премьера новой пьесы Горького — «На дне», имевшей у зрителя совершенно исключительный успех. Последняя степень человеческого убожества, отчаяния и бесправия в сопоставлении с высокой защитой Человека и его правды — все это создавало сильнейшее впечатление, вызывая бурную реакцию зрительного зала.

Это был невиданный на тогдашней сцене мир, и гениальность горьковской пьесы была в том, что эта жизнь — «на дне» — явилась отражением, как в опрокинутом зеркале, того мира, откуда низвергнуты были эти люди.

«Старое общество, — писал В. И. Ленин, — было основано на таком принципе, что либо ты грабишь другого, либо другой грабит тебя, либо ты работаешь

на другого, либо он на тебя, либо ты рабовладелец, либо ты раб» *.

И у Горького в жизни «на дне» обнажены все отношения того строя, который существует там, наверху, на поверхности, где или ты грабишь, или тебя грабят.

В эту жизнь «на дне» Горький ввел речи о человеке и его правде, о том, что само слово «человек» звучит гордо и полно глубочайшего смысла.

«Как и следовало ожидать, — рассказывает В. И. Немирович-Данченко, — «На дне» цензурой было совершенно запрещено. Пришлось ехать в Петербург, отстаивать чуть не каждую фразу, скрепя сердце делать уступки и, в конце концов, добиться разрешения только для одного Художественного театра. От ряда бесед с тогдашним начальником главного управления по делам печати, профессором Зверевым, у меня осталось впечатление, что «На дне» было разрешено только потому, что власти рассчитывали на решительный провал пьесы» [15].

Расчет этот не оправдался. Правительство, спохватившись, прилагало все силы к тому, чтобы локализовать успех пьесы, решительно запрещая ее постановку в других театрах. Но успех был так шумен и грандиозен, что приводил реакционных вожаков в ярость.

Монархический журнал «Русский вестник», например, прямо взывал к буржуазной публике, прося ее опомниться и не забывать своих классовых устоев и своей классовой «нравственности»:

«Нельзя не пожалеть того общества, которое в полном оголтении самосознания, в забвении своих устоев, своих верований, в растлении нравственности рвется, как римская толпа времен цезарей, ко всякой новинке и рукоплещет в неистовстве смраду, грязи, разврату, революционной проповеди... в то время как сам босяцкий атаман Горький Максим ударами пера, как ударами лома, рушит почву, на которой стоит это

* В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 269.

общество. Какой вредный писатель! Какие жалкие, слепые поклонники, читатели и зрители!»

Вот как испуганы были крепостники и черносотенцы!

На Западе Горький был широко известен уже в 1899 году, когда стали появляться переводы его рассказов на европейские языки. К 1901 году известность эта настолько возросла, что, например, в Германии конкурировало шесть издательских фирм, выпускавших параллельные издания сочинений Горького, — явление необычайное и для западного рынка того времени.

Как ни велика, однако, была его популярность в годы 1901—1902, это было только предвестием того громадного успеха, который имела пьеса «На дне», поставленная сперва в Берлине, а затем в короткое время обошедшая сцены всех европейских стран.

А в России революционные рабочие и студенчество усиленно посещали театры, когда в них шла пьеса Горького. В Москве в первый же сезон в течение двух месяцев пьеса прошла пятьдесят раз, а в Петербурге во время гастролей Художественного театра — двенадцать раз при переполненном зале, и каждый раз с оглушительным успехом.

С первых же дней появления на сцене пьеса «На дне» заняла первое место среди произведений русской литературы по силе революционного воздействия на общество и подготовки той бури, которая разразилась в 1905 году.

1902 год привел Горького к еще более тесным связям с революционной социал-демократией, органом которой была «Искра», руководимая В. И. Лениным.

В делах департамента полиции сохранилось перехваченное письмо за границу, сообщавшее о результатах свидания Горького с представителями партии в Москве, где он был проездом в Петербург в октябре 1902 года.

В письме сообщалось:

«Свидание наше носило почти официальный характер... Мне было крайне отрадно слышать, что его симпатии лишь на нашей стороне... Единственным

органом, заслуживающим уважения, талантливым и интересным, находит лишь «Искру», и нашу организацию самой крепкой и солидной. Очень хочет познакомиться ближе с нашим направлением, нашими всеми изданиями и практической нашей работой, и так как его сочувствие на нашей стороне, то он и хочет помогать нам, чем может; во-первых, понятно, деньгами, а потом предложил даже, что не может ли исполнить какое-нибудь поручение в тот город, куда он едет... Он нам будет давать каждый год по 5 000 рублей, из них две тысячи можно получить в ноябре, так что вы на них вполне в это время можете рассчитывать, но этот минимум может увеличиться до больших размеров... Он очень просил повидать нас еще раз, как только будет на обратном пути»[16].

В. И. Ленин писал в 1902 году в ответ на сообщение искровцев о результатах переговоров с Горьким:

«Все, что вы сообщаете о Горьком, очень приятно... Попросите Горького писать для нас...»[17]

30 июля 1903 года состоялось открытие II съезда РСДРП. В подготовке съезда решающую роль сыграла организованная Лениным газета «Искра».

Историческое значение II съезда состоит в том, что он создал в России действительно марксистскую партию на тех началах, которые были выдвинуты и разработаны ленинской «Искрой».

4

С 1900 года сочинения Горького стали выходить в издательстве товарищества «Знание», а вскоре после этого он сам вступил в него.

Вступив в товарищество, Горький принялся энергично собирать вокруг себя демократически настроенных писателей. Его переписка с К. П. Пятницким становится в эти годы особенно оживленной. Где бы он ни был — в Нижнем, в Ялте, в Арзамасе, в Москве или в Сестрорецке, — везде на столе у него лежала груда рукописей, и он посылал Пятницкому указания, что делать с тем или иным автором.

В 1903 году он организовал литературные сборники «Знания», четыре книжки в год, объединив в них писателей реалистического направления — Л. Андреева, И. Бунина, А. Серафимовича, В. Вересаева, С. Гусева-Оренбургского, А. Куприна, Н. Гарина-Михайловского, Н. Телешова, Е. Чирикова, С. Скитальца.

Этому делу — организации демократической литературы — Горький придавал важнейшее значение и рассматривал его как одну из форм борьбы с существующим строем.

Литературу же либеральную, декадентскую и бесхребетную он начисто отвергал.

Писателю-знаньевцу С. Елеонскому, произведения которого Горький нередко подвергал суровой критике, он писал:

«Для кого и для чего Вы пишете? Вам надо крепко подумать над этим вопросом. Вам нужно понять, что самый лучший, ценный и — в то же время — самый внимательный и строгий читатель наших дней — это грамотный рабочий, грамотный мужик-демократ. Этот читатель ищет в книге прежде всего ответов на свои социальные и моральные недоумения, его основное стремление — к свободе, в самом широком смысле этого слова; смутно сознавая многое, чувствуя, что его давит ложь нашей жизни, — он хочет ясно понять всю эту ложь и сбросить ее с себя... Простите за резкость — правда всегда невкусна, но она всегда необходима, а в литературе — тем более, ибо литература есть область правды» *(XXVIII, 321—323)*.

Но если появлялось произведение демократически-прогрессивное, Горький радовался ему, как своему личному успеху. Так встретил он «Жизнь Василия Фивейского» Л. Андреева, «В приходе» С. Гусева-Оренбургского, «Евреи» С. Юшкевича. Помогал виднейшим писателям довести свои вещи до совершенства. Куприн писал ему перед появлением в шестом сборнике «Поединка»:

«Теперь, наконец, когда уже все окончено, я могу сказать, что все смелое и буйное в моей повести при-

надлежит Вам. Если бы Вы знали, как многому я научился от Вас и как я признателен Вам за это» [18].

Наступил 1904 год. В атмосфере приближающихся революционных бурь имя Горького становилось все более ненавистным для реакционеров. Каждое новое произведение его встречали бранью и клеветой.

Усиливались и гонения правительства на пьесу «На дне», особенно в связи с тем, что ей была присуждена Грибоедовская премия. В революционной же части общества имя Горького подымалось с каждым новым произведением все выше.

Царское правительство завязло в кровавых авантюрах на Дальнем Востоке. Последние дни держался Порт-Артур. Падение его открывало ряд таких тяжелых неудач, которые с небывалой еще силой обнаруживали гниль и мерзость полицейско-самодержавного строя.

Взбудораженная буржуазия посылала своих краснобаев на съезды земских и городских деятелей и там, расточаясь в либеральной болтовне, примеривалась к тому, чтобы отхватить себе кусок власти.

Горький выступал с резкой критикой буржуазии. Он призывал к решительным способам борьбы с правительством. Так, говоря на одном собрании о предполагающейся демонстрации, он заявил следующее:

«Если 28 ноября будет демонстрация на улице, то не давать себя бить нагайками и топтать. Пускать в ход револьверы, кинжалы и собственные зубы, лишь бы произвести большой переполох среди полиции, стоящей на страже современного полицейского правительства, — иначе уличные демонстрации не имеют смысла» [19].

В эти дни (в ноябре 1904 года) в театре В. Ф. Комиссаржевской была поставлена пьеса Горького «Дачники».

Своей пьесой Горький публицистически остро ставил вопрос: о чем в эти дни думает и что делает «соль земли» — интеллигенция?

Горький разоблачил лицемерие и жадность буржуазной интеллигенции, ее равнодушие к судьбам родины, разоблачил ее в образах адвоката Басова,

инженера Суслова, Замыслова, которые сродни купцам и чиновникам, людям «для которых, как для волка — лес и для быка — пастбище, вся страна является только местом, где можно есть» *(XXVIII, 345)*.

Буржуазная интеллигенция, адвокаты например, обличалась в русской литературе и раньше (Щедрин, Достоевский, Л. Толстой), но никогда не было до «Дачников», чтобы в центре группы мещан был поставлен писатель, прославленный писатель.

В образе Шалимова Горький заранее пророчески осудил тех многочисленных литераторов, которые, забыв свой прежний «либерализм» и свое «народолюбие», подло клеветали на революцию после ее поражения.

Но были и современные «Дачникам» имена, которые зритель легко мог отождествить с Шалимовым. В их числе был и Струве, и Бердяев, и Мережковский, и Сологуб, и даже Леонид Андреев.

В сентябре 1904 года Горький писал Соловьеву-Андреевичу по поводу его книги об Андрееве:

«Нет ли в его творчестве страха жизни и атавизма литературного в этом страхе? Не видите ли в его пристрастии «к случаю» — некоего испуга мысли, недостатка мужества в ней? Мещанского страха жизни, тоже одного из предметов духовного хозяйства мещан?»

Горький изображал Шалимова, изображал писателя-мещанина на самом корню. Шалимов — очень значительное обобщение. Это был удар по врагу, который еще развивался, которому предстояло будущее.

И такова была сила разоблачения, что этот вызов на первом же представлении дошел как нельзя лучше по адресу. Собравшаяся «премьерная» публика того времени встретила пьесу шиканьем и свистом.

Впервые, кажется, в истории театра автор пьесы вышел, как писали газеты, не на аплодисменты, а на... свист.

«Первый спектакль, — писал Горький Е. П. Пешковой, — лучший день в моей жизни, вот что я скажу тебе, друг мой! Никогда я не испытывал и едва ли

испытаю когда-нибудь в такой мере и с такой глубиной свою силу, свое значение в жизни, как в тот момент, когда после третьего акта стоял у самой рампы, весь охваченный буйной радостью, не наклоняя головы пред «публикой», готовый на все безумия — если б только кто-нибудь шикнул мне» *(XXVIII, 333)*.

И нужно сказать, эта демонстрация Горьким своего презрения к посетившим спектакль «дачникам» имела большое общественное значение. Настоящая интеллигенция, демократическая молодежь, отлично поняла размежевание общественных сил, активно и бурно проявляя свои безоговорочные симпатии к автору, встречая его восторженными овациями.

Что же касается либеральной прессы, то она энергично, можно сказать, с яростью, с клеветой убеждала читателей в том, что Горькому непонятны «искания духа», «тоска о личном совершенстве», которая бывает только у подлинных «аристократов духа», что решение социальных вопросов не в сытости масс, а в «беспрепятственном созерцании ими божьей правды» и т. д. и т. п.

Можно сказать, что все сыпавшиеся на Горького из лагеря буржуазной интеллигенции обвинения были голосом тех, кого Горький впоследствии воплотил в образе Самгина.

Пьеса «Дачники» была первым сильным ударом по этой психологии лжи, уклончивости и лицемерия, по этому замаскированному врагу, который, прикрываясь «интеллигентностью» и «аристократизмом духа», таил непримиримую вражду к демократии и революции и жаждал только одного: теплого местечка на верхах буржуазного общества, личного покоя и беспрепятственной возможности плотно покушать.

«Дачники» — пьеса, вызвавшая наиболее сильное ожесточение либеральной прессы.

Недаром Горький еще в июне 1902 года в Арзамасе, начиная пьесу, писал: «Очень хочется подарить «всем сестрам — по серьгам»...»

В то же время он писал К. П. Пятницкому:

«Чувствую я, что носится в воздухе новое миропо-

нимание, миропонимание демократическое, а уловить его — не могу, не умею. А — носится и зреет»[20].

Это демократическое миропонимание Горький показал в своих персонажах — Марьи Львовне и Власе. Влас — юноша, письмоводитель Басова. Одна газета с ожесточением писала: «Сейчас на сцене кричит один Влас, а завтра в жизни закричат тысячи Власов». В этом и была задача Горького: за одним Власом показать тысячи Власов будущего.

Горький имел все основания считать свою очередную задачу выполненной.

Тогда же возник проект организации нового театра и слияния его с труппой Комиссаржевской во главе с Горьким.

В декабре 1904 года появилось уже сообщение о новом предприятии.

Но эта работа по организации театра большого политического звучания была прервана новыми событиями.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Слухи о готовящемся шествии рабочих к Зимнему дворцу волновали Петербург еще с 6 января.

3 января началась стачка на крупнейшем заводе Петербурга — Путиловском. Движение разрасталось. Стачка стала превращаться во всеобщую. Царское правительство решило подавить движение оружием. Известно было, что в воскресенье 9 января рабочие пойдут к царю с просьбой удовлетворить их требования.

8 января вечером, когда не оставалось больше сомнений в том, что военное командование готовит кровопролитие на улицах, собравшаяся в редакции газеты «Наши дни» группа общественных деятелей решила отправить к министрам депутацию с попыткой убедить их в мирном характере рабочего шествия и в необходимости убрать с улиц войска. В этой депутации был в Горький.

Вспоминая впоследствии о посещении С. Витте, он писал:

«Помню только, что когда он внушительно сказал: — Мнение правящих сфер непримиримо расходится с вашим, господа... — я почувствовал в этой фразе что-то наглое, ироническое и грубо прервал его:

— Вот мы и предлагаем вам довести до сведения сфер, что если завтра прольется кровь — они дорого заплатят за это.

Он искоса, мельком взглянул на меня и продолжал сыпать пыль слов...»[21]

Массовое убийство безоружных рабочих было предрешено царскими сатрапами и совершилось в знаменитое с тех пор «кровавое воскресенье» 9 января. Но в некоторых районах рабочие строили баррикады, выкидывали красное знамя и сопротивлялись убийцам.

Ленин по поводу этих событий писал в газете «Вперед»:

«Рабочий класс, как будто остававшийся долго в стороне от буржуазного оппозиционного движения, поднял свой голос... Экономические требования сменяются политическими. Стачка становится всеобщей и приводит к неслыханно колоссальной демонстрации; престиж царского имени рушится навсегда. Начинается восстание. Сила против силы. Кипит уличный бой, воздвигаются баррикады, трещат залпы и грохочут пушки... Каждый должен быть готов исполнить свой долг революционера и социал-демократа» *.

Горький был в этот день в местах, где происходили кровавые события.

Он так вспоминал об этом:

«9 января 1905 года я с утра был на улицах, видел, как рубили и расстреливали людей, видел жалкую фигуру раздавленного «вождя» и «героя дня» Гапона... Все было жутко, все подавляло в этот проклятый, но поучительный день» *(XVII, 96)*.

Потрясенный сценами избиения, Горький, вернувшись домой, тотчас же написал обращение к обществу от имени депутации, избранной для посещения и уведомления министров.

Обращение подчеркивало то обстоятельство, что министр внутренних дел был предупрежден депутацией о мирных намерениях рабочих, что это подтвердилось самими событиями, и, следовательно, происшествие нельзя назвать иначе, как «предумышленным и бессмысленным убийством множества русских граждан».

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 8, стр. 53.

«А так как Николай Второй был осведомлен о характере рабочего движения и о миролюбивых намерениях его бывших подданных, безвинно убитых солдатами, и, зная это, допустил избиение их, — мы и его обвиняем в убийстве мирных людей, ничем не вызвавших такой меры против них.

Вместе с тем мы заявляем, что далее подобный порядок не должен быть терпим, и приглашаем всех граждан России к немедленной, упорной и дружной борьбе с самодержавием» *(XXIII, 335—336)*.

Вечером в помещении Вольно-экономического общества Горький выступает с речью, в которой говорит о начале русской революции. Там же организует сбор пожертвований в пользу пострадавших 9 января и членов их семейств. Для сбора пожертвований выдаются листы за подписью Горького.

В письме к Е. П. Пешковой, подробно описав события «кровавого воскресенья», Горький кончает это описание знаменательными словами:

«Итак — началась русская революция, мой друг, с чем тебя искренно и серьезно поздравляю. Убитые — да не смущают — история перекрашивается в новые цвета только кровью».

И добавляет:

«Послезавтра, т. е. 11-го, я должен буду съездить в Ригу — опасно больна мой друг М[ария] Ф[едоровна]* — перитонит. Это грозит смертью... Но теперь все личные горести и неудачи не могут уже иметь значения, ибо — мы живем во дни пробуждения России» *(XXVIII, 348—349)*.

Горький передал свое обращение-прокламацию членам депутации для ознакомления и одобрения, но в ночь на 11 января у одного из них во время обыска воззвание было захвачено.

Обыск был произведен у всех членов депутации, обвиненных в организации «временного правительства».

В тот же день Горький был арестован в Риге и

---

* Андреева — актриса Московского Художественного театра. — *И. Г.*

12 января привезен в Петропавловскую крепость, в отдельную камеру Трубецкого бастиона, куда заключали подследственных с особо тяжким обвинением.

Трепов, «один из наиболее ненавидимых всей Россией слуг царизма...» *, назначенный диктатором после 9 января, добивался грандиозного «дела», желая депутацию общественных деятелей представить, как «революционное правительство».

«Арестованным членам депутации... — писал В. И. Ленин в статье «Трепов хозяйничает», — предъявили нелепейшее обвинение в намерении сорганизовать «временное правительство России» на другой день после революции. Понятно, что это обвинение падает само собой».

Горький на трех допросах категорически отверг полицейскую выдумку об участии в заговорщическом комитете. Но он признал свое авторство проекта воззвания и взял лично на себя всю ответственность за него.

«Дело» Горького было назначено на суд при закрытых дверях.

В цитированной выше статье Ленин писал:

«За границей началась энергичная кампания среди образованного буржуазного общества в пользу Горького, и ходатайство пред царем об его освобождении было подписано многими выдающимися германскими учеными и писателями. Теперь к ним присоединились ученые и литераторы Австрии, Франции и Италии» **.

Реакция на арест Горького приняла такие формы и размеры, что царскому правительству трудно было игнорировать ее.

Ученые, писатели, депутаты составляли адреса, покрываемые многочисленными подписями, общественность разных стран организовала выступления в защиту Горького с требованием его освобождения.

«Его творения, — говорилось в одном из выступле-

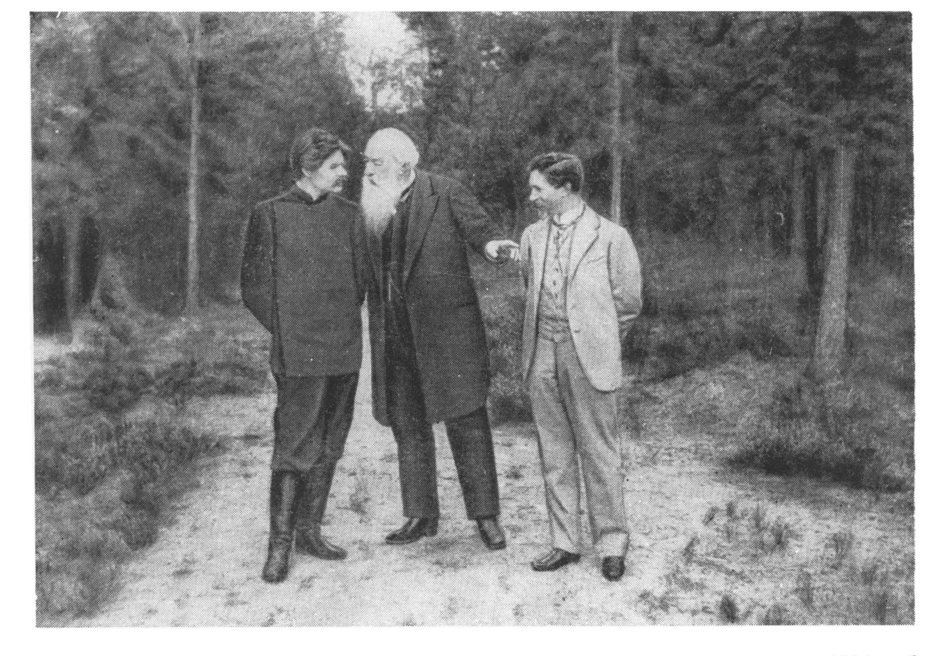
---

* В. И. Ленин, Соч., т. 8, стр. 111.

** Там же, стр. 112.



С. Г. Скиталец, Л. Н. Андреев, А. М. Горький, Н. Д. Телешов, Ф. И. Шаляпин, И. А. Бунин.



А. М. Горький, В. В. Стасов и И. Е. Репин. Финляндия, Куоккала, 1904 год.

ний, — распространяли по всему миру уважение к духу русской народной поэзии, и все его сочинения дышат страстной любовью к родине. Голоса наиболее выдающихся людей различных стран сливаются в общем крике: «Свободу Максиму Горькому! Верните его труду, родине, целому миру!»

Но не эти выражения любви к Горькому и к его произведениям беспокоили царское правительство.

В России манифестации в театрах на представлениях пьес Горького во всех городах — в Нижнем, в Николаеве, в Кишиневе, Двинске, Киеве, Ростове-на-Дону, Саратове, Одессе, Казани — повсеместно, как ранее в Белостоке, стали обычным явлением.

В Нижнем горячую речь о Горьком с галереи театра произнес Я. М. Свердлов — в будущем выдающийся деятель Коммунистической партии.

В Николаеве во время спектакля пьесы Горького были разбросаны прокламации.

Двинский театр был закрыт вследствие манифестации в честь Горького.

В Киевском театре Соловцова во время представления пьесы «Дачники», перед началом второго акта, когда электричество потушили, с галереи раздался крик: «Да здравствует Горький! Да здравствует свобода! Долой самодержавие!» Под шум аплодисментов были брошены в партер прокламации следующего содержания:

«Свобода Горькому, борцу за волю, певцу свободного слова!

Да здравствуют все, смело идущие в бой за пролетарское дело, за политическую свободу!

Слава героям-мученикам, павшим в борьбе с царизмом — этим проклятым врагом русского народа!..» [22]

В зале начались волнения. По требованию полиции был опущен занавес. Появился свет, но прокламаций уже не стало — их расхватали зрители. В поисках бросивших прокламации полицией были произведены аресты.

В Кишиневе, в местном театре, во время последнего акта пьесы «Дачники» разбрасывались гектогра-

фические листовки с призывом «Долой самодержавие!».

Такие манифестации продолжались по всем городам.

14 февраля после месяца заключения начальник жандармского управления отдал распоряжение об освобождении Горького до суда под залог в десять тысяч рублей с подпиской о невыезде из Петербурга.

Однако начальник охранного отделения потребовал нового ареста, заявив, что ни одного часа не оставит Горького свободным на улицах столицы.

Горького спешно отправили в Ригу в сопровождении охранника.

К. П. Пятницкому он писал 15 февраля:

«Доехали мы вполне благополучно, под надежной охраной солидного человека с большим носом и рябым лицом, проводившего нас до Риги. Здесь, в гостинице, нам дали пару внимательных соседей, тайно образующих надзор за нашим поведением и животворящих собою мудрость властей» [23].

Так охранники шпионили за Горьким, сопровождая его всюду.

В Петропавловской крепости Горький написал пьесу «Дети солнца», которая отчасти явилась как бы откликом на «кровавое воскресенье». Конечно, цензурные условия не позволили писателю прямо говорить о событиях 9 января. Но в словах одного из персонажей пьесы, Лизы, мы находим намек на события, свидетелем которых был Горький:

«И у ног моих — юноша с разбитой головой... он ползет куда-то, по щеке и шее у него льется кровь, он поднимает голову к небу... я вижу его мутные глаза, открытый рот и зубы, окрашенные кровью...»

Эти слова со сцены должны были напоминать зрителям о чудовищном злодеянии царизма.

В ожидании судебного процесса Горький писал из Риги К. П. Пятницкому:

«Об уклонении от суда не может быть и речи, напротив, — необходимо, чтобы меня судили. Если же они решат кончить эту неумную историю административным порядком — я немедленно возобновлю ее, но

уже в более широком масштабе, более ярком свете и — добьюсь суда для себя — позора для семейства Романовых и иже с ними.

Если же будет суд и я буду осужден — это даст мне превосходное основание объяснить Европе, почему именно я «революционер» и каковы мотивы моего «преступления против существующего порядка» избиения мирных и безоружных жителей России, включая и детей»[24].

Правительство было в сильном затруднении, понимая неудобство суда над таким обвиняемым даже при закрытых дверях.

Суд, назначенный на 3 мая, отложили, затем «дело» затянули и прекратили его уже во время бурных событий осени 1905 года.

2

Горький еще в предшествующие годы отлично понял значение Ленина как политического вождя. Партийный работник Землячка писала В. И. Ленину и Н. К. Крупской 28 декабря 1904 года:

«Очень много беседовала эти дни с нашим беллетристом *, от которого получаем деньги. Он окончательно перешел к нам и очень заботится о нашем благополучии. Он заявил, что относится к нему **, как к единственному политическому вождю...»[25]

Горький выражал желание тогда же завязать личную переписку с Лениным, и возможно, что это осуществилось бы, если бы не арест Горького после 9 января.

В это же время, еще до ареста Горького, В. И. Ленин дает поручение В. Д. Бонч-Бруевичу повидаться с Горьким в Петербурге и переговорить с ним.

В. И. Ленин писал Бонч-Бруевичу:

«Есть предложение от Горького организовать за границей издание его произведений, а также и других

* М. Горьким. — *И. Г.*
** В. И. Ленину. — *И. Г.*

писателей, входящих в группу «Знания», с тем, чтобы доход от этих изданий поступал в кассу нашей партии. Будете в Петербурге, постарайтесь повидаться с Алексеем Максимовичем и переговорить с ним»[26].

Конспиративные условия партийной жизни не дают возможности точно учесть суммы, которые выделял Горький для партии. Случайные сообщения обнаруживают такие, например, факты: Горький через А. А. Богданова посылает в Женеву на издание газеты «Вперед» чек на пять тысяч рублей. 11 января 1905 года пишет К. П. Пятницкому о том, чтобы послать две тысячи рублей Герману Красину. Деньги предназначались на нужды революционного движения.

Осенью 1905 года, как только оказалось возможным, при содействии Горького и с его материальной помощью была организована большая газета «Новая жизнь», которая стала первым легальным большевистским органом.

Первый номер газеты вышел 27 октября, а с приездом Ленина из эмиграции в Петербург, в начале ноября, стала выходить под его непосредственным руководством.

«Никогда, — писала французская газета «Юманите», — распространение социалистических идей не шло так быстро, как в настоящее время в России». «Юманите» называла «Новую жизнь» «газетой Ленина и Горького»[27].

В «Новой жизни» Ленин поместил ряд своих важнейших статей, среди которых была статья «Партийная организация и партийная литература».

Горький напечатал в этой газете цикл публицистических статей — «Заметки о мещанстве». Разоблачая мещанство как особый душевный строй, взращиваемый собственническим, буржуазным обществом, он так клеймил этих утешителей и примирителей:

«Я не знаю более злых врагов жизни, чем они. Они хотят примирить мучителя и мученика и хотят оправдать себя за близость к мучителям, за бесстрастие свое к страданиям мира. Они учат мучеников

терпению, они убеждают их не противиться насилию, они всегда ищут доказательств невозможности изменить порядок отношений имущего к неимущему, они обещают народу вознаграждение за труд и муки на небесах и, любуясь его невыносимо тяжкой жизнью на земле, сосут его живые соки, как тля. Большая часть их служит насилию прямо, меньшая — косвенно — проповедью терпения, примирения, прощения, оправдания...» *(XXIII, 354)*.

И он вскрывал «мещанские» тенденции в публицистике Достоевского и Л. Толстого.

Ленин не раз впоследствии вспоминал с одобрением эти статьи.

Либерал Н. Бердяев, позднее «вехист» и махровый контрреволюционер, в журнале «Полярная звезда» назвал «Заметки» Горького «хулиганством в самом подлинном и глубоком значении слова».

Ленин в статье «Победа кадетов и задачи рабочей партии» поместил такую выноску:

«Г. Бердяев! гг. редакторы «Полярной звезды» или «Свободы и Культуры»! Вот вам еще тема для долгих воплей,... то-бишь долгих статей против «хулиганства» революционеров. Называют, дескать, Толстого мещанином!! — кель оррер, как говорила дама, приятная во всех отношениях» *.

Когда Ленин прибыл из эмиграции, Горький был в Москве. Но вскоре он приехал в Петербург, и здесь состоялась первая встреча Ленина с Горьким 27 ноября 1905 года.

Предстояло собраться на заседание ЦК. Решили устроить его на квартире, где жил Горький.

Это было заседание, на котором обсуждались вопросы о подготовке вооруженного восстания, о газете «Новая жизнь» и об издании в Москве большевистской газеты «Борьба».

В. Десницкий, участник заседания и свидетель встречи Ленина и Горького, вспоминает:

«Горький много рассказывал о московских событиях и настроениях, о похоронах Баумана, о «черной

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 10, стр. 220.

сотне», о вооружении рабочих и студентов, о настроении интеллигенции, картинно описывал уличные сцены. Владимир Ильич слушал с неослабным вниманием. Его особенно, как и всегда, интересовали те мелочи, конкретные детали, факты, слова, которые давали свежее, непосредственное впечатление действительности. Здесь впервые узнал он Горького как рассказчика и с первого раза оценил громадное значение его наблюдений и заключений о людях и событиях.

— Учиться у него нужно, как смотреть и слушать! — нередко говорил о Горьком Владимир Ильич...»[28]

«Новая жизнь» выходила в течение пяти недель в боевой обстановке. Из двадцати семи номеров газеты пятнадцать было конфисковано и уничтожено.

Полиция отбирала ее у газетчиков и даже у купивших ее, запрещала продажу газеты в киосках и магазинах. Почта по приказу охранки задерживала рассылку газеты подписчикам, истребляя номера, не принимая денежных переводов в газетную контору.

Тем не менее тираж «Новой жизни» доходил до восьмидесяти тысяч экземпляров.

2 декабря она была запрещена совсем.

Но последний номер был выпущен по соглашению с наборщиками и печатниками 3 декабря нелегально, с призывом «к революционной борьбе с самовластием».

Еще до запрещения «Новой жизни», с 27 ноября, удалось организовать для Москвы при содействии Горького газету «Борьба», сыгравшую значительную роль в развитии декабрьского восстания.

6 декабря Московский Совет рабочих депутатов, руководимый большевиками, объявил на 7 декабря всеобщую политическую забастовку, с тем чтобы добиваться превращения ее в вооруженное восстание.

7 декабря Горький уехал в Москву в сопровождении двух рабочих, данных ему для охраны.

Из Москвы он писал К. П. Пятницкому:

«Ну-с, приехали мы сюда, а здесь полная и всеобщая забастовка. Удивительно дружно встали

здесь все рабочие, мастеровые и прислуга... У Страстного... * строили баррикады, было сражение. Есть убитые и раненые — сколько? — неизвестно. Но, видимо, много. Вся площадь залита кровью. Пожарные смывают ее» [29].

При широком содействии Горького шло вооружение боевых групп. Во время восстания его квартира была своего рода боевым центром, одним из опорных пунктов восстания, и охранялась дружинниками **.

В очерке «Митя Павлов» Алексей Максимович рассказывает, что сормовский рабочий Д. А. Павлов привез из Петербурга большую коробку капсюлей гремучей ртути и пятнадцать аршин бикфордова шнура, обмотанного им вокруг себя.

Такие же коробки с запалами из гремучей ртути привозили другие дружинники. Специалисты в квартире Горького учили боевиков делать македонские бомбы.

10 декабря Алексей Максимович писал К. П. Пятницкому:

«...Сейчас пришел с улицы. У Сандуновских бань, у Николаевского вокзала, на Смоленском рынке, в Кудрине — идет бой. Хороший бой! Гремят пушки — это началось вчера с 3-х часов дня, продолжалось всю ночь и непрерывно гудит весь день сегодня... Рабочие ведут себя изумительно. Судите сами: на Садовой-Каретной за ночь были возведены 8 баррикад... Сейчас получил сведение: у Николаевского вокзала площадь усеяна трупами, там действуют 5 пушек, 2 пулемета, но рабочие дружины все

---

* Страстной монастырь был на месте, где сейчас памятник Пушкину. — *И. Г.*

** В 1912 году Горький, вспоминая грузинских революционеров, охранявших его московскую квартиру, писал:

«Очень часто и сердечно вспоминаю я о вас, добрые товарищи. Все ли живы, здоровы, все ли целы? Погибшим за великое дело — мой земной, молчаливый поклон, уцелевших обнимаю крепко, и — да здравствуют! Рад заочно пожать знакомые мне крепкие, честные руки и сегодня за обедом выпью за ваше здоровье стакан каприйского вина» *(XXIX, 287)*.

же ухитряются наносить войскам урон... Вообще — идет бой по всей Москве!»[30]

Колебания войск московского гарнизона приводили царские власти в бешенство. Солдаты проводили митинги, собрания, на которых выдвигали свои требования. Но самое большее, на что шли солдаты, — это отказ от стрельбы в рабочих.

Остановилось движение на всех железных дорогах московского узла. Но железную дорогу между Петербургом и Москвой дружинникам не удалось перерезать, и правительство выслало из Петербурга 16 декабря Семеновский полк с артиллерией.

Ввиду превосходства противника в вооружении Московский комитет большевиков совместно с Московским Советом рабочих депутатов принял решение — 19 декабря прекратить вооруженное восстание.

В ходе восстания рабочие проявили чудеса героизма, показали рабочим России пример, как нужно бороться за свободу и счастье.

В прокламации, которая ходила по рукам в гектографированном виде, Горький писал:

«Пролетариат побежден. Революция подавлена», — с радостью кричала реакционная пресса. Но радость преждевременная: пролетариат не побежден, хотя и понес потери. Революция укрепилась новыми надеждами, кадры ее увеличились колоссально... Русский пролетариат подвигается к решительной победе, потому что это единственный класс, морально сильный, сознательный и верующий в свое будущее в России. Я говорю правду и эта правда будет подтверждена честным и беспристрастным историком»[31].

Во время организации Московского восстания Горький не прерывал своей публицистической и редакторской деятельности.

В «Новой жизни» 16 и 27 ноября он начал новый цикл статей «По поводу», в № 1 большевистской газеты «Борьба» он поместил сказку «И еще о черте», представлявшую памфлет на Ивана Ивановича, либерального интеллигента.

Журнал «Жупел», в котором Горький принимал близкое участие, поместил его рассказ «Собака».

Ненапечатанный рассказ «Зрители» говорит о дружине, героически борющейся и погибающей.

В журнале «Адская почта» Горький помещал сатирические «Изречения и правила», подписывая их старым. псевдонимом— Иегудиил Хламида.

В журнале «Жало» поместил «С натуры» и «О Сером». Серый — мещанин, который мечется между Красным и Черным.

«Он любит только жизнь теплую, жизнь сытую, жизнь уютную, и ради этой любви треплет свою душу, как голодная уличная женщина дряблое тело свое. Он готов рабски служить всякой силе, только бы она охраняла его сытость и покой».

Так Горький клеймил либерала-мещанина.

В журнале «Адская почта» он поместил рассказ «Мудрец» — отличный памфлет на философов-пессимистов и скептиков.

«Человек! — сказал мудрец, снисходительно усмехаясь. — Заблуждение — имя слов твоих. Ограниченно познание людей, и не будут они знать более, чем могут. И не все ли равно тебе, как погибнешь ты, — голодный или же пресыщенный, подобно тем, против которых ты направляешь столь слабое жало мудрости твоей? И не все ли равно, невеждой ляжешь ты в гроб твой или оденешься в холодный саван жалких учений владык твоих? Подумай, — все на земле и сама земля будет ввергнута в черную пропасть забвения, в бездонную пучину смерти...

Работники молча смотрели в очи его и недвижно слушали мудрую речь, и, чем больше говорил он, тем сильнее одевались их лица суровым холодом. Потом один из них сказал товарищу:

— Матвей! У меня рука болит, — дай ты в шею этой старой обезьяне...

Вот и все.

...Да, конечно, я согласен, он несколько грубоват, этот рабочий народ, но разве он виновен в этом? Ведь его никто и никогда не учил хорошим манерам» *(V, 457, 464)*.

Вся суть отношений пролетариата к буржуазной умозрительной философии, стремящейся отвлечь рабочий класс от его прямых задач, отлично показана в этом коротком рассказе.

А в петербургской еженедельной газете «Молодая Россия», в одном номере со статьей Ленина «Рабочая партия и ее задачи при современном положении», напечатана статья Горького «По поводу московских событий». В этой статье Горький, рассказывая, что он видел на улицах Москвы, говорил о том, как обыватель идет за рабочим, как он «революционизируется» на глазах.

Ленин писал в своей статье:

«Геройский пролетариат Москвы показал возможность активной борьбы и втянул в нее массу таких слоев городского населения, которые до сих пор считались политически равнодушными, если не реакционными. А московские события были лишь одним из самых рельефных выражений «течения», прорвавшегося во всех концах России» *.

Какое значение придавал Ленин участию Горького в московских событиях, показывает то, что, составляя в январе 1917 года план доклада о революции 1905 года, Ленин вписал имя М. Горького, подчеркнув его.

О значении русской революции говорил великий французский писатель Анатоль Франс. В декабре 1905 года, выступая на митинге, он сказал:

«Русская революция — революция всемирная. Она продемонстрировала перед мировым пролетариатом свои средства и свои цели, свою мощь и свой жребий. Она угрожает всякому деспотизму, всякому угнетению, всякой эксплуатации человека человеком. Троны поколеблены ею... На берегу Невы, Вислы и Волги — вот где решаются ныне судьбы новой Европы и будущего человечества» [32].

Отражение Московского вооруженного восстания в творчестве М. Горького нашло место в повести «Жизнь Клима Самгина».

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 10, стр. 76.

8

После декабрьского восстания Горький был бы, несомненно, арестован и привлечен к новому «делу». Но в это время в партии возникла мысль поручить Горькому поездку за границу для пропаганды русской революции и в Америку для сбора путем агитации денег в кассу большевиков.

Владимир Ильич Ленин придавал этой поездке большое значение, как вспоминает Н. Е. Буренин, член боевой технической группы большевиков, которого партия назначила сопровождать Горького.

Тогда же, в начале февраля 1906 года, Ленин имел второе свидание с Горьким в Гельсингфорсе (Хельсинки) [33].

В глазах всего мира Горький был выразителем свободолюбивого русского народа, представителем борющейся за свое освобождение России, и партия большевиков поручила ему, великому писателю, великому патриоту и революционеру, эту поездку с призывом к международной демократии поддержать русскую революцию.

Он выехал за границу через Финляндию в феврале 1906 года.

Но еще в январе он послал европейским левым газетам свое письмо-воззвание о Московском восстании, которое ходило в России по рукам как прокламация.

Газета «Юманите» опубликовала воззвание Горького в номере от 21 января 1906 года (по новому стилю) с предисловием редакции: «Великий русский писатель-социалист Максим Горький прислал редакции «Юманите», одновременно редакции «Форвертс», брюссельской «Пепль», римской «Аванти» и главным социалистическим газетам следующее волнующее воззвание, обращенное к рабочим всех стран».

В Берлине в ответ на приветствия иностранцев на многочисленных банкетах Горький говорил о революции в России и о необходимости помочь борцам за свободу.

В воззвании к французским рабочим он писал:

«Первым отрядом всемирной армии двинулся в битву русский рабочий.

Его победы и поражения его — известны вам, вы знаете, как много сил потратил он и еще потратит, вы знаете, как обильно текла и потечет еще его кровь.

Он уже нанес славные удары врагу, но враг еще силен, и впереди у русских — много битв.

Чем скорее грянет ближайшая битва, тем скорей ее гром пронесется по всей земле, и, если русский рабочий победит, — рабочие всей Европы, всего света почерпнут в этой победе вдохновение и силу, и уроки для себя...» *(XXIII, 394—395).*

Горький говорил, что Россия идет впереди мирового освободительного движения, что русский рабочий идет впереди рабочих всего мира.

Для царского правительства это было время страшного финансового кризиса после проигранной войны с Японией.

Вопрос, удержит ли правительство власть и сможет ли с новыми силами обрушиться на революционное движение, в значительной степени был связан с вопросом: поможет ли буржуазия Европы царскому правительству.

Поэтому Горький публикует в Европе воззвание: «Не давайте денег русскому правительству!»

«Когда правительство теряет доверие народа, но не уступает ему своей власти, — оно становится только политической партией...

Партия, именующая себя русским правительством, все-таки еще может опереться на армию, но она уже и теперь не имеет денег для борьбы с народом. И вот она обращается к Европе. Европа говорит:

«Сначала я хочу видеть у вас порядок, потом я вам дам денег...»

Под давлением необходимости иметь деньги русские власти устраивают гнуснейшую комедию народного представительства...

Не давайте ни гроша денег русскому правительству! Оно не имеет связи с народом, миллионы сердец уже осудили его на гибель...

Не делайте исторического преступления, еще никем не сделанного, — преступления бессмысленного столь же, как и позорного.

Не давайте Романовым денег на убийства...» *(XXIII, 382—385)*.

Агитируя против займа царскому правительству, Горький основывался на большевистской оценке политической роли внешних займов. В. И. Ленин еще в марте 1905 года писал, что европейский капитал ставит русскому самодержавию ультиматум, побуждая его на уступки либералам.

«Они хотят умеренного и аккуратного буржуазно-конституционного (или якобы конституционного) порядка в России» *.

В письме Анатолю Франсу, опубликованном во Франции, Горький говорит:

«Выборы в Думу открыто и нагло фальсифицируются — ведь Дума нужна правительству лишь для того, чтобы Европа дала ему денег на продолжение борьбы с народом» *(XXIII, 390)*.

Америка встретила Горького с большим интересом. Навстречу пароходу с берега выехал катер, наполненный журналистами и репортерами буржуазных газет. Приезд великого русского писателя в Нью-Йорк они постарались изобразить как очередную газетную сенсацию, оставив без внимания политические цели, ради которых Горький совершил это путешествие через океан.

Иначе встретили писателя представители демократических сил страны.

Тотчас же по приезде начались митинги, на которых выступал Горький, в Нью-Йорке, в Бостоне, в Филадельфии.

На первом же митинге в Нью-Йорке было собрано тысяча двести долларов, как сообщил Горький в письме Л. Б. Красину.

Но успех агитации Горького всячески подрывали агенты реакционной американской буржуазии, действовавшие в союзе с царским правительством.

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 8, стр. 243.

В кампании против Горького активное участие приняли эмигранты социалисты-революционеры.

Еще до приезда Горького чиновники иммиграционного управления совместно с русским посольством старались подвести писателя под американский закон, воспрещающий «анархистам» въезд на территорию Соединенных Штатов. Это им не удалось, потому что трудно было Горького счесть «анархистом». Однако посольство не переставало усердствовать.

И. П. Ладыжникову Горький писал:

«Посольство российское настаивает в Вашингтоне на необходимости выслать меня из Америки, сыщиков здесь — безумно много! — получаю письма, написанные недурно по-русски, с предварением, что буду убит. Это свидетельствует, что я буду иметь успех все-таки» *(XXVIII, 427)*.

Вражеская агентура усердно и всевозможными способами занялась компрометацией Горького в буржуазных кругах.

Е. П. Пешковой Горький писал:

«Дело вот в чем: русское посольство в Нью-Йорке подкупило *одну* из здешних, довольно влиятельных, газет, и она подняла в *уличной* американской прессе шум».

К свистопляске буржуазной прессы присоединились и владельцы отелей, изгнавшие великого писателя. Поднятой травлей американские капиталисты и российское посольство надеялись на вынужденный отъезд Горького.

«Уступать — не буду. Или — меня вышлют насильно, или я уеду отсюда победителем, хотя бы пришлось прожить здесь год... Ничего! Крепок татарин — не изломится, жиловат, собака, не изорвется» [34].

Горький проявил величайшее мужество перед травлей капиталистов и ханжей. «Буржуазная пресса печатает статьи, в которых уверяет публику, что я анархист и меня надо в шею через океан» *(XXVIII, 427)*.

После изгнания из отелей, очутившись со своими

спутниками ночью на улице, Горький вспомнил, что поблизости было нечто вроде клуба писателей, где он недавно обедал в компании молодых литераторов и во главе со старейшим писателем Марком Твеном.

Клуб приютил его, там квартировало несколько начинающих писателей.

«Вечерами, в обширном вестибюле «клуба», перед камином, собирались молодые писатели, приходили репортеры, я рассказывал им о русской литературе и революции, о Московском восстании... Газетчики слушали, записывали и, вздыхая, говорили с явным сожалением:

— Это дьявольски интересно, но — не для наших газет...»

Горький спрашивал, почему они не могут сообщить в своих газетах правду о Московском восстании — «событии, которое, возможно, характеризует все будущее нового века». Журналисты объяснили Горькому свою полную зависимость от хозяев-капиталистов и свою погоню за личными скандалами ради хорошей рекламы-сенсации.

Эти беседы дали Горькому повод сказать, что он неплохо знает американских работников печати.

Всегда восторженно принимали Горького рабочая аудитория и население негритянских кварталов в крупных городах Америки.

Работа Горького-агитатора не прерывала работы его как художника. Первое впечатление от Нью-Йорка Горький выразил в очерке «Город Желтого Дьявола», которым начинается его великолепная публицистическая сюита «В Америке».

И нужно сказать, что в русской и мировой литературе впервые Горьким показаны американский капитализм и американская «культура» — опора империализма, показаны с потрясающей силой обличения их эксплуататорской сущности, с презрением, с пролетарской ненавистью к представителям капитализма в его наивысшей стадии развития.

Удивительна сила и острота художественного зрения Горького, сумевшего под внешним блеском разглядеть человеконенавистническую, звериную сущ-

ность американской буржуазной культуры, ее лживость и лицемерие.

«Кажется, что где-то в центре города вертится со сладострастным визгом и ужасающей быстротой большой ком Золота, он распыливает по всем улицам мелкие пылинки, и целый день люди жадно ловят, ищут, хватают их... Ком Золота — сердце города. В его биении — вся жизнь, в росте его объема — весь смысл ее. Для этого люди целыми днями роют землю, куют железо, строят дома, дышат дымом фабрик, всасывают порами тела грязь отравленного, больного воздуха... Это скверное волшебство усыпляет их души, оно делает людей гибкими орудиями в руке Желтого Дьявола, рудой, из которой он неустанно плавит Золото, свою плоть и кровь».

Этот центральный образ памфлета как бы символизирует собой всю капиталистическую Америку.

В другом очерке — «Царство скуки» — показано место воскресных увеселений. Здесь толпа смотрит на зрелища, которые в этом городе имеют одну цель: научить ее жить на земле смирно и послушно законам хозяев-капиталистов...

Отвлеченный другими задачами, Горький не написал всех задуманных им очерков «В Америке». Сбор денег на русскую революцию не удался из-за интриг реакционной буржуазии в предполагаемом масштабе, — было собрано всего около десяти тысяч долларов. Но за это время — в Америке — Горький написал «Мать».

Написал он также пьесу «Враги» и серию сатирических памфлетов «Мои интервью».

В одном из этих памфлетов, возвращаясь к Америке, он ведет «интервью» с миллионером. В образе миллионера («Один из королей республики») Горький последовательно, с глубоким презрением раскрывает идеологию американских магнатов капитала.

Мы видим «короля республики» и слышим его откровенные речи о науке, философии, религии, искусстве.

Указывая на превосходство Америки, как страны доллара, миллионер говорит: «Американцы — луч-

шие люди земли. У них больше всего денег. Никто не имеет столько денег, как мы. Поэтому к нам скоро приедет весь мир...»

От доллара к мировой гегемонии — на этот бредовый путь американских капиталистов указывал еще Горький.

О социалистах миллионер говорит не менее развязно:

«У хорошего правительства не должно быть социалистов. В Америке они родятся. Значит люди из Вашингтона не вполне ясно понимают свои задачи. Они должны лишить социалистов гражданских прав».

Теперь американские капиталисты, преследующие Компартию США, стремятся всерьез лишить коммунистов гражданских прав.

О неграх миллионер говорит так же развязно:

«Мы линчуем негра, лишь только узнаем, что он жил с белой, как с женой. Сейчас его за шею веревкой и на дерево... без проволочек! Мы очень строги, если дело касается морали...»

Такой беспощадной сатирой клеймил Горький американских капиталистов.

Буржуазная пресса, не добившись высылки Горького, бесчинствовала.

«Теперь они снова начали ругать меня в газетах, — писал Горький в одном из писем, — я напечатал в одном здешнем журнале статью о Нью-Йорке, озаглавив ее «Город Желтого Дьявола». Не понравилось... Желтая пресса неистовствует. На ворота дома, где я живу, наклеивают наиболее резкие выходки против меня» *(XXVIII, 433—435)*.

В мае 1906 года пришло сообщение о том, что царское правительство добилось, наконец, согласия на заем во Франции.

Ленин писал об этом:

«...Кадеты *помогли* правительству в 1906 г. весной занять два миллиарда франков на расстрелы, военно-полевые суды и карательные экспедиции» *.

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 12, стр. 275.

Горький ответил памфлетом, в котором сопоставлял традиционное представление русской интеллигенции о Франции, как носительнице свободы и культуры, с представлением о ней — пособнице душителей русской революции.

«Франция! Это милое слово звучало для всех, кто честен и смел, как родное имя страстно любимой невесты. Сколько великих людей в прошлом твоем! Твои битвы — лучшие праздники народов, и страдания твои — великие укоры для них.

Сколько красоты и силы было в твоих поисках справедливости, сколько честной крови пролито тобой в битвах ради торжества свободы!..

Жадность к золоту опозорила тебя, связь с банкирами развратила честную душу твою, залила грязью и пошлостью огонь ее...

Великая Франция, когда-то бывшая культурным вождем мира, понимаешь ли ты всю гнусность своего деяния?

Твоя продажная рука на время закрыла путь к свободе и культуре целой страны... Твоим золотом прольется снова кровь русского народа.

Пусть эта кровь окрасит в красный цвет вечного стыда истасканные щеки твоего лживого лица!..

Прими и мой плевок крови и желчи в глаза твои!»

Памфлет Горького вызвал целую бурю протестов во французских буржуазных газетах. Профессора, журналисты, государственные деятели наперерыв спешили выразить негодование и возмущение революционером, столь непочтительно отозвавшимся об их стране.

Ведь французы, писали они, восхищались сочинениями Горького, хлопотали о нем, чтобы освободили его из тюрьмы, любили его, а он, Горький, ответил такой неблагодарностью! Один журналист даже утверждал, что он уплатил пятьдесят франков за кресло, чтобы посмотреть пьесу «На дне».

На все эти жалобы Горький ответил статьей «Открытое письмо господам Ж. Ришару, Жюлю Кларети, Рене Вивиани и другим журналистам Франции».

«Я познакомился с гейзерами красноречия, которые вызвала из ваших чернильниц моя статья о займе, данном правительством и финансистами Франции Николаю Романову на устройство в России кровавых экзекуций, военно-полевых судов и всевозможных зверств, я познакомился с вашими возражениями мне и — не поздравляю вас!..

Вы говорите: «Мы встали на защиту Горького, когда он сидел в тюрьме, а он...»

«Я был добр к тебе — ты должен за это заплатить мне благодарностью!» — вот что звучит в ваших словах. Но я не чувствую благодарности и доброту вашу считаю недоразумением...

Ибо мы — враги, и — непримиримые, я уверен...

Надеюсь, что эти строки вполне точно и навсегда определят наши отношения» *(XXIII, 408—409)*.

А в другом «письме»-ответе французскому историку Олару Горький объясняет:

«Вы ошибаетесь, видимо, полагая, что я бросил мой упрек в лицо всей Франции. Зачем считать меня наивным. Я знаю, что народ никогда не ответственен за политику командующих классов и правительства, послушного лакея их...

Я говорил в лицо Франции банков и финансистов, Франции полицейского участка и министерств, я плюнул в лицо той Франции, которая плевала на Э. Золя, той, которая утопила в страхе перед королем Пруссии и жрецом всяческой глупости все свои рыцарские чувства и ныне живет только трепетом за свой покой и целость франков...

Русская революция будет развиваться медленно и долго, но она кончится победой народа...

Я уверен, что русский народ не возвратит банкирам Франции займов, уже оплаченных им своей кровью.

Не возвратит» *(XXIII, 407)*.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

После таких выступлений, после того, как Горький неоднократно демонстрировал свою принадлежность к партии социал-демократов большевиков, обратный путь в Россию был для него, конечно, закрыт. Он едет в Италию.

Итальянцы радостно встречают Горького на улицах толпами, незнакомые ему люди приветствуют его, жмут руки. В Неаполе был организован митинг, на котором произносились приветствия Горькому.

В одной итальянской газете приводится заключительное слово Горького на митинге:

«Когда говорят о моей революционной деятельности, я чувствую себя взволнованным и смущенным, потому что в большой революционной русской армии — я только рядовой. Принимая ваши приветствия, как адресованные революционной России, я благодарю вас за себя, за мою родину, и от имени всего мирового пролетариата» *(XXIII, 456)*.

А в письме к Е. К. Малиновской Горький писал:

«Наша Родина — хорошая страна, знаете? И теперь она именно играет первую скрипку в мировом концерте, будет играть ее долго и так же — верю!— хорошо, как начала» *(XXVIII, 444)*.

Горький, поселившись на острове Капри, становится политическим эмигрантом.

Нарастание реакции все более сужало возможности общения его с русским читателем. Ряд рассказов вовсе не мог быть напечатан в России: «9-е января»,

памфлет «Русский царь», «Из повести» — агитация среди солдат, «Патруль».

Рассказ «Патруль» является отражением декабрьского восстания: темные дома, костры на улицах и солдаты-убийцы, испуганные, не понимающие ничего из того, что происходит.

Повесть «Жизнь ненужного человека», изображающая деятельность органов охранки, была допущена к печати только на одну треть. По началу повести читатели не могли составить даже представления о вещи в целом.

Пьеса «Последние», в которой показаны слуги полицейского режима самодержавия, была напечатана, но к представлению запрещена.

Пьеса «Враги» тоже была к представлению на сцене безусловно запрещена.

В своих воспоминаниях Горький говорит, что он некоторое время не понимал, что социальные противоречия жизни должны быть развиты до конца. Можно сказать, что в пьесе «Враги» с замечательной правдивостью и блеском впервые показаны противоречия русской жизни, развитые до конца.

Впервые в русской и в мировой литературе были показаны лица, которые дошли «до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы» с «хозяевами жизни». Конец надеждам на гуманность «хозяев жизни», конец крестьянским «ходателям» к правительству, конец просьбам рабочих к «милостивцам», конец того, что Ленин называл «историческим грехом толстовщины» *.

Вот классическое по простоте место во «Врагах» — разговор рабочих Левшина и Ягодина с Надей, племянницей одного из директоров завода.

«*Надя.* А дядя?.. Он — добрый? Или он... тоже обижает вас?

Левшин. Мы этого не говорим...

Ягодин (угрюмо). Для нас все одинаковы. И строгие, и добрые...

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 16, стр. 323; т. 15, стр. 184, 186.

Левшин (ласково). И строгий — хозяин, и добрый — хозяин... болезнь людей не разбирает... Дядюшка ваш, барышня, мужчина хороший... Только нам... от красоты его не легче...»

Рабочие очень просто и точно говорят ту правду, которую они узнали, которую выстрадали.

Они показаны в пьесе как коллектив, который все более сплачивается под влиянием большевистской партии. Руководит рабочими большевик Синцов, посланный партией. Вся пьеса динамична. В первом действии происходит убийство директора, рабочие хотят сжечь завод, но Синцов направляет их борьбу против анархизма по-большевистски, и вся пьеса идет с подъемом борьбы пролетариев против капиталистов. Пьеса является отражением событий первой русской революции 1905 года *.

В одном из писем конца 1905 года Горький писал:

«Правда проста. Все великое просто. Народ прост, как небо. С ним нужно говорить хорошими, твердыми словами...» [35]

Такой правде — простой, как небо, — посвящен роман Горького «Мать».

Эта широкая картина революционного рабочего движения в России дана не только по впечатлениям и наблюдениям Горького в Нижнем и Сормове начала 900-х годов, но и на основе его глубокого изучения жизни всей страны.

В этом романе Горький показывает, как рядовой рабочий парень, Павел Власов, постепенно превращается в стойкого революционера, большевика, как поднимается рабочая масса, показывает большевист-

* Б. В. Михайловский в статье о «Врагах» («Драматургия М. Горького эпохи первой революции», 1951 г., стр. 157—158) доказывает, что события на Орехово-Зуевских мануфактурах Морозовых послужили прообразом событий пьесы. Так, в феврале 1905 года был убит директор Назаров, потом были крупные забастовки, во время которых рабочие настаивали на увольнении мастера Горева. В ходе борьбы дирекция применила локаут, ходили слухи, что рабочие хотели взорвать прядильню. На некоторых этапах борьбой руководил социал-демократический комитет.

ское подполье, показывает, как растут и множатся его кадры. Написанная после поражения революции 1905 года, «Мать» явилась пророчеством Горького, указывающим на близость победы социалистической революции в России.

Центральным образом романа является мать Власова — простая женщина, забитая мужем, опутанная религиозными предрассудками. Но чуткость и душевное богатство ее трогательно проявляются в заботах о сыне, а классовое сознание пробуждается в ней с огромной силой, когда она видит, что арестовывают сына и друзей его. Впоследствии она сама смело и решительно вступает на путь революционной большевистской борьбы и продолжает дело сына.

Художник Горький нашел образ революции 1905 года в русской простой женщине, жене и матери рабочего, и этот образ стал сильнейшим образом мировой литературы.

В письме к Е. П. Пешковой осенью 1906 года, во время работы над «Матерью», Горький так писал об одной не вошедшей в роман сцене:

«Впоследствии, когда ее будут судить за ее деятельность, она скажет речь, в которой обрисует весь мировой процесс, как шествие *детей* к правде» *(XXVIII, 435).*

Эта вера матери в торжество *правды* является одним из элементов социалистического реализма.

13 ноября 1905 года В. И. Ленин поместил в «Новой жизни» статью «Партийная организация и партийная литература», в которой призывал:

«Долой литераторов беспартийных! Долой литераторов сверхчеловеков! Литературное дело должно стать *частью* общепролетарского дела... составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы» *.

Ленин разоблачал «свободу» буржуазного писателя, зависимого от денежного мешка, от подкупа, и призывал к созданию действительно свободной, *открыто* связанной с пролетариатом литературы.

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 10, стр 27.

«Это будет свободная литература, потому что она будет служить не пресыщенной героине, не скучающим и страдающим от ожирения «верхним десяти тысячам», а миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность» *.

Нельзя не видеть, что откликом на эти слова Ленина явилась работа Горького над романом.

«Мать» действительно обращена к пролетариату, к миллионам трудящихся, «которые составляют цвет страны, ее силу, ее будущность».

Прообразом Павла Власова в известной мере послужил рабочий П. А. Заломов, один из руководителей сормовской партийной организации, а прообразом Ниловны — его мать, работавшая в организации, развозившая литературу и исполнявшая ряд других ответственных и сопряженных с опасностями поручений.

Демонстрация, описанная в романе, имеет источником своим знаменитую первомайскую демонстрацию в Сормове 1902 года, события тех дней, когда Горький, возвращаясь из Крыма для следования в арзамасскую ссылку, жил на перепутье в Нижнем.

Горький принимал активное участие в организации судебной защиты демонстрантов. 14 октября 1902 года он выпустил прокламацию по поводу суда над участниками демонстрации 1 Мая.

Но исторические лица и события послужили лишь канвой для создания художественного произведения, имевшего мировое пропагандистское значение и воплотившего в образах русских революционеров такую пламенную страстность, такую нравственную высоту, такие подвиги самоотвержения, такую преданность свободе и родине, что с этого времени знамя русского рабочего, его борьбы и его славы завоевало высокое признание.

В статье «О национальной гордости великороссов» Ленин писал:

«Мы гордимся тем... что великорусский рабочий

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 10, стр. 30—31.

класс создал в 1905 году могучую революционную партию масс... Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация... доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм...» *

Эта гордость творческими силами русского народа воплощена и в художественных образах романа Горького.

Впервые в русской литературе показан рабочий как будущий хозяин своей страны, как создатель ее истории.

Но не только рабочие показаны в романе.

Крестьянское движение, расслоение деревни широко изображены Горьким. Деревенские бедняки начинают чувствовать, что рабочие не враги им, а руководители. Крестьянин Рыбин, временно работающий на фабрике, проникается идеями рабочих, идет в деревню с пропагандой революции. «Рыбиных очень много перевешал министр Столыпин в 907—8 годах; из Рыбиных вышли партизаны гражданской войны», — писал Горький *(XXX, 206)*.

Ленин, говоря в 1909 году о том, что Горький «крепко связал себя своими великими художественными произведениями с рабочим классом России и всего мира», несомненно, в первую очередь имел в виду вышедший незадолго до этого роман «Мать».

Уже по выходе первых трех сборников «Знания», содержавших только первую часть «Матери», Петербургский комитет по делам печати, наложив на сборники арест, обратился 3 августа 1907 года к прокурору судебной палаты с просьбой возбудить судебное дело против Горького по обвинению его «в распространении сочинения, возбуждающего к совершению тяжких преступных деяний, вражду со стороны рабочих к имущим классам населения, подстрекающего к бунту и совершению бунтовщических деяний».

В связи с этим печаталась в «Ведомостях СПБ градоначальства» курьезная публикация:

«По обвинению СПБ Окружного суда отыскивается

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 21, стр. 85.

нижегородский цеховой малярного цеха мастер Алексей Максимович Пешков (Максим Горький), обвиняемый по 1 и 4 пп. 129, 73 и 132 ст.ст. Угол. уложения».

Публикация была комична тем, что пребывание «нижегородского цехового» на Капри было известно всему миру.

На судьбе романа возбуждение этого «дела» отразилось тем, что последующие сборники «Знания» были сильнейшим образом урезаны, исключены целые сцены: пропаганда Рыбина в деревне и истязание его полицией, суд над Власовым и его товарищами и т. д.

Но и в таком урезанном виде отдельным изданием «Мать» появиться не могла — впервые роман издан в России только после свержения самодержавия, в 1917 году.

В. И. Ленин прочел роман еще до появления его в печати.

Горький так вспоминает свою встречу с Лениным на V Лондонском съезде партии и разговор по поводу «Матери», когда Ленин, «ласково поблескивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать». Оказалось, что он прочитал ее еще в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова.

«Я сказал, что торопился написать книгу, но — не успел объяснить, почему торопился, — Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга—нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя... Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала — поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом...» *(XVII, 7)*.

Уже после публицистических выступлений 1906 года отношение к Горькому в буржуазных кругах Запада резко меняется, появление «Матери», конечно,

усилило этот процесс. Зато ее появление создало Горькому устойчивую и обширную рабочую аудиторию.

По словам А. Луначарского, «рабочая пресса, главным образом немецкая, да отчасти французская и итальянская, подхватила эту повесть и разнесла ее в виде приложений к газетам или фельетонов буквально в миллионах экземпляров. Для европейского пролетариата «Мать» сделалась настольной книгой».

О русском рабочем читателе и говорить не приходится. Редкий экземпляр зарубежного издания, проскользнувший через границу, или вырезки из сборников «Знания» зачитывались до износа, переходили из рук в руки, как драгоценность.

Роман стал огромной исторической важности документом революционной пропаганды. В России во время отлива революционной волны этот роман имел особое значение: читатель, подавленный столыпинской реакцией, приобретал в романе дух бодрости, уверенность в победе.

Что касается интеллигенции, в частности писательской, Горький обрушивается на нее с яростью, с бешенством. Сейчас трудно представить себе, каков был поворот у русской буржуазно-демократической интеллигенции после поражения первой революции. Многие писатели изменили демократическим принципам.

Л. Андреев с его рассказом «Тьма», Сологуб с его романом «Творимая легенда», Арцыбашев с его повестью «Санин», Куприн с рассказом «Морская болезнь» и т. д. — все это бесновалось, с радостью и увлечением ругая революцию, призывая к беспринципности и эротике.

Горький пишет К. П. Пятницкому:

«Каждый день приносит какой-либо сюрприз — «Суламифь» Куприна, стихи «модернистов», интервью Леонида... * статьи Изгоева и других ренегатов — каждый день кто-нибудь встает перед тобой голый

* Андреева. — *И. Г.*

и весь в гнилых язвах... Хочется орать, драться с этой сволочью, хочется топтать ногами эти «неустойчивые психики»... Кажется, что все пьяны, сошли с ума» *(XXIX, 57)*.

И когда Пятницкий без ведома Горького поместил в сборнике рассказ Куприна «Ученик», Горький пишет ему:

«Я решительно против... литературы, «услужающей» обывателю-мещанину, который желает и требует, чтобы Куприны, Андреевы и прочие талантливые люди закидали и засыпали вчерашний день всяким хламом, чтобы они избавили обывателя от страха перед завтрашним днем».

Какая сила публицистического темперамента была у Горького, видно по такому его объяснению своего состояния в одном из следующих писем:

«У меня, видимо, развивается хроническая нервозность, кожа моя становится болезненно чуткой, — когда дотрагиваешься до русской почты, пальцы невольно сжимаются в кулак и внутри груди все дрожит — от злости, презрения, от предвкушения неизбежной пакости... Дело в том, что я люблю русскую литературу, люблю страну и верю в ее духовные силы. Это — большая любовь» *(XXIX, 64, 76)*.

В ряде статей Горький изливает свое негодование и возмущение писателями-ренегатами.

Живя за границей, он работает, связанный с партией.

В Лондоне, на V съезде партии, Горький присутствует в качестве делегата-большевика с совещательным голосом.

В своих воспоминаниях он так писал о речи Ленина на съезде:

«...Поспешно взошел на кафедру Владимир Ильич, картаво произнес слово «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощен» его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто...

Его рука, протянутая вперед и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое

слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путем, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией, — все это было необыкновенно и говорилось им, Лениным, как-то не от себя, а, действительно по воле истории» *(XVII, 13)*.

Вернувшись на Капри, Горький писал И. П. Ладыжникову:

«Съезд меня ужасно хорошо начинил! Многое темное стало ясным, психология меньшевизма понятна и удивительно поучительна» *(XXIX, 20)*.

Встречи М. Горького с В. И. Лениным на съезде послужили началом тесного сближения между ними.

«Не помню, — пишет Н. К. Крупская, — встречался ли Ильич с Горьким до Лондонского съезда, но, начиная с Лондонского съезда, на котором присутствовал Горький, у Ильича всегда светлело лицо и мягчели глаза, когда он говорил о Горьком» [36].

2

До конца 1907 года Ленин руководил партийной работой в России, находясь вблизи Петербурга, в Финляндии. Царские ищейки искали его. С громадной опасностью, пробираясь по льду, Ленину удалось в декабре 1907 года снова перейти за границу, в эмиграцию.

По приезде в Женеву Ленин застал письмо Горького, усиленно зовущего его на Капри.

«Очень обрадовало меня Ваше письмо, — отвечал Ленин, — действительно, важно было бы закатиться на Капри! Непременно как-нибудь улучу время, чтобы съездить к Вам. Но теперь, к сожалению, невозможно. Приехали мы сюда с поручением поставить газету: перенести сюда «Пролетарий» из Финляндии. Еще не решено окончательно, Женеву ли мы выберем, или другой город. Во всяком случае надо спешить, и возни с новым устройством масса» *.

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 34, стр. 323.

Тогда же возникает мысль о постоянном сотрудничестве Горького в органе большевиков — «Пролетарии».

2 февраля 1908 года Ленин пишет Горькому из Женевы:

«В сотрудники ставим Вас. Черкните пару слов, могли ли бы Вы дать что-либо для первых номеров (в духе ли *заметок о мещанстве из «Новой Жизни»* или отрывки из повести, которую пишете, и т. п.)» *.

А Луначарскому, жившему тогда на Капри, Ленин пишет замечательное письмо, которое показывает, как высоко ценил он работу Горького для партии и в то же время как тщательно, с какой великою ленинской заботой оберегал он его писательский труд.

«Ваш проект беллетристического отдела в *«Пролетарии»* и поручения его А. М—чу превосходен и меня необычно радует. Я именно мечтал о том, чтобы *литературно-критический* отдел сделать в *«Пролетарии»* постоянным и поручить его А. М — чу. Но я *боялся,* страшно боялся прямо предлагать это, ибо я *не знаю* характера работы (и работосклонности) А. М — ча. Если человек занят серьезной большой работой, если этой работе повредит отрыванье на мелочи, на газету, на публицистику, — тогда было бы глупостью и преступлением мешать ему и отрывать его!» **

Сотрудничество Горького в «Пролетарии», однако, не осуществилось главным образом вследствие возникших философских разногласий. Некоторые партийные литераторы (А. Богданов, А. Луначарский и другие) уклонились от научного диалектического материализма и перешли на почву философского идеализма.

Горький прислал в редакцию «Пролетария» статью, затрагивавшую именно эту тему.

Ленин, будучи в корне не согласен с новым философским течением, настаивал на том, чтобы «Пролетарий», как орган большевистской фракции, временно

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 34, стр. 328.

** Там же, стр. 333.

сохранил по отношению к этим вопросам нейтралитет и отделил философские споры от партийной работы.

На этом основании он высказался против помещения в таком виде статьи Горького в «Пролетарии».

«Мы свое фракционное дело, — писал он Горькому, — должны вести попрежнему дружно: в той политике, которую мы вели и провели за время революции, никто из нас не раскаивался. Значит, наш долг *отстаивать* и отстоять ее перед партией. Это сделать мы можем только все вместе и должны это сделать в *«Пролетарии»* и во всей партийной работе» *.

Сохранить единство, однако, и в практической партийной работе не оказалось возможным; отход богдановцев от большевизма отразился и на вопросах тактики. Единомышленники Богданова выдвинули требование отзыва социал-демократических депутатов из Государственной думы и перехода исключительно на нелегальную деятельность, тогда как Ленин строил тактику большевизма на целесообразном сочетании легальной и нелегальной работы.

В то же время Богданов, Луначарский и другие при ближайшем содействии и помощи Горького приступили к организации на Капри школы, в которой посланные из России по выбору местных партийных организаций рабочие могли бы получать подготовку для квалифицированной партийной работы.

Идея такого «партийного университета» встретила горячий отклик у приехавшего из России Н. Е. Вилонова («Михаила»).

«Вилонов, — писал Горький, — был рабочий, большевик; несколько раз сидел в тюрьме; после 1906 года тюремщики, где-то на Урале, избили его и, бросив в карцер, облили нагого, израненного, круто посоленной водой. Восемь дней он купался в рассоле, валяясь на грязном, холодном асфальте; этим и было разрушено его могучее здоровье» *(XVII, 83)*.

Неутомимый организатор, Вилонов, едва оправившись несколько на Капри от своей болезни, принялся

* В. И. Ленин, Соч., т. 34, стр. 344.

за организацию школы и сам нелегально отправился в Россию за рабочими.

К лету 1909 года он навербовал слушателей, выбранных партийными организациями в разных концах России, и тогда же начались занятия.

Но так как лекторами школы в большинстве были или «отзовисты», или сочувствующие им, то она, естественно, становилась пропагандистским и организационным центром новой фракции.

Поэтому среди других резолюций расширенной редакции «Пролетария» Лениным была предложена и резолюция «О партийной школе, устраиваемой за границей в NN».

Резолюция подчеркивала, что «большевистская фракция никакой ответственности за школу нести не может».

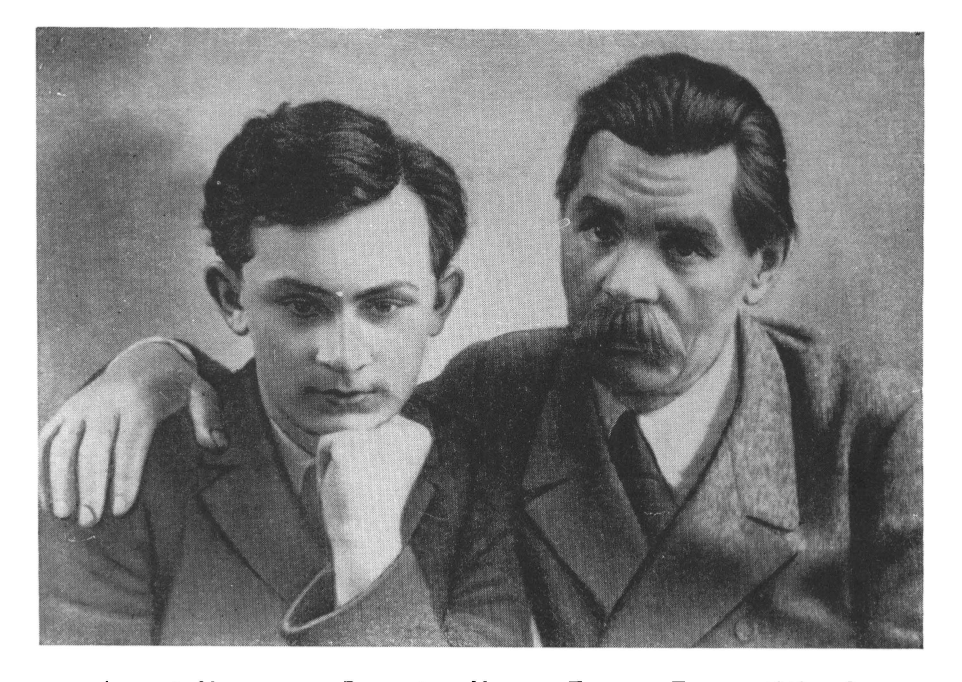
В школе возник раскол. Среди слушателей образовалась группа ленинцев, которая, после мотивированного отказа Ленина приехать на Капри прочесть лекции, сама отправилась к нему в Париж, куда он к тому времени переехал из Женевы.

С этой группой по соглашению с Горьким поехал к Ленину и Вилонов.

Горький, которому чужды были узкофракционные цели сторонников Богданова и который смотрел на школу прежде всего, как на общее дело большевиков, тяжело переживал возникшие разногласия.

Ленин после свидания с приехавшим в Париж Вилоновым, 16 ноября 1909 года, под непосредственным впечатлением рассказов последнего в тот же день пишет Горькому сердечное и ободряющее письмо:

«Я был все время в полнейшем убеждении, что Вы и тов. Михаил — самые твердые фракционеры новой фракции, с которыми было бы нелепо мне пытаться поговорить по-дружески. Сегодня увидал в первый раз т. Михаила, покалякал с ним по душам и о делах и о Вас и увидел, что ошибался жестоко. ...Я рассматривал школу *только* как центр новой фракции. Оказалось, это неверно — не в том смысле, чтобы она не была центром новой фракции (школа была этим центром и состоит таковым сейчас),



Алексей Максимович Горький и Максим Пешков. Париж, 1912 год.



В. И. Ленин и А. М. Горький на II конгрессе Коминтерна. Петроград, 1920 год.

а в том смысле, что это неполно, что это не вся правда. Субъективно некие люди делали из школы такой центр, объективно была она им, а кроме того школа черпнула из настоящей рабочей жизни настоящих рабочих передовиков. Вышло так, что кроме противоречий старой и новой фракции на Капри развернулось противоречие между частью с.-д. интеллигенции и рабочими-русаками, которые вывезут социал-демократию на верный путь *во что бы то ни стало* и что бы ни произошло, вывезут вопреки всем заграничным склокам и сварам, «историям» и пр. и т. п. ...

Из слов Михаила я вижу, дорогой А. М., что Вам теперь очень тяжело. Рабочее движение и социал-демократию пришлось Вам сразу увидать с такой стороны, в таких проявлениях, в таких формах, которые не раз уже в истории России и Западной Европы приводили интеллигентских маловеров к отчаянию в рабочем движении и в социал-демократии. Я уверен, что с Вами этого не случится, и после разговора с Михаилом мне хочется крепко пожать Вашу руку. Своим талантом художника Вы принесли рабочему движению России — да и не одной России — такую громадную пользу, Вы принесете еще столько пользы, что ни в каком случае непозволительно для Вас давать себя во власть тяжелым настроениям, вызванным эпизодами заграничной борьбы. Бывают условия, когда жизнь рабочего движения порождает неминуемо эту заграничную борьбу и расколы и свару и драку кружков, — это не потому, чтобы рабочее движение было внутренне слабо или социал-демократия внутренне ошибочна, а потому, что слишком разнородны и разнокалиберны те элементы, из которых приходится рабочему классу выковывать себе свою партию. Выкует во всяком случае, выкует превосходную революционную социал-демократию в России, выкует скорее, чем кажется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения, выкует вернее, чем представляется, если судить по некоторым внешним проявлениям и отдельным эпизодам» *.

* В. И. Ленин, Соч., т. 34, стр. 353—354.

Между тем отход Богданова и его группы от большевистской фракции породил в буржуазной печати много сплетен, в частности об отношении большевиков к Горькому и об исключении его из партии.

«Пролетарий» ответил на это 11 декабря 1909 года специальной заметкой «Басня буржуазной печати об исключении Горького», написанной Лениным и кончавшейся указанием на цель сплетнической кампании:

«Буржуазным партиям *хочется,* чтобы Горький вышел из социал-демократической партии. Буржуазные газеты из кожи лезут, чтобы разжечь разногласия внутри социал-демократической партии и представить их в уродливом виде.

Напрасно стараются буржуазные газеты. Товарищ Горький слишком крепко связал себя своими великими художественными произведениями с рабочим движением России и всего мира, чтобы ответить им иначе, как презрением» *.

Когда в апреле 1908 года Ленин был на Капри, Горьким была уже написана (но еще не опубликована) повесть «Исповедь», которой автор и в области художественной литературы выразил некоторое сочувствие философским тенденциям Богданова, Базарова и Луначарского. В повести нашли отражение идеи «богостроительства» в том направлении, какое давал им Луначарский в своих публицистических работах.

В течение полутора лет после этого между Горьким и Лениным не было переписки до того времени, как 16 ноября 1909 года Ленин, узнав о подавленном состоянии Горького после развала школы на Капри, пишет ему ободряющее письмо.

И в следующем письме Ленин разъясняет Горькому «мертвую тактику» богдановцев, тактику «хранения (в консервах) революционных *слов* 05—06 года вместо применения революционного *метода* к новой, иной обстановке, к измененной эпохе,

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 16, стр. 89.

требующей иных приемов и иных форм организации...» *

Эти письма Ленина оказали решающее влияние на связи Горького с «отзовистами», пробили, видимо, настоящую брешь в этих отношениях.

27 марта 1910 года Ленин пишет Вилонову:

«С Горьким переписки нет. Слышали, что он разочаровался в Богданове и понял фальшь его поведения. Есть ли у Вас вести с Капри?» **

Но как раз в эти дни Горький и возобновляет дружескую переписку с Лениным.

Письмо его от конца марта — начала апреля осталось нам неизвестным, но судя по тому, что в ответе своем Ленин дает подробные разъяснения партийных дел, можно заключить, что Горький писал Ленину именно с целью получить из первоисточника такие разъяснения.

Для Горького это было временем нового приближения к Ленину в силу живой и насущной потребности его руководства.

3

1 августа 1910 года Ленин пишет матери:

«Шлю большой привет из Неаполя. Доехал сюда пароходом из Марселя: дешево и приятно. Ехал как по Волге. Двигаюсь отсюда на Капри ненадолго» ***.

Горький вспоминает Ленина на Капри, как прекрасного товарища, веселого человека с живым и неутомимым интересом ко всему в мире. Эти дни были временем возобновления их тесного и дружеского общения.

«Он умел с одинаковым увлечением... удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскаленным солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 34, стр. 356.
** Там же, т. 34, стр. 363.
*** Там же, т. 37, стр. 385.

— А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и — почти все!» *(XVII, 29—30)*.

Но совершенно особый интерес для нас представляют каприйские беседы на литературно-идеологические темы. О характере этих бесед сохранились лишь отрывочные сведения.

22 ноября 1910 года Ленин пишет Горькому:

«Когда мы беседовали с Вами летом и я рассказал Вам, что совсем было написал Вам огорченное письмо об *«Исповеди»*, но не послал его из-за начавшегося тогда раскола с махистами, то Вы ответили: *«напрасно* не послали» *.

Впоследствии Ленин, указывая Горькому на запутанность его высказываний в связи со статьей его о Достоевском, пишет:

«По вопросу о боге, божественном и обо всем, связанном с этим, у Вас получается противоречие — то самое, по-моему, которое я указывал в наших беседах во время нашего последнего свидания на Капри: Вы порвали (или как бы порвали) с «впередовцами», не заметив идейных основ «впередовства» **.

Ленин указывает и на то, что есть в этой путанице высказываний Горького отголоски «Исповеди», которую сам Горький в беседе на Капри не одобрял.

Важный дополнительный материал о каприйских беседах дает письмо Горького Н. К. Крупской 16 мая 1930 года:

«Беседуя со мной на Капри о литературе тех лет, замечательно метко характеризуя писателей моего поколения, беспощадно и легко обнажая их сущность, он указал и мне на некоторые существенные недостатки моих рассказов, и затем упрекнул: «Напрасно дробите опыт Ваш на мелкие рассказы, Вам пора уложить его в одну книгу, в какой-нибудь большой роман». Я сказал, что есть у меня мечта написать историю одной семьи на протяжении 100 лет, с 1813 г., с момента, когда отстраивалась Москва и до наших дней. Родоначальник семьи — крестьянин,

* В. И. Ленин, Соч., т. 34, стр. 381. Под «махистами» и «впередовцами» В. И. Ленин разумеет группу Богданова.

** Там же, т. 35, стр. 92.

бурмистр, отпущенный на волю помещиком за его партизанские подвиги в 12 году, из этой семьи выходят: чиновники, попы, фабриканты, петрашевцы, нечаевцы, семи и восьмидесятники. Он очень внимательно слушал, выспрашивал, потом сказал: «Отличная тема, конечно — трудная, потребует массу времени, я думаю, что Вы бы с ней сладили, но не вижу: чем Вы ее кончите? Конца-то действительность не дает. Нет, это надо писать после революции, а теперь что-нибудь вроде «Матери» надо бы» [37].

Ленин отговаривает Горького от рассказанного им исторического сюжета, ориентируя его на политически актуальную вещь — «что-нибудь» вроде «Матери».

Мы знаем теперь, что эта мысль даже в более прямом ее понимании, — как непосредственное продолжение «Матери» — в течение нескольких лет творчески занимала Горького.

В 1907 году Алексей Максимович писал И. П. Ладыжникову:

«Составил план романа: «Павел Власов» — в трех частях: Ссылка. В работе. Революция» *(XXIX, 14)*.

Об этом же романе в письме В. Десницкому:

«...У меня были письма Заломова из ссылки, его литературные опыты, знакомства с рабочими обеих партий и с крупнейшими гапоновцами: Петровым, Иноковым, Черемохиным, Карелиным, впечатления Лондонского съезда, но всего этого оказалось мало. «Лето», «Мордовка», «Романтик», «Сашка», — можно считать набросками к «Сыну»...» [38]

Положение эмигранта отрывало Горького от материала; и если для «впередовцев» школа рабочих-партийцев на Капри была способом создать организационный центр новой фракции, то для Горького это было прежде всего средством общения с приехавшими из России рабочими, средством изучения необходимого ему материала.

На эту возможность общения с рабочими указывал ему и Ленин, когда, сообщая о предполагаемом приезде из России рабочих, приглашал Горького в Поронин:

«После Лондона и школы на Капри повидали бы еще рабочих» *.

Горькому все-таки не пришлось собрать материал для той темы, которую предлагал ему Ленин.

С рабочими, которых «впередовцы» вновь собрали в школу в Болонье, у Горького тоже не было связи. Когда Амфитеатров написал Горькому о своих отношениях с Богдановым, тот ответил:

«...Писать ему — я не могу, ибо давно уже отказался от всяких сношений и отношений с ним. И вообще с ними, но — с рабочими у меня есть отношения, хотя в школу я не поеду, о чем и заявил рабочим, указав причину: не хочу встречаться с людьми, неприятными мне» *(XXIX, 145)*.

Из писем Ленина видно, что Горький был в то время озабочен организацией большевистского толстого журнала. 14 ноября 1910 года Ленин запрашивал его в письме:

«Хорошо ли работается? Выходит ли что с журналом, о котором говорили летом?» **

Но для организации большевистского толстого журнала не хватало средств и издательских возможностей, а всякий блок с меньшевиствующими и так называемыми «радикальными», а по существу буржуазно-либеральными, элементами Ленин решительно отклонял.

У Горького было специальное свидание с Лениным по делам организации издательства и журнала.

После длительной беседы Горький условился, что зайдет к нему через день, но погода была плохая, вечером началось у него обильное кровохарканье, и на другой день он уехал.

То, что это свидание было весной 1911 года в Париже, следует из писем Ленина.

«Дорогой А. М., — писал Ленин во второй половине апреля. — Как здоровье? М. Ф. писала, что Вы *вернулись с кашлем* и проч. Надеюсь, поправились» ***.

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 71.

** Там же, т. 34, стр. 379.

*** Там же, т. 36, стр. 143. Курсив наш. — *И. Г.*

Откуда вернулся Горький? Естественно думать, что он вернулся из Парижа, где был Ленин.

В конце мая Ленин пишет из Парижа:

«Объединение наше с меньшевиками вроде Мартова *абсолютно* безнадежно, как я Вам здесь и говорил» *.

Организация большевистского издательства и толстого журнала не удавались.

Горький вынужден был печататься в сборниках «Знания», хотя видел, что издатель К. П. Пятницкий не способен придать им боевое направление. В сборниках напечатаны повести об уездной России — «Городок Окуров» и «Матвей Кожемякин».

«Городок Окуров» — книга о мещанстве как общественном слое. «...Мещанин, — говорил Горький в лекциях каприйской школы, — может быть назван мелким хищником, которому все — все равно и который, будучи по необходимости, строгим индивидуалистом, кроме себя и своих целей — ничего в жизни не видит» [39].

Жизнь Окурова показана в 1905 году, когда революционные события донеслись до него, взбаламутив тихий и сонный городок. У воинствующего окуровского мещанина Вавилы Бурмистрова «свобода» была равносильна хулиганству. Уездные Маякины, зажиточные мещане Кулугуров и Базунов настраивают Бурмистрова на выступление против взбаламученного городка и завершают это выступление побоищем.

Горький показал, как рождается от реакционного мещанства черносотенство, как уездные гнезда мещанской косности противопоставляют революции устойчивость своего быта.

С тех пор «окуровщина» стала нарицательным именем этой тупой, косной силы, сковывавшей старую Россию.

1909 год после первой русской революции был годом наибольшего упадка рабочего движения. Но уже

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 34, стр. 390. Курсив наш. — *И. Г.*

в ноябре следующего года Ленин в связи с демонстрациями студентов и рабочих пишет статью «Не начало ли поворота?», указывая на первые признаки «демократического подъема».

«Пролетариат начал, — писал он в следующей статье, «Начало демонстраций». — Демократическая молодежь продолжает. Русский народ просыпается к новой борьбе, идет навстречу новой революции» *.

В этот же год большевикам удалось осуществить издание еженедельной газеты «Звезда», первой легальной газеты большевиков после 1907 года. Она оказала громадное влияние на рабочих, организуя их вокруг себя.

В течение своего непродолжительного существования «Звезда» много раз подвергалась конфискациям и штрафам, выходила поэтому с перерывами. Горький поместил в «Звезде» ряд «сказок» из цикла «Сказки об Италии», и Ленин писал ему:

«Очень и очень рад, что Вы помогаете *«Звезде»*. Трудно нам с ней чертовски — и внутренние и внешние и финансовые трудности необъятны — а все же пока тянем».

В следующем письме Ленин пишет:

«Звезда» будет продолжаться либо еженедельная *либо в виде копейки ежедневной* **. Великолепными «Сказками» Вы очень и очень помогали «Звезде» и это меня радовало чрезвычайно...»

Ленин предлагает Горькому написать «майский листок» («Тряхните стариной — помните 1905-ый год...») и опять при этом возвращается к мысли о «Сказках»:

«Хорошо бы иметь *революционную* прокламацию в типе Сказок «Звезды» ***.

Сказки Горького, которые Владимир Ильич Ленин называл «великолепными», имеют эпиграф из Андерсена: «Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь».

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 16, стр. 327.

** Ленин имел в виду издание ежедневной газеты с ценой в одну копейку за номер. — *И. Г.*

*** В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 1.

Забастовка служащих в трамвае Неаполя, когда толпы бросались на рельсы, не пропуская вагоны; разбор по рукам детей забастовщиков в Генуе; матери — источник всепобеждающей жизни, дети их — социалисты, рабочие люди Италии, которые слышат правду по запаху, — ведь правда всегда пахнет трудовым потом, — вот сюжеты этих сказок.

«...Льется под солнцем живая, празднично-пестрая река людей, веселый шум сопровождает ее течение, дети кричат и смеются, не всем, конечно, легко и радостно, наверное, много сердец туго сжато темной скорбью, много умов истерзано противоречиями, но — все мы идем к свободе, к свободе!

И чем дружнее — все быстрее пойдем!»

«Сказки» вызывали бодрость в рабочих, усиливали их веру в свои силы, уверенность в скорой победе над темными силами жизни.

Горький и создавал «Сказки» с расчетом на рабочего читателя. Подготовляя отдельное издание их, он писал:

«Считая эти «сказки» недурным материалом для чтения русских рабочих, я хотел бы сделать русское издание особенно тщательным, что и сделаю в течение лета» *(XXVII, 233)*.

Контрреволюция 1908, 1909, 1910 годов, возглавлявшаяся Столыпиным, жестоко угнетала крестьян и рабочих. Преследования революционеров, виселицы и каторга столыпинской реакции пытались заглушить само воспоминание о 1905 годе.

Горький отвечал такими разоблачающими вещами, как «Жизнь ненужного человека», «Последние», «Васса Железнова», как «Городок Окуров», «Матвей Кожемякин».

Но уже в 1910 году Горький пишет пьесу «Чудаки», в которой в уста писателя Мастакова вкладывает такую речь:

«Я ужасно рад, что живу и что вот — вокруг меня гудит, волнуется Россия, такая милая, славная, страна... мелькают эти смешные, страшно близкие душе, русские человечьи рожи... дети какие-то особенные растут — ты замечаешь?.. Страшно приятно

жить, Лена, честное слово! Догорают огни, но уже вспыхнули другие... хочется писать стихи, поэмы, хочется говорить светлые, задушевные слова... и подмигивать людям глазом — «ничего, братья! Живем!»

«Догорают огни, но уже вспыхнули другие...» — эти слова, которые в пьесе произносит писатель Мастаков, ясно говорят о минувшей революции 1905 года и о предстоящем подъеме.

Произнесенные со сцены слова эти должны были напоминать слушателям о состоянии страны.

Ленин видел начало брожения в летних стачках 1910 года и в последующих демонстрациях.

«Первое же начало борьбы, — писал Ленин, — показало нам опять, что живы те силы, которые поколебали царскую власть в 1905 г. и которые разрушат ее в этой грядущей революции» *.

4

1911 год был годом упорной борьбы Ленина против меньшевиков, отзовистов и ликвидаторов, — борьбы за расширение и укрепление партии большевиков. Теперь это происходило в условиях нового подъема рабочего движения. Ленин писал:

«Все большевики должны сплотиться теперь теснее, укрепить свою фракцию, определить точнее и яснее партийную линию этой фракции... собрать разрозненные силы и идти в бой за РСДР Партию, очищенную от проводников буржуазного влияния на пролетариат» **.

Чудовищные преследования царизма вызвали развал части партийных организаций, чем и воспользовались меньшевики, стоявшие за ликвидацию нелегальной партии. Борьба Ленина и объединившихся вокруг него большевиков отстояла партию и сохранила ее основные кадры.

В январе 1912 года удалось созвать представителей почти всех районов России на конференцию

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 16, стр. 327—328.

** Там же, т. 17, стр. 186.

в Праге, которая окончательно оформила большевиков в самостоятельную партию.

Ленин писал Горькому об итогах Пражской конференции:

«Наконец удалось — вопреки ликвидаторской сволочи — возродить партию и ее Центральный Комитет. Надеюсь, Вы порадуетесь этому вместе с нами» *.

Расстрел на Лене в апреле 1912 года вызвал взрыв негодования пролетариата по всей стране, а вслед за этим последовали грандиознейшие майские стачки, которые показали, что начало стачечного движения в 1912 году столь же велико, как и начало его в 1905 году.

В. И. Ленин писал Алексею Максимовичу:

«А в России *революционный* подъем, не иной какой-либо, а именно революционный» **.

22 апреля (5 мая по новому стилю) 1912 года вышел первый номер газеты «Правда», ежедневной большевистской газеты, игравшей исключительно высокую роль в деле организации рабочих масс накануне империалистической войны и революции 1917 года.

В письме Ленину от января 1913 года Горький писал, что собрал деньги на московскую большевистскую газету и хлопочет о том, чтобы издавались сборники новейшей литературы приложением к «Правде».

Горький помещал в «Правде» свои рассказы, отрывки из повестей и «Сказки об Италии». Но, кроме того, он продолжал мечтать о толстом журнале большевиков, где он мог бы помещать свои крупные вещи, а не печататься в чужих изданиях.

В. И. Ленин писал Алексею Максимовичу в ответ на его напоминания о журнале:

«С нелегального и с «Правды» мы *должны* были начать. Но *останавливаться* на этом мы не хотим. А посему, раз Вы сказали, что «нам пора иметь свой

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 1.
** Там же, стр. 26.

журнал», то позвольте Вас за сии слова притянуть к ответу: *либо* наметить сейчас план поисков денег для толстого журнала такой-то программы такой-то редакции такого-то состава сотрудников, *либо* начать по сему же плану расширять *«Просвещение».*

А вернее не *либо — либо,* а *и — и»* *.

«Просвещение» — легальный большевистский журнал, который до тех пор составлялся только из общественно-политических и экономических статей. Горький согласился ввести в него отдел беллетристики и взял на себя редактирование этого отдела.

Ленин отвечал Горькому:

«Чрезвычайно меня и всех нас здесь обрадовало, что Вы *беретесь* за «Просвещение». А я — покаюсь — подумал было: вот как только напишу про маленький журнальчик или журнальчишко наш, так у А. М. охота и пропадет. Каюсь, каюсь за такие мысли» **.

«Теперь Горький очень энергично взялся помогать «Просвещению» и превращает его в большой журнал», — сообщает Ленин в письме Н. Г. Полетаеву ***.

Однако этой мечте Ленина и Горького не удалось осуществиться как по недостатку средств, так и потому, что война 1914 года закрыла журнал. Горький деятельно руководит беллетристическим отделом журнала до его закрытия, энергичным участием поддерживает и газету «Правда».

«Россия будет самой яркой демократией земли!» — так была выражена вера Горького в будущее России, в будущее русского народа.

И в годы эмиграции, в годы столыпинской реакции он пропагандирует эту веру свою и в художественных произведениях, и в публицистике, и в письмах, во всей своей работе.

«В народе — все начала, в его силе все возможности...» — говорит в повести «Солдаты» бесстрашная пропагандистка Вера.

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 47—48.

** Там же, стр. 57.

*** «Ленинский сборник» XXV, стр. 330.

А пропагандист Федор Дядин в одноименном рассказе на вопрос, не старовер ли он, отвечает:

«Весь народ — старовер! Издавна, неискоренимо верует он в силу правды — о рабочем народе говорю, который все начал на земле и всех породил... Что исходит из народа, из его великих трудов и мучений, — это уже непобедимо! Навсегда! Это — дойдет до конца...»

В каждом произведении Горького в той или иной форме была выражена эта горячая вера в могучие, хотя и скрытые до времени силы русского народа.

После 1905—1906 годов большинство писателей «Знания» разбрелось по разным углам, а некоторые заняли враждебную позицию к революции и демократии. Подъем рабочего класса, дуновение свежего ветра сказалось и на них. Л. Андреев после расхождения с Горьким писал ему в минуту откровенности 12 августа 1911 года:

«Живи ты сейчас в России, ты для русской разбредшейся литературы повторил бы ту же роль, что и тогда со сборниками «Знания»; ты опять собрал бы народ... И то, что ты сейчас за границей, горе прямо-таки непоправимое» [40].

Так расценивал Л. Андреев силу Горького как организатора и вдохновителя литературы.

После замечательных повестей «Городок Окуров» и «Матвей Кожемякин» Горький пишет целый цикл рассказов, которым дал впоследствии общее название «По Руси». В этих рассказах он снова, как и в ранних своих книгах, поднимал тему странствий, и в этот раз с еще большею творческой силой.

Наряду с глубоким проникновением в психику русского человека и указанием на то, что задерживает раскрытие всех его богатых творческих возможностей, Горький широко рисует русскую природу, воодушевляющую и вдохновляющую.

В одном из рассказов этого цикла, «Едут...», напечатанного в «Просвещении» под названием «По душе», изображена картина возвращения рыболовов с Каспия на родину, на верхнюю Волгу.

На палубе шхуны, прислонясь спиной к мачте, сидит парень-богатырь, возле него — молодая баба-резальщица, вокруг — здоровый, литой народ, обожженный жаркими ветрами, просолевший в горькой воде моря.

Изображение рыболовов, этой картины русской спокойной силы, русской плодоносной земли так ярко и так полно могучей живописи, что может быть причислено к лучшим созданиям мировой литературы.

Еще в 900-х годах Горький писал поэму в стихах, героем которой был былинный богатырь Василий Буслаев.

В былинах о нем пелось:

Отдавала матушка родная
Учить его во грамоте,
А грамота ему в наук пошла.
Присадила пером его писать,
Письмо Василью в наук пошло.
Отдала пенью учить церковному,
Пенье Василью в наук пошло.

Горького очень пленял этот мотив творческой силы русского богатыря. В его поэме Буслаев мечтает о труде, который украсил бы землю, как невесту, расцветил бы ее изумрудом.

Эх-ма, кабы силы да поболе мне!
Жарко дохнул бы я — снега бы растопил,
Круг земли пошел бы да всю распахал,
Век бы ходил — города городил,
Церкви бы строил да сады все садил!

Не трудно видеть, что это была заветная мечта Горького о всемирном значении творческого труда и о роли в нем русского народа.

«Нет богатыря более русского, — писал Алексей Максимович Константину Федину о Василии Буслаеве, — любил молодец землю, поозоровал на ней, но и потрудился славно!»

Он мечтал много лет и о том, чтобы побудить кого-нибудь из русских композиторов написать оперу о Василии Буслаеве и о том, чтобы партию Буслаева пел гениальный русский артист Шаляпин.

«Ф. Шаляпин — лицо символическое, — писал он.— Такие люди каков он, являются для того, чтобы напомнить всем нам: вот как силен, красив, талантлив русский народ! Вот плоть от плоти его, человек, своими силами прошедший сквозь тернии и теснины жизни, чтобы гордо встать в ряд с лучшими людьми мира, чтобы петь всем людям о России, показать всем, как она — внутри, в глубине своей — талантлива и крупна, обаятельна. Любить Россию надо, она этого стоит, она богата великими силами и чарующей красотой» [41].

И вера его в великие силы своего народа питалась не книжными источниками, не абстрактными, раз навсегда данными мыслями, но повседневным наблюдением. А глаза у него были чудесной зоркости, и опыт его жизни по своей вместимости был изумителен.

В одном из писем каприйского периода он писал:

«Мы же с Вами пребываем в стране, где сотня миллионов черепов, полных доброго мозга, еще не научилась пользоваться силой оного, еще чуть тлеет этот хороший мозг. И — Вы представьте — вспыхнет, загорится — воссияет! Ведь это же необходимо!» *(XXIX, 103)*.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В 1913 году в России была объявлена амнистия по случаю «трехсотлетия дома Романовых». Из политических амнистия коснулась только лиц, осужденных или подлежащих суду за выступления в печати.

По прочтении царского «манифеста» Ленин писал Горькому:

«Литераторская амнистия, кажись, полная. Надо Вам попробовать вернуться — *узнав, конечно, сначала, не подложат ли Вам свиньи за «школу» и т. п.* Вероятно, не смогут привлечь за это...

А революционному писателю возможность пошляться по России (по новой России) означает возможность во сто раз больше ударить потом Романовых и К°...» *.

Тем временем и питерские рабочие, объединенные газетой «Правда», поместили «Открытое письмо Максиму Горькому» с призывом вернуться на родину:

«Мы глубоко уверены, что общение с родным народом, прикосновение к родной земле даст могучий толчок Вашему творчеству. А в недрах рабочего класса зреющие силы будут представлять неисчерпаемый источник материалов для Вашей работы» [42].

Но возвращение Горького надолго задержало обострение туберкулеза, которым Горький страдал

* В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 61.

с 1896 года и который в этот период, к осени 1913 года, принял крайне опасную форму.

«То, что́ Вы пишете о своей болезни, — писал ему Ленин в сентябре 1913 года, — меня страшно тревожит...

А Вы после Капри зимой — в Россию???? Я страшно боюсь, что это повредит здоровью и подорвет Вашу работоспособность. Есть ли в этой Италии *первоклассные* врачи??» *

Опасения Ленина оказались напрасными. Лечивший Горького врач И. Манухин удачно применил новый, открытый им метод лечения туберкулеза, и процесс был приостановлен.

Однако болезнь не прервала творчества Горького. К этому году относится начало его работы над великими автобиографическими повестями.

Мы видели, что в 1893 году Горький писал заметки о своем детстве. Но в этих ранних автобиографических заметках изложение идет по линии суждений о своей судьбе.

Это было им отвергнуто. Рассказать не о себе, а о жизни, поставив себя в свидетели, эта мысль, несомненно, присутствовала в сознании автора все двадцать лет.

Издателю К. П. Пятницкому он пишет в 1900 году в ответ на просьбу его прислать автобиографию:

«Автобиография мне нужна, как материал для одной повести, и больше того, что, к сожалению, напечатано, я ничего не могу добавить».

И еще в Америке в 1906 году, работая над «Матерью», он пишет И. П. Ладыжникову:

«Очень много разных литературных планов и кстати уж думаю взяться за автобиографию — американцы дают за нее большие деньги, не менее 100 т(ысяч) д(олларов), говорят» [43].

Упоминание о деньгах связано с заботами Алексея Максимовича о сборе средств для партии большевиков, с этой целью предпринята была поездка Горького в Америку.

* В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 78.

Но не настало еще время для автобиографии в том смысле, как она была задумана.

У М. Горького приступ к большим вещам всегда предварялся небольшими рассказами.

Алексей Максимович утверждал, что «учиться писать следует именно на маленьких рассказах, они приучают автора экономить слова, писать более густо» *(XXVI, 233)*.

Это правило Горький применял и к себе, как было в данном случае. «Детству» предшествовал сборник рассказов «Записки проходящего».

При этом здесь было дело не только в высоком мастерстве, в «густоте» будущей вещи, здесь дело было в своеобразии обработки Горьким автобиографического материала.

Так, в первом рассказе этого типа — «Случай из жизни Макара», написанном в феврале — марте 1912 года, Горький персонифицировал себя в виде некоего Макара — следы этого сохранились в рассказах «Ледоход», «Губин», «Хозяин», — и только потом он перешел к автобиографии в более точном смысле.

В 1887 году в жизни Горького произошел случай, о котором он последующие годы вспоминал со стыдом.

В повести «Мои университеты» Горький так говорит о значении для него рассказа «Случай из жизни Макара»:

«В декабре я решил убить себя. Я пробовал описать мотив этого решения в рассказе «Случай из жизни Макара». Но это не удалось мне, — рассказ вышел неуклюжим, неприятным и лишенным внутренней правды... Факты — правдивы, а освоение их сделано как будто не мною, и рассказ идет не обо мне. Если не говорить о литературной ценности рассказа — в нем для меня есть нечто приятное, — как будто я перешагнул через себя».

Горький взял самый тяжелый эпизод из своего прошлого и довел этот эпизод до всех, — «перешагнул через себя».

Так сложен был приступ к «Детству».

«Детство» впервые стало печататься в газете «Русское слово» начиная с 25 августа 1913 года.

Но в плане работ Горького оно, видимо, реально стояло еще в конце 1912 года, в период работы над рассказом «Хозяин», когда Алексей Максимович писал редактору журнала «Современник» Е. Ляцкому:

«На осень дам большую вещь».

Расхождение с «Современником» по идейно-организационным вопросам заставило Горького передать повесть в «Русское слово».

Соглашение об этом было заключено с издателем газеты И. Д. Сытиным, приезжавшим летом 1913 года на Капри к Горькому для переговоров.

Тщательность, с которой Горький работал над «Детством», лучше всего обнаруживается в письме редактору «Русского слова» Ф. И. Благову:

«Очень прошу извинить меня за то, что не присылаю рукописей! Дело в том, что я чувствую себя неважно и не могу закончить рассказ, начатый для «Р. С.», боясь, — вследствие недомогания, — испортить его, внести в него что-либо нездоровое, как это невольно может быть сделано».

Интересно, что при посылке четвертой главы у автора возникло сомнение в правильности названия повести, или «автобиографических очерков», как он их называл в письмах.

В сентябре он писал Благову:

«Посылаю IV-ю главу очерков; их следовало озаглавить «Бабушка», а не «Детство». Не согласитесь ли Вы изменить заголовок?»

Горький с такой любовью и с такой широтой изобразил Акулину Ивановну Каширину — русского человека с богатейшей натурой, любвеобильной, но прямой и строгой в своей морали, — что даже заколебался, не назвать ли повесть «Бабушка».

Но после посылки еще одной главы он писал:

«Подумав, нахожу, — что напрасно обеспокоил Вас и что заголовок не следует изменять. Так и оставим «Детство» [44].

После напечатания в «Русском слове» в «Детстве» были сделаны лишь незначительные сокращения, и по-

весть осталась в том виде, как она печаталась в газете, что показывает пристальное внимание, с которым автор работал над повестью.

Чем поражает это великое произведение мировой литературы — «Детство»? В нем люди ссорятся друг с другом, дерутся, увечат один другого, но, несмотря на это, отчего же «Детство» так жизнерадостно, так полно энергии, жизнеспособной, жизнеутверждающей?

«Не только тем изумительна жизнь наша, что в ней так плодовит и жирен пласт всякой скотской дряни, но тем, что сквозь этот пласт все-таки победно прорастает яркое, здоровое и творческое, растет доброе — человечье, возбуждая несокрушимую надежду на возрождение наше к жизни светлой, человеческой».

Это не только пророчество Горького, — это основа его повести, то, на чем она построена.

В русской литературе до Горького иногда писатели обращались к своему детству — С. Аксаков, Л. Толстой, В. Короленко.

Но и у Аксакова и у Толстого «детство» вырастает из семьи, и все сосредоточено на личных переживаниях героя, на радостях и печалях основного персонажа.

Даже Короленко, значительно более широкий в изображении своего времени, так помечает в своем предисловии к «Истории моего современника»:

«Я пишу не историю моего времени, а только историю одной жизни в это время, и мне хочется, чтобы читатель ознакомился предварительно с той призмой, в которой оно отражалось... Эти записки не биография, потому что я не особенно заботился о полноте биографических сведений; не исповедь, потому что я не верю ни в возможность, ни в полезность публичной исповеди; не портрет, потому что трудно рисовать собственный портрет с ручательством за сходство» [45].

Перед Горьким не стоял так вопрос — не биографию, не исповедь, не портрет дает он в своих повес-

тях. Он писал историю, свидетелем которой был. Не его судьба стоит в центре повести, а история русского народа, как она отразилась в судьбе его семьи и встреченных им людей.

И тогда, когда Горький рисует отвратительную сцену избиения своей матери, он говорит:

«Вспоминая эти свинцовые мерзости дикой русской жизни, я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе — стоит; ибо это — живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до конца, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжкой и позорной.

И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, — русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их».

Это прямое публицистическое высказывание Горького подытоживает правду художественную. Он изображает жизнь тех лет во всей ее обнаженности и в ее противоречиях.

В своем докладе на I Всесоюзном съезде писателей Горький говорил:

«Творчество — это та степень напряжения работы памяти, когда быстрота ее работы извлекает из запаса знаний, впечатлений наиболее выпуклые и характерные факты, картины, детали и включает их в наиболее точные, яркие общепонятные слова».

«Детство» — одно из совершеннейших произведений Горького, такие произведения он называл высоким словом «творчество».

Пролетарская сущность «Детства» стоит в прямой зависимости от близости к Ленину в эти годы революционного подъема. Цыганок, молодой рабочий у Каширина, Максим Савватиевич, отец Горького, и бабушка могли стать в другое время русской истории героями «Матери».

2

В конце декабря 1913 года, закончив «Детство», Горький покинул Капри и приехал на родину.

Приезд его для департамента полиции был абсолютно неожиданным. И. П. Ладыжников рассказывал, что паспорт Горького он обменял в русском консульстве в Неаполе, причем консул сказал, что Горький будет непременно арестован.

Но правительство растерялось, оно не знало, как поступить со знаменитым писателем, числившимся в розыске: арестовать, обыскать, привлечь к ряду «дел», еще не решенных из-за его эмиграции и явно не покрываемых амнистией?

К тому же случилось так, что приезд Горького был замечен, когда он уже прибыл в Петербург.

В делах департамента полиции читаем:

«Начальник отделения по охране общественной безопасности и порядка в С.-Петербурге донес, что 31 минувшего декабря подведомственными ему филерами взят в наблюдение прибывший с поездом, видимо, со станции Вержболово, известный Вам эмигрант, нижегородский цеховой Алексей Максимов Пешков».

Тот скандальный для охранки факт, что Горький был узнан уже в Петербурге случайными филерами на вокзале, заставил департамент полиции в раздражении запрашивать пограничных жандармов.

«Было ли вами сообщено, когда и кому о возвращении в пределы империи такого выдающегося революционного деятеля, каким является Алексей Пешков?»

Арестовать Горького не решились, а возбудили старое «дело» за авторство «Матери». «Дело» тянулось очень долго и тоже кончилось ничем.

Замешательство правительства было понятно, потому что приезд Горького вызвал многочисленные приветствия и поздравления, в которых факт возвращения его неизменно связывался с новым ростом революционного подъема в стране.

«Встречен демократией ласково и трогательно, — писал Алексей Максимович Амфитеатрову, — одна Москва поздравила свыше 70 раз, — тут и булочники, и чулочницы, водопроводчики и даже «мужики — крестьяне Новоторжского уезда». Очень тронут» *(XXIX, 320)*.

Широким потоком шли приветствия от профессионального общества рабочих печатных искусств, от общества деятелей периодической печати и литературы, от разных городов: Таруссы, Новгорода, от Якутска, от нижегородских кружков, от группы ссыльных села Рыбинского, от газет и журналов, и этот поток не могли заглушить злобные крики черносотенной печати.

«Теперь Вы вернулись к нам, — писали московские студенты, — как раз накануне нашего пробуждения от долгого и мучительного сна... Крепнет надежда, что мы накануне весны, и хочется верить, что вместе с Вами встретим ее».

В одном из приветствий от рабочих говорилось:

«Мы верим, что Ваше пребывание на родине и духовная работа увеличат наши силы и помогут нам, российским пролетариям, сбросить ненавистное иго царящей тьмы».

От всех публичных чествований больной еще писатель уклонился и в феврале 1914 года поселился под Петербургом, в финском поселке Мустамяки.

Несмотря на болезнь, Горький деятельно взялся за собирание молодых творческих сил пролетариата.

К нему издавна тянулись все начинающие писать. Так было и на Капри, куда со всех концов России шли к нему рукописи. Он не забывал этой огромной корреспонденции.

Еще в 1911 году в журнале «Современный мир» Горький поместил статью «О писателях-самоучках». В ней он сообщил, что за время 1906—1910 годов им было прочитано более четырехсот рукописей «писателей из народа».

Он указывал на то, что подавляющее большинство авторов, в противоположность печатной литературе

того времени — покаянной, подавленной, анализирующей и пассивной, — активно и бодро.

Горький не обращал внимания на малограмотность.

«Я говорю не о талантах, — писал он, — не об искусстве, а о правде, о жизни, а больше всего — о тех, кто дееспособен и умеет любить вечно живое и все растущее благородное — человечье».

Под его редакцией вышел в 1914 году первый сборник пролетарских писателей. В предисловии к сборнику Горький писал, обращаясь к рабочим:

«Когда история расскажет пролетариату всего мира о том, что пережито и сделано вами за восемь лет реакции, — рабочий мир будет изумлен вашей жизнедеятельностью, бодростью вашего духа, вашим героизмом» *(XXIV, 172)*.

В предисловии к книге И. Морозова «Разрыв-трава», вышедшей в 1914 году, Горький пишет, что когда почта приносит серую тетрадку, исписанную непривычной к перу рукой, он испытывает большую радость. «Радость — потому, что все больше присылают неуклюжих стихов, неумелой прозы и все выше, бодрей звучат голоса пишущих; чувствуешь, как в нижних пластах жизни разгорается у человека сознание его связи с миром, как в маленьком человеке растет стремление к большой, широкой жизни, жажда свободы» *(XXIV, 165)*.

В том же 1914 году Горький завязывает сношения с С. П. Подъячевым, помогает ему материально и просит рассказ для второго сборника пролетарских писателей.

Горький был полон в эти годы подъема бодрости и борьбы. Еще в 1913 году он писал: «Никто не станет отрицать, что на Русь снова надвигаются тучи, обещая великие бури и грозы...» *(XXIV, 148)*.

Он и здесь, в Петербурге, помогал партии и ее органу «Правде». В 1914 году стачечная волна затопила Петербург. Репрессии правительства вызвали баррикады на улицах и столкновения рабочих с войсками.

В эти дни член Государственной думы от большевиков А. Е. Бадаев поехал к Горькому в Мустамяки, соблюдая крайнюю осторожность *.

«К Горькому я отправился по поручению наших партийных центров. Нужна была его помощь и содействие не только по газете, но и по целому ряду других вопросов партийной работы.

Когда мы покончили с деловой частью разговора, Горький забросал меня вопросами о состоянии революционного движения, о подпольной работе, о деятельности нашей думской фракции, о внедумской работе депутатов-большевиков и т. п. Но особенно настойчивый и живой интерес Горький проявлял к тому, что делалось на фабриках и заводах, в гуще рабочей жизни... Он принял энергичное участие в проведении тех дел, о которых мы с ним говорили, и помог в получении необходимых связей и средств, нужных в это время для рабочей партии и в частности для издания «Правды» [46].

Империалистическую войну Горький встретил с величайшим негодованием и был одним из самых ожесточенных разоблачителей ее реакционного классового смысла.

«Правда» была разгромлена, огромным валом прошли массовые аресты, целыми партиями арестованных высылали в Сибирь. Фракция большевиков тоже была арестована и осуждена к ссылке на поселение.

В письме к С. В. Малышеву, сосланному сотруднику «Правды», Горький сообщал:

«Атмосфера вообще — душная. Никогда я не чувствовал себя таким нужным русской жизни и давно не ощущал в себе такой бодрости, но, милый товарищ, сознаюсь, порою руки опускаются и в глазах темнеет. Очень трудно... Но все же кое-что удается. Удается главным образом потому, что очень хороших людей воспитал петербургский пролетариат» *(XXIX, 337)*.

---

* А. Е. Бадаев говорит в своих воспоминаниях: «...Летом 1913 года я поехал к Алексею Максимовичу». Очевидная ошибка: он ездил летом 1914 года.

Последняя фраза говорит о том, что Горький был связан с пролетариатом подпольной работой *.

Летом 1915 года приезжал к Горькому в Мустамяки Маяковский и читал ему свои стихи, вызвавшие интерес и живейшее одобрение Горького.

Когда писателю удалось организовать большой журнал «Летопись» со своим решающим словом по художественному отделу, он стал группировать в нем молодые силы, привлек к сотрудничеству Маяковского, добивался того, чтобы напечатать в «Летописи» его поэму «Война и мир» — новое и значительнейшее произведение поэта против империалистической войны. Цензура вычеркнула ее из корректуры журнала.

В издательстве «Парус», руководимом Горьким, был выпущен первый большой сборник стихов Маяковского. Тем самым Горький защитил Маяковского от тучи злых нападок буржуазной прессы и оценил в нем крупнейшего поэта.

«Летопись» заняла интернационалистическую позицию, резко противоречившую позиции либеральных и меньшевистских подпевал империализма.

В журнале в 1916 году печаталось продолжение повести «Детство» — «В людях».

Картина Нижнего-Новгорода во второй повести расширилась. Здесь изображены с большой силой мастерства купцы, иконописцы, плотники, штукатуры, босяки. Окуровщина, побеждаемая в жизни человека творческой волей и творческим трудом, — таков смысл автобиографических повестей Горького. Это как нельзя более соответствовало времени нового подъема рабочего класса и всей демократии.

Журнал начал выходить с конца 1915 года, а через год и «Летопись» и деятельность издательства «Парус» пользовались уже заслуженной ненавистью всех реакционных, либерально-буржуазных и «оборонческих» групп.

---

* «С конца 1915 года по рекомендации А. М. Горького работники Бюро ЦК РСДРП(б) устроили на нашей квартире № 4 по Сердобольской улице, дом 35, подпольную явку» (М. Павлова, В штабе революции. «Правда», 1957 г., № 71).

Горький был подавлен обилием темных чувств, вызванных войною.

«Люди живут страхом, от страха — ненависть друг к другу, растет одичание, все ниже падает уважение к человеку»,—писал он К. А. Тимирязеву *(XXIX, 342).*

В «Летописи» помещались статьи К. А. Тимирязева, а в «Парусе» намечался его сборник.

Тогда же в издательстве «Парус» Горький наметил издание книг для юношества. Для этой цели он просил Фритьофа Нансена написать жизнь Колумба, Ромена Роллана — Бетховена, Уэллса — Эдисона, Тимирязева — Дарвина. Горький хотел напомнить детям и юношеству, что у всех народов были — и сейчас есть — великие люди, благородные сердца. «Это необходимо сделать в эти дни победоносной жестокости и зверства»,— писал он Ромену Роллану.

Он планировал также выход серии брошюр, разоблачающих подлинный смысл империалистической войны. О программе этих брошюр Горький писал: «... Следует составить обвинительный акт против капитализма как возбудителя катастрофы, переживаемой миром, и указать, что анархическая деятельность капитала не может не хранить в себе зародышей подобных катастроф» *(XXIV, 173).*

В этот период сношения с Лениным происходили через его сестру — М. Ульянову, которая приходила к Горькому с письмами и поручениями брата. Сохранилось письмо Ленина, в котором он сообщает, что посылает Горькому для издания в «Парусе» свою книгу: «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии». Книга эта была объявлена в «Парусе», но до революции ее не успели выпустить.

В 1916 году Ленин послал в издательство «Парус» и другую свою книгу — «Империализм, как высшая стадия капитализма», которая тоже была объявлена в «Летописи» перед революцией.

Представитель ЦК партии большевиков, нелегально проживавший в Петрограде и получавший деньги от Горького на большевистскую работу, впоследствии рассказывал, что в вопросах политики и тактики Алексей Максимович не был компетентен и к нему

шла рабочая публика просто «потолковать по душам», излить свои болести и свои тревоги. Охранному отделению это хождение рабочих было известно, и около дома, в котором жил А. М. Горький, было постоянное дежурство шпионов.

Как документ крайнего предела ненависти к Горькому любопытна статья некоего «Ювенала», появившаяся в черносотенной газете «Голос Руси».

Все издания Горького, по словам «Ювенала», «вдалбливают» следующие «аксиомы»:

«Война нужна только буржуазным правительствам Франции, Англии, России и их врагам — Германии и Австрии...

Пролетариату *всех* этих стран никакая война не нужна.

Далее говорится о мире в такой форме, которая делает невозможным даже приблизительную передачу этих «мыслей» в повременной печати».

Этот «стыдливый» автор заканчивает свою статейку воплем об «осуждающем слове», которое «приобретет действительно патриотическое значение».

Конечно, «Ювенал» хлопотал не об «осуждающем» слове, а о более решительных мерах полицейского характера.

Действительно, статья появилась 27 ноября 1916 года, а 1 декабря директор департамента полиции затребовал от Управления печати характеристику «Летописи» для доклада министру внутренних дел. И несомненно, что департамент полиции добился бы закрытия «Летописи», если бы Февральская революция к тому времени не «закрыла» департамент полиции.

3

Антивоенная пропаганда «Летописи» разоблачала захватнические цели империалистических правительств, в том числе и царского правительства. В атмосфере оголтелого «патриотизма» буржуазной прессы она имела значение в деле распространения среди демократической интеллигенции правильного понимания смысла и целей войны.

Это был единственный легальный орган, разоблачавший весь круг отечественного шовинизма — от черносотенцев до буржуазных либералов и до тех деятелей «социалистических» партий, прихвостней капитализма, за которыми осталась в истории кличка «социал-шовинистов».

Но в обстановке Февральской революции руководители журнала растерялись. Фактический редактор политического отдела Н. Суханов, журналист из «Современника», причислявший себя к меньшевикам-интернационалистам, стоял за буржуазное правительство, а член редакции В. Базаров, бывший «впередовец», в первые дни Февральской революции написал статью о желательности участия демократии в буржуазном правительстве.

Горький же, поместивший в «Летописи» автобиографическую повесть «В людях» и отличные рассказы («Страсти-мордасти», «Светло-серое с голубым», «Как сложили песню», «Книга», «Птичий грех», «Легкий человек» и другие), руководивший литературным отделом, подчинился влиянию окружающих его в журнале литераторов-интеллигентов и потерял революционную ориентацию.

«Горький всегда в политике архибесхарактерен и отдается чувству и настроению» *, — писал Ленин в письме к А. Шляпникову еще в 1916 году *.

Оторвавшись от большевистского подполья, Горький писал в первой книге «Летописи», вышедшей после Февральской революции:

«...Нам не следует забывать, что все мы — люди вчерашнего дня, и что великое дело возрождения страны в руках людей, воспитанных тяжкими впечатлениями прошлого в духе недоверия друг к другу, неуважения к ближнему и уродливого эгоизма» [47].

Ненависть друг к другу, одичание, неуважение к человеку, то, что отмечал Горький в письме К. А. Тимирязеву, — это было наблюдение над мещанином-обывателем и обывателем-интеллигентом.

Переходя от этих повседневных наблюдений во вре-

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 185.

мя империалистической войны ко всей массе русского народа, к обывателю «девятисот уездных городов российских», Горький ужасается, как трудно ввести «новые начала» в древний русский быт, — «городок Окуров», так хорошо изображенный им, стоял перед его воображением.

«Не нужно забывать, что мы живем в дебрях многомиллионной массы обывателя, политически безграмотного, социально невоспитанного», — писал Горький в той же статье.

Не пролетарские массы, которые все более росли и крепли перед революцией и значение которых недооценивал в то время Горький, а роль буржуазии волновала его. «Поймет ли она, что ее работа будет успешна только при условии прочного единения с демократией?..» и т. д.

Такой мелкобуржуазной доверчивостью к социальному врагу проникнуты были статьи Горького того времени.

Ленин в это время, как лев в клетке, рвал и метал, ища возможности проезда в Россию. Почти каждый день он писал в «Правду» «Письма из далека». Во второй из этих статей, прочтя в иностранной прессе о письме Горького, в котором он призывал Временное правительство и Исполнительный комитет быстрее заключить мир, Ленин пишет:

«Так передают письмо М. Горького.

Горькое чувство испытываешь, читая это письмо, насквозь пропитанное ходячими обывательскими предрассудками. Пишущему эти строки случалось, при свиданиях на острове Капри с Горьким, предупреждать его и упрекать за его политические ошибки. Горький парировал эти упреки своей неподражаемо-милой улыбкой и прямодушным заявлением: «Я знаю, что я плохой марксист. И потом, все мы, художники, немного невменяемые люди». Нелегко спорить против этого.

Нет сомнения, что Горький — громадный художественный талант, который принес и принесет много пользы всемирному пролетарскому движению.

Но зачем же Горькому браться за политику?

На мой взгляд, письмо Горького выражает чрезвычайно распространенные предрассудки не только мелкой буржуазии, но и части находящихся под ее влиянием рабочих. *Все* силы нашей партии, все усилия сознательных рабочих должны быть направлены на упорную, настойчивую, всестороннюю борьбу с этими предрассудками» *.

В этой статье, носившей название «Как добиться мира?», Ленин разъяснял, что только пролетариат и беднейшее крестьянство, взяв в свои руки государственную власть, могут добиться «действительно демократического, действительно почетного мира», а буржуазное Временное правительство, будучи по природе своей империалистическим, никакого другого мира, кроме как империалистического, заключить не может.

«Обращаться к этому правительству с предложением заключить демократический мир — все равно, что обращаться к содержателям публичных домов с проповедью добродетели» **.

Мы видели, как в 1908—1909 годах, в обстановке предательства и ренегатства одних, испуга и растерянности других, тяжело переживал Горький дробление на фракции и группы российской социал-демократии, казавшееся ему ослаблением сил партии, и как Ленин с непоколебимой уверенностью в потенциальных силах рабочего класса писал Горькому, что русский рабочий класс «выкует во всяком случае, выкует превосходную социал-демократию в России, выкует скорее, чем кажется иногда с точки зрения треклятого эмигрантского положения, выкует вернее, чем представляется, если судить по некоторым внешним проявлениям и отдельным эпизодам».

В разности оценок потенциальных сил русского пролетариата после убийственных лет реакции коренился источник разногласия Горького с ленинским учением в 1917 году.

В тяжкие годы столыпинской реакции Ленин твердо верил в революционные силы русского пролетариата и не боялся возросших трудностей. Выступая за

* В. И. Ленин, Соч., т. 23, стр. 324—325.
** Там же, стр. 325.

два месяца до Февральской революции перед швейцарской рабочей молодежью с докладом о первой революции, Ленин так говорил по поводу размеров стачечного движения в России 1905 года:

«...Это показывает, насколько великой может быть дремлющая энергия пролетариата. Это говорит о том, что в революционную эпоху, — я утверждаю это без всякого преувеличения, на основании самых точных данных русской истории, — пролетариат *может* развить энергию борьбы *во сто раз* большую, чем в обычное спокойное время. Это говорит о том, что человечество вплоть до 1905 года не знало еще, как велико, как грандиозно может быть и будет напряжение сил пролетариата, если дело идет о том, чтобы бороться за действительно великие цели, бороться действительно революционно!» *

Недооценка же Горьким сил русского пролетариата в это время вызывалась не только опасением изолированности сознательных рабочих в среде реакционной мелкой буржуазии, в среде «окуровщины», недооценка эта внушалась и опасением анархической, стихийной силы деревни, одичавшей, как казалось Горькому, в годы империалистической войны.

Позднее Горький вспоминал:

«Когда в 17-ом году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы», я подумал, что этими тезисами он приносит всю, ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Это единственная в России активная сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесплодно растворится, рассосется в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа» *(XVII, 25)*.

Так расценивая расстановку политических и культурных сил страны, Горький выдвигал на первый план необходимость тесного союза передовых рабочих с научной и технической интеллигенцией и основной задачей революции считал прежде всего создание таких

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 23, стр. 232.



*А. М. Горький моет бюст Данте в саду виллы «Масса».
Италия, Сорренто, 1924 год.*



А. М. Горький среди воспитанников Куряжской колонии на полевых работах. Харьков, Куряж, 1928 год.



А. М. Горький с внучками Марфой и Дарьей Пешковыми. Италия, Сорренто, вилла «Иль-Сорито», 1932 год.

условий, которые бы в наибольшей степени содействовали быстрейшему росту культурных сил и широкой демократизации знаний.

Ради этой цели он организует ряд предприятий: «Свободную ассоциацию для развития и распространения положительных наук», «Лигу социального воспитания», общество «Культура и свобода» и т. д.

Ради этого же он в своих статьях в «Новой жизни» агитирует за «немедленную, планомерную, всестороннюю и упорную» культурно-просветительную работу, как наиболее верный путь в условиях переживаемого социального кризиса.

Даже в знаменитые июльские дни 1917 года, которые Ленин назвал «переломным пунктом всей революции» *, Горький писал о «темных инстинктах масс» и о народе, который «должен быть прокален и очищен от рабства» огнем культуры.

«Опять культура? — спрашивает Горький и отвечает:

— Да, снова культура. Я не знаю ничего иного, что может спасти нашу страну от гибели» [48].

Так выражались «чрезвычайно распространенные предрассудки мелкой буржуазии» и части несознательных рабочих. Таков был путь, на который звал Горький.

«Но зачем же Горькому браться за политику?» — гневно спрашивал Ленин в эпоху решающего обострения политической борьбы.

Партия большевиков во главе с Лениным единственным для рабочего класса путем и предпосылкой всего дальнейшего социального и культурного развития считала завоевание революционным пролетариатом и беднейшим крестьянством государственной власти.

И свою знаменитую боевую статью «Удержат ли большевики государственную власть?», написанную им за месяц до Октябрьской революции, Ленин в значительной степени посвящает полемике с «новожизненцами», как изменниками делу революции, посколь-

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 25, стр. 288.

ку они утверждали, что «напор враждебных сил сметет диктатуру пролетариата». Ленин пользуется этой полемикой для того, чтобы, разбивая доводы «новожизненцев», укреплять партию и массы в доверии к растущим силам пролетарской революции.

«Силу сопротивления капиталистов мы уже видели, весь народ видел, ибо капиталисты сознательнее других классов и сразу поняли значение Советов, сразу напрягли *все свои силы* до последней степени, пустили в ход все и вся, пустились во все тяжкие, дошли до неслыханных приемов лжи и клеветы, до военных заговоров, *чтобы сорвать Советы,* свести их на-нет, проституировать их (при помощи меньшевиков и эсеров), превратить их в говорильни, утомить крестьян и рабочих месяцами и месяцами пустейшей словесности и игры в революцию.

А силу сопротивления пролетариев и беднейших крестьян *мы еще не видали,* ибо эта сила выпрямится во весь рост лишь тогда, когда власть будет в руках пролетариата, когда десятки миллионов людей, раздавленные нуждой и капиталистическим рабством, увидят на опыте, *почувствуют,* что власть в государстве досталась угнетенным классам, что власть помогает бедноте бороться с помещиками и капиталистами, *ломает* их сопротивление. *Только* тогда мы сможем увидеть, какие непочатые еще силы отпора капиталистам таятся в народе, только тогда проявится то, что Энгельс называл «скрытым социализмом», только тогда на каждые *десять тысяч* открытых или прячущихся, проявляющих себя действием или в пассивном упорстве врагов власти рабочего класса поднимется *по миллиону* новых борцов, доселе политически спавших, прозябавших в мучениях нужды и в отчаянии, потерявших веру в то, что и они люди, что и они имеют право на жизнь...» *

Так писал Ленин, гениальный провозвестник, вдохновитель и организатор Великой социалистической революции.

25 октября (7 ноября) 1917 года началась новая эра мировой истории.

* В. И. Ленин, Соч., т. 26, стр. 100—101.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Активные участники большевистского подполья в Петрограде рассказывали, что накануне революции 1917 года Горький оказывал большое содействие в работе партии. У него представители ЦК большевиков черпали сведения из мира правящих, а также и о работе, заботах и думах демократической интеллигенции, которую Алексей Максимович старался притянуть к революционной, антицаристской работе.

Квартира Горького на Кронверкском проспекте (ныне Максима Горького) была центром, своего рода осведомительным пунктом, куда стекались все сведения о революционном движении.

Но после Февральской революции и низвержения монархии постепенно менялся состав вестников и характер информации. Большевики вышли из подполья на открытую борьбу, а к Горькому все больше прибегали интеллигенты-обыватели, испуганные размахом большевистского движения.

А после Октябрьского переворота Горький стал центром жалоб и сетований. Воровство, грабежи, самосуды и погромы винных погребов, — каждый посетитель приносил свою версию того или иного происшествия. Алексей Максимович воспринимал все это без перспективы, непосредственно, как говорится, «в лоб». «Растет жестокость улицы, — писал он, — и вина за это будет возложена на голову рабочего клас-

са: ведь неизбежно скажут, что «правительство рабочих распустило звериные инстинкты уличной массы».

Он стоял на прежде утвердившемся своем мнении: надо понять, что в 1905 году пролетариат был и количественно и качественно сильнее, чем теперь, в 1917 году, и что промышленность тогда не была так разрушена; вместо настоящих пролетариев, десятки тысяч которых истребила война, нахлынули деревенские парни на фабрики и заводы, их нужно длительно воспитывать, необходима немедленная и упорная культурно-просветительная и революционная работа.

Горький приводит получаемые им письма о спекулянтах в деревне, рассказывает об аграрных волнениях с разорением культурных ценностей в имениях (библиотеки), о воровстве у знаменитой артистки М. Н. Ермоловой, о том, что в Феодосии солдаты торгуют людьми: привозят с Кавказа турчанок, армянок, курдок и продают их по двадцать пять рублей за штуку, — все панические слухи, которые сеяла буржуазия, все слагалось у Горького в статьи. Каждый случай грабежа, воровства, спекуляции и погрома ставился Горьким на ответственность советской власти.

Нужно удивляться, как Горький не видел колоссальной работы большевиков, которые в первые месяцы особенно упорно боролись с анархией отсталых слоев.

Вот общеизвестные факты, публиковавшиеся в газетах: декрет Ленина о мародерах и спекулянтах; речь его на III съезде Советов, где Ленин говорил о том, что жулики, босяки и саботажники представляют собой одну, подкупленную буржуазией банду, сопротивляющуюся власти трудящихся. Выступая в Петроградском совете, он говорил, что со спекулянтами и грабителями надо поступать решительно — расстреливать на месте. В статье «Очередные задачи Советской власти» Ленин писал об элементах разложения старого общества, которые не могут себя показать иначе, как увеличением преступлений, хулиганства, подкупа, спекуляции и безобразий всякого рода. «Чтобы сладить с этим, нужно время и *нужна же-*

лезная рука» *. Реставрация буржуазной эксплуатации, писал Ленин, грозит нам сегодня «в виде стихии мелкобуржуазной распущенности и анархизма,... в виде будничных, мелких, но зато многочисленных наступлений и нашествий этой стихии против пролетарской дисциплинированности. Мы эту стихию мелкобуржуазной анархии должны победить, и мы ее победим» **.

Горький не видел, что в массе русского народа шел величайший подъем, крестьяне даже самых захолустных деревень брали землю и проявляли творческую инициативу, рабочие повсеместно брали в свои руки заводы и фабрики, всюду и повседневно возникали новые организации.

«И тем, кто говорит, что нами ничего не сделано, что мы пребывали все время в бездействии, что господство Советской власти не принесло никаких плодов, мы можем только на это сказать им: загляните в самые недра трудового народа, в толщу масс, там кипит организационная, творческая работа, там бьет ключом обновляющаяся, освященная революцией жизнь» ***, — говорил Ленин на III Всероссийском съезде Советов.

К первым месяцам после Октября, в то время когда разнузданная толпа громила дворцовые погреба и совершала налеты и грабежи, относятся наиболее резкие выступления Горького против большевиков. Он усиленно подчеркивал отрицательные явления, не видя и не желая видеть главного и основного — могучих созидательных сил пролетарской революции. Он видел одно: уничтожение культурных ценностей, расхищение общественного имущества, взрывы мелкособственнического эгоизма и, как он писал, «всеобщее одичание».

В статье «Пророческие слова» Ленин, приводя слова Энгельса о предсказанной им в 1887 году всемирной войне и ее последствиях — «голод, эпидемии, все-

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 27, стр. 235.
** Там же, стр. 241—242.
*** Там же, т. 26, стр. 432.

общее одичание как войск, так и народных масс, вызванное острой нуждой», писал:

«Как просто и ясно делает Энгельс этот бесспорный вывод, очевидный для всякого, кто хоть немного способен подумать над объективными последствиями многолетней тяжелой, мучительной войны. И как поразительно неумны те многочисленные «социал-демократы» и горе-«социалисты», которые не хотят или не умеют вдуматься в это простейшее соображение.

Мыслима ли многолетняя война без *одичания* как войск, так и народных масс? Конечно, нет».

Ленин сравнивал революцию с жесточайшими муками родов, с таким актом, «который превращает женщину в измученный, истерзанный, обезумевший от боли, окровавленный, полумертвый кусок мяса». Но «кто на *этом* основании зарекался бы от любви и от деторождения?» — спрашивает Ленин. «Маркс и Энгельс... говорили всегда о *долгих муках родов,* неизбежно связанных с переходом от капитализма к социализму» *.

Горький не мог не видеть, что статья Ленина направлена и против него. Рождение нового мира, пробивавшегося через эти муки родов, не могло не заставить его присмотреться внимательнее к трагическим явлениям революции. Еще до этой статьи Ленина он писал:

«Грязь и хлам всегда заметнее в солнечный день, но часто бывает, что мы, слишком напряженно останавливая свое внимание на фактах, непримиримо враждебных жажде лучшего, уже перестаем видеть лучи солнца и как бы не чувствуем его живительной силы... Теперь русский народ весь участвует в созидании своей истории — это событие огромной важности, и отсюда нужно исходить в оценке всего дурного и хорошего, что мучает и радует нас».

Горький напечатал эту статью 17 мая 1918 года и вскоре после этого прекратил печатание статей в «Новой жизни».

По словам В. Д. Бонч-Бруевича, Ленин ожидал

* В. И. Ленин, Соч., т. 27, стр. 458, 459.

приезда Горького в Москву. 31 июля Бонч-Бруевич телеграфировал Горькому: «Был сегодня у Вас, Ваши домашние Вас ждали и были удивлены неприездом Вашим *. Владимир Ильич также ждал Вас сегодня, вернувшись в Кремль».

Случилось так, что первая встреча состоялась уже после ранения Ленина террористкой Каплан.

Покушение на жизнь Ленина потрясло Горького. Оно показало ему всю остроту и бешеную злобность сопротивления, которое приходилось преодолевать партии в борьбе. Возмущение этим злодеянием, охватившее народ с невиданной силой; устремление к Ленину любви и преданности и к врагам его аффектов гнева и ненависти показало Горькому то, как глубоко проникли идеи Ленина, идеи большевизма в народные массы.

В своих воспоминаниях о Ленине Горький рассказывает:

«Мы встретились очень дружески, но, разумеется, пронзительные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением» *(XVII, 30)*.

От этой встречи осталась страница воспоминаний Горького, проникнутая естественным субъективизмом вспоминающего. Объективные подробности свидания остались для нас закрытыми. Можно сказать только, что встреча давних друзей была очень волнующа, — с некоторым еще недоверием Горького к делу большевиков, с сожалением Ленина о заблуждениях Горького и с радостью, что вот он отойдет от своей глупенькой политики и еще «принесет много пользы всемирному пролетарскому движению».

Беседа Ленина с Горьким была, очевидно, глубоко замечательна. Мы знаем, что Ленин был «воспитателем» в лучшем значении этого слова. Мы знаем, что письма его к Горькому дают образцы сурового и твердого воспитания в смысле подчинения силе своих идей. Горький не зря говорит в своих воспоминаниях:

* У жены Горького, Е. П. Пешковой, была в Москве квартира, в которой жила она и сын Алексея Максимовича М. А. Пешков. — *И. Г.*

«Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго, заботливого друга» *(XVII, 44)*. Такой, очевидно, и была его беседа в это свидание.

Ленин хорошо знал Горького, знал, что все его резкости в «Новой жизни» ничто в сравнении с тем, что он несет в себе великое дарование пролетарского художника.

В одной из позднейших заметок Горький говорит: «...Со дня гнусного покушения на жизнь В. И. я снова почувствовал себя большевиком» *(XXIX, 625)*.

Вряд ли это было так. Но то, что Горький был снова под обаянием Ленина, как в Лондоне на V съезде социал-демократов, как на Капри, как в Париже, это было несомненно.

Результатом беседы было то, что Горький взял на себя активную работу по привлечению крупнейших интеллектуальных сил страны к советскому строительству, по восстановлению работы высших учебных учреждений, по изданию литературы для широких слоев трудящихся, по охране культурных ценностей страны, по организации быта ученых и писателей, — ту работу, которую он нес в течение трех лет до своего отъезда за границу и которая оставила неизгладимый след в истории советской культуры.

Особым письмом к В. И. Ленину Горький указывал на необходимость издания информационного журнала, который занимался бы подсчетом и разъяснением всего, что сделано за год советской власти. Писал, что необходимо дать агитаторам-коммунистам материал для агитации. Эта мысль впоследствии нашла свое выражение в журнале «Наши достижения».

И до этого Горького осаждали озлобленные революцией люди, недовольные даже его статьями в «Новой жизни», — сохранилось множество исступленных писем, — теперь нападки стали неизмеримо яростнее. «Большевику Максиму Горькому», — адресовано одно из таких писем. — Так как ты максим горький тыже Пешков есть изменник — предатель России а все изменники родины подлежат виселице то посылаю тебе изменнику петлю которую ты используй если хватит гражданского мужества, знай

что проклят ты. не помогут тебе и немецкие деньги. суд Божий и народа тяготеет над тобою».

Действительно, приложена петля и — подпись: «Вопль наболевшей души народа».

«Для нас ты — Каин, Иуда и Пилат русского народа», — писал в эмиграции писатель Чириков, писал, надо думать, от имени все того же «народа».

Но тотчас же появились и отклики другого порядка. Питерский рабочий Наумов с фронта, из штаба шестой армии, писал Горькому:

«Дорогой Алексей Максимович, с величайшей радостью прочел я сегодня заметку о том, что Вы встали в ряды работников по укреплению советской власти. Вы — горячо любимый писатель. Долго, скрытно и молчаливо я болел о Вас и теперь не могу не выразить своей радости. Вы меня не знаете, как не знаете и тысячи других, подобных мне, но это и не важно».

А с деревенского фронта борьбы с кулачеством писал ему рабочий, бывший сормовец Дмитрий Павлов, его боевой товарищ по организации Московского восстания, по подпольной работе 1916 года. Горький написал о нем замечательный очерк «Митя Павлов».

«Дорогой Алексей Максимович! — писал Д. А. Павлов. — Прежде всего позвольте выразить Вам свою глубокую радость, что Вы — наш, что Вы — окончательно с нами! А то как-то было больно там, внутри, во время горячей работы, когда напряжено все, а Вас среди нас нет! Я как-то не мог переносить этой мысли, привыкнув — десятки лет считать Вас своим близким нам рабочим — Другом и Учителем и главное Товарищем! О, сколько было передумано, перечувствовано вместе с Вами. Но ладно, главное Вы опять с нами, Вы наш, теперь-то от нас не уйдете, врете — не уйдете! И баста!»

2

29 ноября 1918 года Горький председательствует на митинге «Англия и Россия». В своей речи на этом митинге он говорит, что «культурное творчество русского рабочего правительства, совершаясь в условиях самых тяжких и требуя героического напряжения

энергии, постепенно принимает размеры и формы, небывалые в истории человечества... Факел русской революции, освещающий весь мир, крепко держит Владимир Ленин».

Через месяц Горький председательствует на Первом интернациональном митинге. День этот, 19 декабря, Горький назвал «праздником русского пролетариата», «большим днем русской революции». «Не так важны речи, не столь новы и ярки слова, сказанные русскому народу представителями разных государств и наций Европы и Азии, сколь важно и знаменательно чувство пламенного доверия к рабочей России, глубокое понимание исторической ее роли, выраженное двадцатью тремя ораторами» *(XXIV, 187—193)*.

После этого он помещает ряд статей в журнале «Коммунистический Интернационал». В этих статьях отражены как прежние «тревожные мысли» его о тяжелом духовном наследии старого мира, отравлявшем рабочие массы уродливым и пассивным отношением к труду, так и то новое, что теперь вошло в жизнь Горького, — восхищение революционной энергией русского пролетариата, начавшего своим движением процесс общеевропейской социальной революции и уже получавшего отклики на Западе, у братских отрядов пролетариата. И почти каждая статья его в то же время была призывом к международным революционным силам и к международной интеллигенции понять события в России.

«Надо понять, — писал он в статье «Вчера и сегодня», — что сегодня в пыли, грязи, в хаосе разрушения уже началась великая работа освобождения людей из крепкой, железной паутины прошлого, надо почувствовать, что вчерашнее зло доживает свои последние часы вместе с людьми вчерашнего дня.

Случилось так, что впереди народов идут на решительный бой за торжество справедливости бойцы наиболее неопытные и слабые — русские люди, люди страны отсталой экономически и культурно, люди, измученные своим прошлым более других. Еще вчера весь мир считал их полудикарями, а сегодня они, поч-

ти умирая с голода, идут к победе или на смерть пламенно и мужественно, как старые, привычные бойцы.

Честное сердце — не колеблется, честная мысль чужда соблазну уступок, честная рука не устанет работать, пока бьется сердце, — русский рабочий верит, что его братья по духу не дадут задушить революцию в России, не позволят воскреснуть всему, что смертельно ранено и издыхает...»

1919 год был годом наибольшего напряжения сил пролетарской революции. Едва отброшены были на юге банды Краснова, как в Сибири и на Волге появился Колчак с огромной армией. Разбив Колчака и оттеснив его в Сибирь, Красная Армия должна была напрячь все силы на борьбу с Деникиным, вступившим в среднюю полосу России. И одновременно белогвардейцы с запада начали поход на Петроград, причем во второе свое наступление подошли к самому городу. С Архангельска наступали войска интервентов.

Ленин — Председатель Совета Обороны — проявлял неутомимую энергию, отдавая распоряжения на все фронты, непоколебимо веря в революционные силы страны.

Выступая на конференции железнодорожников, он говорил:

«Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою, Советскую власть — власть трудящихся, что отстаивают то дело, победа которого им и их детям обеспечит возможность пользоваться всеми благами культуры, всеми созданиями человеческого труда» *.

Горький же в 1919 году, живя и работая в Петрограде, в обстановке развала промышленности, голода и истощения рабочих, испытывал всю тяжесть этих условий. Он говорил и писал Ленину об этом, писал о неустойчивости пролетарской базы революции, снова появились у него опасения, что деревня, мужик захватит и осилит революцию.

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 29, стр. 292.

Ленин понимал, что Горький, оставаясь в Петрограде, среди работы по охране культурных ценностей, по культурному строительству, не может увидеть подлинный размах революции, а жалобы интеллигенции, которой он был окружен, одуряют его.

Он пытался вырвать Горького из Петрограда, предлагая поехать на агитационном пароходе «Красная звезда» по Волге. Когда Горький категорически отказался, предлагал ему приехать в Горки: «...я на два дня часто уезжаю в деревню, где великолепно могу Вас устроить и на короткое и на более долгое время. ...Немножечко переменить воздух, ей-ей, Вам надо» *.

Горький упрямился и оставался в Петрограде.

Тогда в ответ на письмо Горького Ленин пишет ему 31 июля 1919 года, что Петроград один из наиболее больных пунктов за последнее время, что его население больше всего вынесло, рабочие больше всего наилучших сил поотдавали, голод тяжелый, военная опасность, бешеная атака внешних врагов, бешеная борьба с заговорами...

«Как и в Ваших разговорах, в Вашем письме — сумма больных впечатлений, доводящих Вас до больных выводов... Вы отняли у себя возможность то делать, что удовлетворило бы художника, — в Питере можно работать политику, но Вы не политик. Сегодня — зря разбитые стекла, завтра — выстрелы и вопли из тюрьмы, потом обрывки речей самых усталых из оставшихся в Питере нерабочих, затем миллион впечатлений от интеллигенции, столичной интеллигенции без столицы, потом сотни жалоб от обиженных...» **.

Ленин перечисляет все, что Горький, очевидно, высказывал в разговорах с ним и в письмах, причем перечисляет так, что все это приобретает свой масштаб и размеры в сравнении с происходящими огромными событиями. «Ни нового в армии, ни нового

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 346.
** Там же, стр. 347, 349.

в деревне, ни нового на фабрике Вы здесь, как художник, наблюдать и изучать *не можете»* *.

Ленин смотрел на всю страну, видя необъятные трудности, но видя и все то новое, что зарождалось в стране и каждый день приносило новые итоги.

Горький же, живя в Петрограде, видел эпидемии, голод, спекуляцию, беспорядок, разбитые стекла, поломанные машины и т. д. и т. п.

Ленин писал, что надо жить среди рабочих, крестьян и солдат, чтобы наблюдать строение новой жизни, что, живя в Петрограде, он ничего не видит, кроме жизни бывшей столицы, кроме «злобы столичной интеллигенции». Ввиду этого Ленин настойчиво советовал ему «радикально изменить обстановку, и среду, и местожительство».

Горький не «переменил местожительство», как ни убеждал его Ленин, но прямые и сокрушительные доводы письма его сделали свое дело.

В № 12 журнала «Коммунистический Интернационал» Горький поместил статью, в которой выразилось его отношение к Ленину, как собирателю сил русской и всемирной революции.

«Он не только человек, на волю которого, — писал Горький, — история возложила страшную задачу разворотить до основания пестрый, неуклюжий, ленивый человеческий муравейник, именуемый Россия, — его воля неутомимый таран, удары которого мощно сотрясают монументально построенные капиталистические государства Запада и тысячелетиями слежавшиеся глыбы отвратительных деспотий Востока» [1].

В этот период Горький еще не отрешился от представления об Октябрьской революции как о «гигантской попытке» претворить в дело учение социализма, как о всемирного значения социальном «опыте». Нельзя не видеть в то же время, что слова о «пестром, неуклюжем, ленивом человеческом муравейнике» соответствовали маловерию Горького, знатока «городков Окуровых», разворотить которые

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 349.

история возложила на гигантскую волю Ленина. Горький не мог понять, что Окуровы — прошлая эпоха, что Октябрьская социалистическая революция всколыхнула всю страну.

Интересно отметить, что в одно время со статьей Горького появилась и брошюра Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», в которой дана другая, ленинская, оценка движущих сил истории:

«История вообще, история революций в частности, всегда богаче содержанием, разнообразнее, разностороннее, живее, «хитрее», чем воображают самые лучшие партии, самые сознательные авангарды наиболее передовых классов. Это и понятно, ибо самые лучшие авангарды выражают сознание, волю, страсть, фантазию десятков тысяч, а революцию осуществляют, в моменты особого подъема и напряжения всех человеческих способностей, сознание, воля, страсть, фантазия десятков миллионов, подхлестываемых самой острой борьбой классов» *.

Когда Горький впоследствии в одном из писем вспоминал о своем «разногласии» с Лениным, он писал:

«Значение этих «разногласий», на мой взгляд, — весьма глубоко и может послужить темой для некоторых философических размышлений, ибо грубо «эмпирически», в деле знания действительности, я был, наверное, «опытнее» его, но он — «теоретик» — оказался неизмеримо глубже и лучше знающим русскую действительность...» *(XXX, 301)*.

В июле 1920 года Ленин приехал в Петроград. 19 июля проходило первое заседание II конгресса Коммунистического Интернационала в Таврическом дворце. Ленин выступил с докладом о международном положении. Встречен он был шумной и продолжительной овацией. Такая же овация провожала его после выступления.

К. Федин, бывший тогда журналистом, пишет в своих воспоминаниях:

«Было страшно тесно, в духоте и давке сотни лю-

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 31, стр. 75.

дей старались протолкаться вперед, чтобы ближе увидеть его, и все время, пока двигались по кулуарам, по круглому залу и вестибюлю, он был сдавлен народом». Вышли из давки на простор, и здесь К. Федин увидел Горького. «Горький стоял у колонны, позади Ленина, без шляпы, голова его, залитая солнцем, была видна далеко... Я увидел на лице Горького новые черты, каких не помнил из прежних встреч. Он был, наверно, до глубины взволнован и преодолевал волнение, и это сделало его взгляд жестким, всегда живые складки щек неподвижными. Он показался мне очень властным, и все лицо его словно выражало непреклонность, которая только что прозвенела в речи Ленина и которой дышал весь конгресс» [2].

Эта встреча Горького с Лениным была завершением их отношений в 1918—1920 годах.

Горький рассказывал, как Владимир Ильич ходил по улицам города, словно прощаясь с ним навсегда, а перед отъездом на вокзал заехал к Горькому.

3

Горький часто приезжал в Москву, новую столицу Советской России, к Ленину.

Вопросы, по которым Горький обращался непосредственно к Ленину, были разнохарактерны. Помимо обычных дел по своей культурной работе, здесь были вопросы изобретательства, творчества ученых, учреждение экспертной комиссии, борьба с детской преступностью, инициатива Горького в издании декрета о конфискации имущества белоэмигрантов ради их культурных ценностей, учреждение Дома ученых, реэвакуация Эрмитажа, издание научных работ, помощь Пулковской обсерватории и т. д. и т. п.

«Чувство огромной радости наполняло всех нас, работников секретариата Владимира Ильича, в те дни, когда к нему приходил Горький. Радость эта вызывалась совершенно особым приподнятым настроением Владимира Ильича, передававшимся нам, его нетерпеливым ожиданием Горького, его большой, для всех ощутимой любовью к Горькому, как к близ-

кому другу, как к человеку, отдавшему весь свой огромный талант делу пролетарской революции».

Так писала М. Гляссер, работник секретариата Ленина [3].

Характерна резолюция Ленина на одном из документов о помощи ученым:

«Товарищи! Очень прошу Вас во всех тех случаях, когда т. Горький будет обращаться к Вам по подобным вопросам, оказывать ему *всяческое* содействие, если же будут препятствия, помехи или возражения того или иного рода, не отказать сообщить мне, в чем они состоят» [4].

Несомненно, что много дел, по которым обращался Горький к Ленину, не осталось ни в его памяти, ни в истории. Так, видно, что Горький ходатайствовал перед Лениным по делу Института востоковедения. Об этом свидетельствует ответ его директору института:

«...Очень тронут неожиданным и едва ли заслуженным мною приветствием Института востоковедения.

Разумеется, я не думаю, чтобы моя роль в деле создания института была так «крупна», как вы говорите. Вы совершенно правы в догадке о том, что я забыл сей факт и не помню, что именно писал Владимиру Ильичу о Востоке.

Я слишком часто обременял его в те трудные годы различными «делами» — гидроторф, дефективные дети, аппарат для регулирования стрельбы по аэропланам и т. д.; великолепнейший Ильич неукоснительно называл мои проекты «беллетристикой и романтикой». Прищурит милый, острый и хитренький глаз и посмеивается; выспрашивает: «Гм-гм, опять беллетристика?»

Но иногда, высмеивая, он уже знал, что это — не «беллетристика». Изумительна была его способность конкретизировать, способность его «духовного зрения» видеть идеи, воплощенными в жизнь» [5].

Встречаясь с Лениным, Горький часто говорил о своих наблюдениях в Питере. Так, в Горках, летом 1920 года, он жаловался Ильичу на то, что, разбивая

деревянные дома на топливо, питерские рабочие ломают рамы, бьют стекла, зря портят кровельное железо, а у них в домах крыши текут, окна забиты фанерой и т. д. Ленин промолчал, а Горький подумал: «Надоедаю пустяками».

«А после чая пошли гулять, и он сказал мне: «Напрасно думаете, что я не придаю значения мелочам, да и не мелочь это — отмеченная Вами недооценка труда, нет, конечно, не мелочь: мы — бедные люди и должны понимать цену каждого полена и гроша. Разрушено много, надобно очень беречь все то, что осталось, что необходимо для восстановления хозяйства...» Говорил он на эту тему весьма долго и я был изумлен тем, как много он видит «мелочей» и как поразительно просто мысль его восходит от ничтожных бытовых деталей к широчайшим обобщениям» [6].

Очевидно, результатом этих бесед было появление в «Петроградской правде» и в «Красной газете» серии статей Горького «Беседы о труде», о бессмысленности неразумного истребления вещей, которое является действием «и политически и социально преступным» [7].

Когда IX съезд РКП(б) решил превратить праздник 1 Мая во всероссийский субботник, Горький поместил в «Правде» статью «Путь к счастью». В ней он писал:

«Где-то, в темных уголках, пауки пытаются починить паутину, прорванную вихрем революции. А мы должны знать и уметь чувствовать, что наша трудная, будничная с виду работа имеет глубочайшее значение для всего мира, что каждое разумное и честное усилие, направленное на борьбу с разрухой, теперь имеет небывало огромный смысл, величайшее значение» *(XXIV, 213)*.

Алексей Максимович не уставал повторять, что «путь к счастью» лежит через упорный труд, что надо знать нам, чем мы богаты и бедны, какие у нас достоинства и недостатки, как он говорил в речи о борьбе с неграмотностью.

Самым значительным культурно-государственным

предприятием Горького в эти годы было издательство «Всемирная литература». Горький задался целью дать советскому читателю всю классическую литературу Запада и Востока в новых, проверенных переводах, со статьями и комментариями. Он объединил вокруг издательства лучших писателей, ученых и переводчиков. Книги «Всемирной литературы» выходили непрерывно, пока Горькому не пришлось уехать за границу.

К. И. Чуковский рассказывает в своих воспоминаниях о том, как работала коллегия из академиков и профессоров, виднейших писателей и переводчиков:

«В течение нескольких лет мы вели эту работу под председательством Горького, и тут впервые для меня обнаружились такие его черты, о которых я и не подозревал до тех пор.

...Оказалось, что он первоклассный знаток иностранной словесности. В публике издевались: «Пролетарий, не знает ни одного языка, а председательствует в ученой коллегии!» Но этот пролетарий оказался ученее иного профессора. О ком бы ни заговорили при нем: о Готорне, Уордсворте, Шамиссо или Людвиге Тике, он говорил об их писаниях так, словно изучал их всю жизнь, хотя часто произносил их имена на нижегородский манер. Назовут, например, при нем какого-нибудь мелкого француза, о котором никто никогда не слыхал, мы молчим и конфузимся, а Горький говорит деловито:

— У этого автора есть такие-то и такие-то вещи. Эта слабовата, а вот эта (тут он расцветает улыбкой) — отличная, очень сильная вещь» [8].

Эрудиция Горького отмечается множеством людей, с которыми он имел дело. Однажды К. Федин принес ему в подарок книжечку Нарсеса Клаэнского, патриарха всеармянского. Издана она была в Венеции. В ней был перевод одной и той же вещи на двадцати четырех языках.

«Горький оценил курьез, — пишет Федин, — и мне было приятно, но я тотчас забыл об удовольствии, потому что оно вытеснилось изумлением... Горький сказал:

— Да, был такой. Кажется, в двенадцатом веке. Он еще другое имя носил. Если не ошибаюсь, — Шноргали. Он был не только богослов, но и поэт... А что в Венеции издано — понятно. Вам известно о тамошней армянской колонии?..

И он стал говорить о венецианских армянах так, будто только что приготовился читать курс по истории Армении» [9].

С кем бы ни беседовал Горький: с ученым-археологом, географом, путешественником — он проявлял огромные знания, удивлявшие его собеседника. Вспоминаются под его председательством заседания по «Библиотеке поэта», его эрудиция в области русской культуры прошлого.

Он принимает участие в работах Петроградского театрального отдела, организуя Большой драматический театр с репертуаром высокой трагедии. «В наше время, — говорил Горький, — необходим театр героический». В то же время он пишет для Театра народной комедии пьесу «Работяга Словотеков» — первую сатиру в советской драматургии.

В резолюциях VIII партийного съезда (март 1919 года) содержится призыв к борьбе с бюрократизмом. «Против этого зла необходимо начать самую решительную борьбу немедленно же» [10].

«Работяга Словотеков» был ответом Горького на этот призыв. Словотеков — герой болтовни, в которой тонут все нужды города и революционного порядка. В его речи слышатся слова: организация, коллегиальность, концентрация, утилизация, экономика и т. д., но никакой помощи население от Словотекова не видит. Праздное слово и никакого дела — вот тема пьесы.

Пропагандируя труд, Горький задумал создание цикла инсценировок из истории культур всех народов. В статье «Инсценировка истории культуры» он писал:

«...Чтобы воспитать в человеке массы иное, более сознательное отношение к самому себе, к своему труду, необходимо показать ему весь, по возможности, процесс постепенности, с которой человечество овла-

дело своими способностями, показать, как возникли и развивались его духовные запросы, как медленно, но неуклонно он побеждал сопротивление животных инстинктов в себе самом и овладевал стихийными энергиями природы...»[11]

Алексей Максимович вел непрерывно культурно-просветительную работу, не избегая никакого будничного дела: читал лекции в Ассоциации пролетарских писателей и даже в литературном кружке милиционеров.

«Как я живу — спрашиваете Вы, — пишет он Герберту Уэллсу. — Очень много работаю в области просвещения народа, но ничего не пишу» *(XXIX, 393)*.

Это было не совсем так. Горький в свободные от работы часы писал «Казанскую жизнь», впоследствии названную «Мои университеты» (продолжение повести «В людях»), и выпустил книгу «Воспоминания о Льве Толстом».

Книга о Толстом является одной из лучших книг Горького. С огромной художественной силой он вылепил образ гениального писателя, показав Толстого во всех его противоречиях.

Горький рассказывает об одном из свиданий с Лениным в Москве. Ленин жаловался:

«...Читать — совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

— Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Вот это, батенька, художник... И — знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было» *(XVII, 38—39)*.

Горький вспоминает, что при свиданиях они не раз говорили о литературе: об Иване Вольном, о Маяковском, Демьяне Бедном, о пролетарской литературе.

В 1921 году Горький редактирует литературно-художественный отдел журнала «Красная новь», первого советского толстого журнала, пока поездка за границу не прерывает этой работы.

18 января В. И. Ленин пишет А. Луначарскому о словаре Даля:

«Великолепная вещь, но ведь это *областнический* словарь и устарел. Не пора ли создать словарь *настоящего* русского языка, скажем, словарь слов, употребляемых *теперь* и *классиками,* от Пушкина до Горького» *.

Так Ленин впервые называет Горького классиком русской литературы.

Жизнь в Петрограде и напряженная работа усилили нездоровье Горького. Узнав об этом, Ленин, встревоженный, стал настаивать на выезде Горького за границу для лечения.

Он писал Менжинскому:

«Помочь Горькому надо и быстро, ибо он из-за этого не едет за границу, а у него кровохарканье» **.

9 августа 1921 года Ленин писал Горькому:

«А у Вас кровохарканье, и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и не расчетливо. В Европе, в хорошей санатории будете и лечиться и втрое больше дело делать. Ей-ей... Уезжайте, вылечитесь. Не упрямьтесь, прошу Вас!» *(XVII, 40).*

У Горького сильно обострился туберкулезный процесс. Вскоре он выезжает за границу с намерением вернуться в конце марта 1922 года.

На самом же деле получилось так, что он два с половиной года лечился в санаториях Германии и Чехословакии, а весной по указанию врачей поселился в Италии.

Но это не было для него временем отдыха и покоя. Это было периодом возвращения его к интенсивнейшей художественной работе.

Ленин был прав, когда писал ему: «в хорошей санатории будете и лечиться и втрое больше дело делать».

В течение нескольких лет Горьким написано было семь новых книг: «Мои университеты», «Воспоминания», «Рассказы 1922 — 24 гг.», «Заметки из днев-

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 35, стр. 369.

** «Ленинский сборник» XX, стр. 324.

ника», «Дело Артамоновых» и два тома эпопеи «Жизнь Клима Самгина».

Повесть «Мои университеты» — третья часть автобиографической трилогии, начатой повестями «Детство» и «В людях».

В ней Горький возвращается ко времени своей молодости. Он — в Казани, рабочий крендельной пекарни казанского купца Семенова, потом подручный пекаря в булочной Деренкова.

Здесь, в Казани, живя с грузчиками, он впервые понял значение труда в жизни человека.

«Меня влекло на Волгу к музыке трудовой жизни; эта музыка и до сего дня приятно охмеляет мне сердце; мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда».

Горький участвует в разгрузке баржи под дождем и ветром. Эта сцена словно адресована советской молодежи, которая должна была строить свое государство с невиданной силой.

Здесь он встречается со свободолюбивой студенческой молодежью, в речах которой, ему казалось, звучали его «немые думы»; здесь он сам пытается «пропагандировать» среди забитых и измученных работой крендельщиков.

Приехав в Казань с мечтой об университете, он попадает в подвал булочной.

Перед Лениным, который в те же годы приезжает в Казань, двери «императорского» университета раскрылись ненадолго. В декабре 1887 года в Казанском университете возникли волнения, в результате которых студент Ульянов с группой товарищей исключен был из университета.

И случилось так, что повесть об этом времени, вышедшая в 1923 году, была для Ленина последним произведением Горького. «...Помню, — пишет Н. К. Крупская, — как слушал он «Мои университеты» в последние дни своей жизни» [12].

И еще один факт сообщает Н. К. Крупская в письме к Горькому. Речь идет о статье Горького в журнале «Коммунистический Интернационал»:

«...И все вспоминалось мне, я раз уже писала

Вам об этом, — как Ильич в последний месяц своей жизни отыскал книгу, где Вы писали о нем, и велел мне вслух читать Вашу статью. Стоит у меня перед глазами лицо Ильича, как он слушал и смотрел в окно куда-то вдаль — итоги жизни подводил и о Вас думал» [13].

Смерть Ленина поразила и потрясла Горького. Она застала его больным, на чужбине. «Смерть Ленина лично для меня тяжелый удар», — пишет он по получении известия о кончине Ленина [14].

4 февраля 1924 года он пишет М. Ф. Андреевой:

«Получил твое — очень хорошее — письмо о Ленине. Я написал воспоминания о нем...

Писал и обливался слезами. Так я не горевал даже о Толстом. И сейчас вот — пишу, а рука дрожит» *(XXIX, 420)*.

Памятью о Ленине были проникнуты и все последующие годы его жизни. В 1930 году, прочтя воспоминания Н. К. Крупской о Ленине, он пишет ей о волнении, какое вызвали в нем эти воспоминания: «И всю ночь я думал о том: какой светильник разума угас, какое сердце биться перестало!»

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Свои замечательные воспоминания о Ленине Горький впоследствии расширил и углубил.

Горький называл Ленина величайшим вождем. Человек простых и великих мыслей, он, по выражению Горького, стоял всегда на прямой линии к правде. Он был человек бесстрашного разума, сам простой и прямой, как правда, революционный гений небывалого размаха и основоположник новой, социалистической культуры.

Алексей Максимович был неудовлетворен своими воспоминаниями в первой редакции. «...Я написал о Владимире Ильиче плохо. Был слишком подавлен его смертью и слишком поторопился выкричать мою личную боль об утрате человека, которого я любил очень» [15].

Может быть, с воспоминаниями о Ленине связана и работа над романом «Дело Артамоновых». Алексей Максимович вплотную занялся им после смерти Ленина, весной 1924 года, поселившись в Сорренто.

Когда он в 1910 году рассказал Ленину сюжет романа, историю одной семьи, родоначальником которой является крестьянин, отпущенный на волю помещиком, Ленин очень внимательно слушал, выспрашивал, потом сказал:

«Не вижу: чем Вы ее кончите? Конца-то действительность не дает. Нет, это надо писать после революции...» [16].

Горький принимался за роман до революции. В «Летописи» 1916 года была объявлена повесть «Атамановы». Но «конца», о котором говорил Ленин, не было.

Только после революции Горький осуществил завет Ленина и свой творческий замысел. Перемена названия красноречиво говорит об изменениях в повести.

Своему старому другу А. Е. Богдановичу он писал 4 августа 1925 года:

«Написал повесть «Дело Артамоновых», скоро пришлю Вам. Большая»[17].

Повесть «Дело Артамоновых» является историческим осмыслением процесса роста и падения русской буржуазии в период пореформенного времени (с 60-х годов), кончая революцией. На протяжении этого времени мы видим историю трех поколений фабрикантов Артамоновых.

Родоначальник семьи Илья Артамонов, широкоплечий, мощный человек, в крепостное время был приказчиком князей Ратских, а по воле отошел от него и решил свое дело ставить: фабрику полотна. Для того и прибыл в город Дремов. Хищник и стяжатель, Илья Артамонов сохранил от своего мужицкого прошлого крепкую крестьянскую силу, еще не растраченную энергию рабочего человека. Этот выходец из трудового народа становится зачинателем промышленного строительства.

Такие типы выходцев из крестьянства Горький считал пропущенными русской литературой. Он пишет, что до отмены крепостного права «крепостная деревня уже обильно выдвигала из своей темной среды талантливых организаторов промышленности: Кокоревых, Губониных, Морозовых, Колчиных, Журавлевых и т. д. Крестьянская масса, выдвигая таких людей, как бы демонстрировала этим силу и талантливость, скрытую в ней. Но дворянская литература как будто не видела, не чувствовала этого и не изображала героем эпохи волевого, жадного до жизни, реальнейшего человека — строителя, стяжателя, «хозяина»...» *(XXIV, 474)*.

Илья Артамонов — из таких предпринимателей — энергичный, здоровый, сильный и жестокий.

«Артамонов поднял длинную лапу, докрасна сжав пальцы в кулак.

— Я людей обламывать умею, вокруг меня не долго попрыгаешь...»

К своему барину, князю Ратскому, относится он со снисходительным презрением.

«Покойный князь Юрий семь тысяч книг перечитал и до того в мысли эти углубился, что и веру в бога потерял. Все земли объездил, у всех королей принят был, — знаменитый человек! А построил суконную фабрику — не пошло дело... Так всю жизнь и прожил на крестьянском хлебе».

Племянник Ильи Артамонова Алексей в «присловьи» во время пляски так говорит о барах:

У барина у Мокея
Было пятеро лакеев,
Ныне барин Мокей
Сам такой же лакей!

Петр Артамонов, сын Ильи, превращается из милого и простого парня в собственника — в преступное, пьяное и распущенное существо.

Брат Петра Никита, горбун, уходит от преступной, распутной и жестокой жизни Артамоновых в монастырь.

Тихон Вялов, дворник Артамоновых, говорит:

«Веры вы, Артамоновы, и меня лишили... Ни бога, ни чорта нет у вас. Образа в доме держите для обмана. А что у вас есть? Нельзя понять. Будто и есть что-то. Обманщики. Обманом жили».

Тихон является как бы судьей Артамоновых, судьей, знающим все преступления, все грехи хозяев.

«...Дворянская наша литература, — писал Горький в одной из статей, — любила и прекрасно умела изображать крестьянина человеком кротким, терпеливым, влюбленным в какую-то надземную «Христову правду», которой нет места в действительности, но о которой всю жизнь мечтают мужики, подобные

Калинычу Тургенева из рассказа «Хорь и Калиныч» и Платону Каратаеву из «Войны и мира» Толстого. Таким кротким и выносливым мечтателем о «божеской правде» начали изображать крестьянина лет за двадцать до отмены крепостного права...»

Жизнь выдвигала фабрикантов, судостроителей, торговцев, все это были «вчерашние мужики», а литература продолжала «любовно изображать кроткого раба, совестливого Поликушку» * *(XXIV, 474)*.

В образе Тихона Вялова Горький показал крестьянина не прощающего, а судящего Артамоновых.

Ромену Роллану в ответ на его письмо Горький писал, что против старика Артамонова им поставлен Тихон Вялов, «видоизмененный тип Платона Каратаева из «Войны и мира» *(XXX, 91)*.

«Делом Артамоновых» Горький показал начало буржуазного промышленного строительства, расцвет его и гибель под ударами пролетарской революции.

«Работы вам и детям вашим и внукам довольно будет. На триста лет», — говорил Илья Артамонов, родоначальник капиталистической семьи.

Но он ошибся. Горький мастерски изобразил, как растет рабочий класс, как рабочие говорят: «все — от нас, мы — хозяева», как, несмотря на то, что «фабрика, люди, даже лошади — все работало, как заведенное на века», шум в рабочем поселке города Дремова становился все беспокойнее, а рабочие все злее, чахоточнее.

Илья-младший говорит отцу, Петру Артамонову, указывая на кресты: «Вот там целое кладбище убитых фабрикой».

Пролетарская революция опрокинула Артамоновых и рассеяла их по земле. Политическое значение романа в том, что показана закономерность, неизбежность гибели капитализма, и это показано в эпоху, когда новобуржуазные группы толковали о возможности реставрации капитализма в СССР. Горький своим романом хоронил эти «идеи» и, обращаясь

---

* Поликушка — герой одноименного рассказа Л. Толстого.

к советскому читателю, указывая «конец» Артамоновых, блестяще выполнил завет Ленина.

Творческий подъем Горького-художника в эти годы был изумительный. Уже весной 1925 года, почти тотчас по окончании «Дела Артамоновых», Горький говорил одному из своих посетителей:

«...Пишу, да! Пишу большую вещь. Первый раз пишу «такое» и не знаю еще, что получится.

— Хроника, да, пожалуй, хроника. На всем протяжении романа показываю, как формировались большевистские идеи. Думаю довести до 1918 года, захватив обе революции» [18].

Вещь эта в беседе не названа, но нет сомнений, что речь шла о повести, которая получила потом название «Жизнь Клима Самгина».

Возобновив свой старый, еще каприйский замысел об изображении интеллигента, отходящего от революции после ее поражения в 1907 — 1908 годах, Горький реализовал теперь эту тему в форме большого произведения, далеко, по-видимому, оставившего за собой первоначальный замысел.

О замысле этого произведения Горький рассказывал в 1932 году в беседе на расширенном заседании рабочего редсовета издательства ВЦСПС:

«Эта книга затеяна мною давно, после первой революции 905 — 6 года, когда интеллигенция, считавшая себя революционной, — она и действительно принимала кое-какое участие в организации первой революции, — в 7 и 8 годах начала круто уходить направо... У меня явилось желание дать фигуру такого, по моему мнению, типичного интеллигента. Я его знал лично в довольно большом количестве... Вам, вероятно, не нужно напоминать о том, что интеллигенция, которая живет в эмиграции за границей, клевещет на Союз Советов, организует заговоры и вообще занимается подлостями, — эта интеллигенция в большинстве состоит из Самгиных» *(XXVI, 93)*.

«Жизнь Клима Самгина» — картина интеллектуальной и социальной жизни России последних десятилетий перед революцией 1917 года. Но вещь эта

построена так, что все многообразные и бурные события эпохи преломляются через сознание центрального персонажа повести, Клима Самгина, «интеллигента средней стоимости», и это сделано Горьким с блистательным искусством.

Эта эпопея явилась сильнейшим разоблачительным материалом, памфлетом против той, связавшей себя с капитализмом, части интеллигенции, которая закономерно переходила в лагерь заклятых врагов революции.

Занятый напряженной творческой работой, Горький и за рубежом прикован был мыслями к своей Родине. Он с величайшим вниманием следил за советской жизнью, советской прессой, советской литературой, и как-то само собой получалось, что рабкоры, селькоры, начинающие писатели и просто рядовые участники социалистической стройки ежедневно со всех концов страны направляли ему десятки писем, рукописей, запросов, посылали свои литературные опыты и рассказывали о своей работе, как доброму советчику, наставнику и другу.

«Ему шлют такое количество рукописей, — пишет Д. А. Лутохин, — какого, вероятно, не получает ни одна редакция в мире, но если редакция все неподходящее либо бросает в корзину, либо просто возвращает с лаконической пометкой «не подходит», то Горький каждому дает практические советы.

Он особенно внимателен к начинающим. Тут он делает титанические усилия, чтобы разбудить в новичке заложенные в нем таланты, окрылить в нем смелость, приохотить к работе над самим собой» [19].

Писали со всех концов Советского Союза, иногда с самыми фантастическими адресами. Впрочем, адрес не имел никакого значения, потому что все европейские почтовые магистрали направляли письмо в Сорренто по одному только имени — Горький.

В письме 1926 года Горький так передавал свое впечатление от этой переписки:

«Иногда начитаешься писем, в которых всегда смех и слезы рядом, и так захочется домой, что, ес-

ли бы не роман (Клим Самгин), уехал бы в глушь к чертям диким»[20].

Так азартно пишет Горький о своем желании поехать в Россию.

Здоровье его к тому времени несколько улучшилось, и, решив ехать в Советскую Россию тотчас по окончании романа, Горький пишет:

«Я — человек жадный на людей и, разумеется, по приезде на Русь работать не стану, а буду ходить, смотреть и говорить. И поехал бы во все места, которые знаю: на Волгу, на Кавказ, на Украину, в Крым, на Оку и по всем бывшим ямам и ухабам. Каждый раз, — а это каждый день! — получив письмо от какого-нибудь молодого человека, начинающего что-то понимать, чувствуешь ожог, хочется к человеку этому бегом бежать. Какие интересные люди и как все у них кипит и горит! Славно»[21].

В чем радость Горького — легко понять и по этим отрывочным сообщениям.

На Родине шел интенсивный процесс все большего освобождения потенциальной энергии масс, все более мощно росли творческие созидательные силы.

Под руководством большевистской партии рабоче-крестьянские массы, разбив в гражданской войне врагов революции, восстановив промышленность страны, переходили к работам реконструктивного периода. Эта аргументация героической практикой давно заставила Горького пересмотреть вопрос о силе потенциальной энергии деревни. «Весьма возможно, — писал он, — что со временем будет сказано: «За десятилетие с Октября 17 г. до 27 года русская деревня шагнула вперед на полсотни лет...» *(XXIX, 490)*.

А в одной из статей своих 1927 года, посвященной рядовому строителю социализма, он писал:

«Моя радость и гордость — новый русский человек, строитель нового государства.

К этому маленькому, но великому человеку, рассеянному по всем медвежьим углам страны, по фабрикам, деревням, затерянным в степях и в сибир-



А. М. Горький, В. И. Качалов и К. С. Станиславский.
Москва, 1928 год.



А. М. Горький на крыше дома газеты «Известия», Москва, 1928 год.

ской тайге, в горах Кавказа и тундрах Севера, — к человеку, иногда очень одинокому, работающему среди людей, которые еще с трудом понимают его, к работнику своего государства, который скромно делает как будто незначительное, но имеющее огромное историческое значение дело, — к нему обращаюсь я с моим искренним приветом.

Товарищ! Знай и верь, что ты — самый необходимый человек на земле. Делая твое маленькое дело, ты начал создавать действительно новый мир» *(XXIV, 293)*.

Так приветствовал Горький работников, которые делали великое дело организаторов России, как страны, из которой на всю «нашу человеком созданную землю» должна излиться и уже изливается энергия творчества.

А в одном из писем он сообщал:

«Мне хочется написать книгу о новой России. Я уже накопил для нее много интереснейшего материала... Это — серьезнейшее дело. Когда я об этом думаю, у меня волосы на голове шевелятся от волнения» *(XVII, 482)*.

Но нужно было самому поехать на Родину, чтобы убедиться глазами художника, что творится в ней. Еще в августе 1925 года он писал:

«Наверное поеду в Россию весной 26 года, если к тому времени кончу книгу».

Около того же времени Горький писал А. Е. Богдановичу в связи с публикацией своих воспоминаний о 1890-х годах:

«Написать об этих годах я мог бы и еще многое, но сознательно придушил себя, ибо питаю намерение писать нечто вроде хроники от 80-х годов до 918-го. Уже пишу. Не уверен, удастся ли».

Из этих сообщений видно, что вначале «Жизнь Клима Самгина» представлялась Горькому произведением значительно меньших размеров.

Весною 1925 года он рассчитывал кончить работу «к осени», а в августе срок этот отодвигался до весны 1926 года. Намереваясь написать роман в одной книге, он предполагал работать над ним еще восемь-де-

вять месяцев. Однако через четыре месяца работы, в декабре 1925 года, он пишет В. Я. Шишкову так:

«Когда я вернусь в Россию? Когда кончу начатый мною огромнейший роман. Просижу я над ним не менее года, вероятно. В России же я работать не стану, а буду бегать по ней, как это делаете Вы».

В дальнейшем план романа все расширялся. Еще спустя четыре месяца, 1 мая 1926 года, Алексей Максимович пишет А. П. Чапыгину:

«...Да и сам тоже пишу нечто «прощальное», некий роман, хронику сорока лет русской жизни. Большая — измеряя фунтами — книга будет, и сидеть мне над нею года полтора».

Вскоре определился и перспективный объем эпопеи.

В письме к автору этих строк от 7 июля 1926 года Алексей Максимович сообщает:

«О новой вещи — рано говорить. Это будет книга в 3 т., листов 45. Написал я только один».

Судя по этому вычислению, к лету 1926 года было написано пятнадцать листов, то есть первый том в его первоначальном объеме.

23 сентября 1926 года Алексей Максимович писал мне:

«О здоровьи ничего хорошего не могу сообщить. Болит, черт бы ее побрал, правая рука в плече, а также болит голова, которая раньше никогда не болела. Затем — бронхит, обязательная дань осени. Мешает мне это — отчаянно. Пишу же я роман, том второй, и больше ничего не могу писать».

К концу 1926 — началу 1927 года первый том в его окончательном объеме был написан, но Алексей Максимович еще некоторое время колебался, выбирая черту раздела. Первый том «трилогии», как тогда Алексей Максимович представлял себе эту вещь, вышел только летом 1927 года. Вышел в объеме, вдвое превышающем первоначально намеченный. Но уже с начала 1927 года материал второго тома был в работе, и работа эта продолжалась весь 1927 год.

27 декабря этого года Алексей Максимович, полу-

чив первый том романа в издании ГИЗа, писал мне шутливо:

«Самгин» в издании Московском на 119 страниц больше Берлинского — ужас! А второй том у меня в рукописи больше первого. Утешаюсь тем, что в «Обломове» 700 стр.».

Наличие второго тома в рукописи еще не означало конца работы над ним. Окончание этой работы определяется более точно тоже шутливым письмом ко мне 21 февраля 1928 года:

«Кончил второй том Самгина. Рад. Не знаю, обрадуются ли читатели. Советовал бы. А то — напишу еще том» [22].

Работа над «обширнейшим романом», как Алексей Максимович называл «Жизнь Клима Самгина» в письмах, задерживала его приезд в Советский Союз, куда он собирался приехать еще весною 1926 года. В письмах своих к разным лицам он неоднократно сообщал, что приедет тотчас по окончании романа.

«Много любопытного на Руси, и очень хочется пощупать все это, — пишет он в 1926 году, — но увяз в романе и раньше, чем кончу его, не увижу Русь» *(XXIX, 474)*.

Однако к весне 1928 года он закончил только второй том и, не выдержав поставленного им себе срока, прервал работу над романом и в мае 1928 года приехал на Родину.

2

Еще в Негорелом, в то время пограничной с Польшей станции, Горького восторженно встретило местное население. И на всем пути до Москвы волны горячего привета подымались со всех сторон навстречу Горькому.

Сцены приезда Горького в Москву, толпы на площади Белорусско-Балтийского вокзала, митинг, общее ликование — все это осталось в памяти страны, как великолепный праздник.

«...Взволнованный энтузиазмом встречи, — писал Алексей Максимович в газете, — я и сейчас не могу

уложить в слова мои чувства. Не знаю, был ли когда-либо и где-либо писатель встречен читателями так дружески и так радостно. Эта радость ошеломила меня. Я не самонадеян и не думаю, что моя работа заслужила такую высокую оценку... Самое важное и радостное в этой изумительной встрече то, что я увидел, почувствовал: молодые силы Союза Советов умеют ценить работу, умеют восхищаться ею. А это значит, что они уже поняли, чувствуют глубочайшее интернациональное — мировое значение той работы, к которой они готовятся и которую делают... Невыразимо словами знать это, дорогие товарищи!» [23]

В Свердловском университете, на заводе «АМО», на «Трехгорной мануфактуре», на заседании Моссовета, на пленуме МГСПС, в рабочих клубах, у московских рабкоров, в Коммунистическом университете трудящихся Востока, в Центральном доме Красной Армии, в редакциях журналов, в «Крестьянской газете», у краеведов, в Доме ученых — везде встречали Горького как родного писателя.

На одном из собраний он говорил:

«Мне так кажется, что я в России не был не шесть лет, а по крайней мере двадцать. За это время страна помолодела. Такое впечатление, что среди старого, в окружении старого растет новое, молодое... Вот что я вижу. Молодую страну я вижу. И я за это время помолодел» [24].

В один из первых дней приезда Горький был в Мавзолее Ленина. Полчаса он стоял безмолвно у гроба своего великого друга, основателя Советского государства, создателя нового мира...

Хотя Горький и сообщал, что по приезде «работать не станет, а будет ходить и смотреть», но трудно было этому поверить, — до такой степени представление о нем связано с представлением о работе.

И действительно, с первых же дней Горький включился в повседневную советскую культурную работу, если можно назвать повседневностью ту мощную инициативу, которую он давал советской мысли.

Уже на третий день после приезда, на заседании Моссовета Горький, отвечая на приветствия, выступил

с предложением создать журнал «Наши достижения». Горький говорил, что трудящимся нашей страны необходимо завести зеркало, где они видели бы свои достижения не в одной только плоскости, но всюду, во всех областях науки, культуры и производства.

9 июня Горький выступил с речью на происходившем в Москве Всесоюзном съезде пищевиков.

«Дорогие товарищи, — сказал в ответ на приветствия Алексей Максимович. — Я мог бы рассказать вам, что я видел здесь в Москве и по дороге сюда и что меня действительно омолодило по крайней мере лет на двадцать. А чувствую я себя так потому, что попал в атмосферу изумительного напряжения энергии, умного и здорового творчества, которое, несмотря на трудности, вы осуществляете в такой небывалой форме... Будет на земле — и скоро будет — осуществлена идея универсальной справедливости. Люди будут свободными, умными, здоровыми и смелыми. И вы ведете мир к этому» [25].

Особенно поразили Горького встречи с молодежью. В одной школе, на празднике, четырнадцатилетний мальчик, а за ним девочка, немного старше его, говорили речи — мальчуган о текущем моменте и задачах воспитания, девочка — о значении науки.

«Мальчуган, — пишет Горький, — может быть, неожиданно для себя самого, сказал неслыханные, поразившие меня слова:

«Наши друзья отцы и матери, наши товарищи!»

Говорил он, как привычный оратор, свободно, с юмором, даже красиво; девочка говорила с большим напряжением чувства, тоже своими словами о борьбе знания с предрассудками и суевериями, о «богатырях науки».

«Ну, эти двое — исключительно талантливы», — подумал я.

А затем на различных собраниях я слышал не один десяток таких же ораторов-пионеров» *(XVII, 177)*.

Горький бывал не только на различных собраниях, на предприятиях, в учебных заведениях, — он

много ходил по московским улицам, заговаривал с людьми, которых встречал во время этих прогулок. Об этом своем способе наблюдать московскую жизнь Горький писал Н. А. Пешковой 26 июня:

«Ходил по улице загримированный, с бородою; это — единственный способ видеть, не будучи окруженным зрителями... видел много интересного и наверное не раз повторю прием наблюдения, ничем не стесняемого» [26].

Значительным событием в писательских кругах было большое собрание писателей с участием Горького. Здесь среди писателей были и те, которых он вывел в литературу, были те, книги которых он читал в Сорренто, были и такие, которых он совсем не знал.

Горький зорко вглядывался в лица. Это была новая, советская литература. Горький говорил возбужденно и страстно, как бы желая передать свое, продуманное десятилетиями, отношение к литературе.

«Я привык смотреть на литературу, как на дело революционное. Всякий раз, когда я говорю о литературе, я как-будто вступаю в бой, я готов бываю поссориться с действительностью во имя человека, который мне дороже всего, выше всего. У нас начинает слагаться новый слой людей. Это — мещанин «героически» настроенный, способный к нападению... Этот новый слой мещанства организован изнутри гораздо сильнее, чем прежде, он сейчас более грозный враг, чем был в дни моей молодости. Литература должна быть теперь еще более революционной, чем тогда, надо бороться, надо эту действительность подвергнуть в художественной литературе суровой, резкой критике, но на ряду с этим надо ставить, выискивать и открывать положительные черты нового человека». Литература должна его показать. «Какими путями? Я думаю, необходимо смешение реализма с романтикой. Не реалист, не романтик, а и реалист и романтик, как бы две ипостаси единого существа» [27].

Вскоре после приезда, насыщенный впечатления-

ми, Горький энергично берется за организацию журнала «Наши достижения».

На совещании в Государственном издательстве он говорил:

«Вы должны извлечь из области быта все, что имеется нового, и зафиксировать это не в статьях, а в живых фактах, не в рассуждениях по этому поводу, а просто сообщать факты, в конкретной и вместе с тем красочной форме... Что мы можем показать из быта? Я живу здесь восемь-девять дней, но я — человек, знающий хорошо российскую жизнь. Я вижу сегодня, видел вчера, все эти дни вижу, что в перестройке быта кое-что достигнуто. Человек стал другим» [28].

В июле и августе Горький предпринимает поездки по стране. Эти поездки давали ему живой материал для журнала «Наши достижения».

«По Союзу Советов» — такой отдел журнала заполнял Горький из номера в номер.

Вспоминая прошлое, он сопоставлял его с настоящим. В художественной форме он излагал свои впечатления о происшедших изменениях.

В Баку Горький вспоминает о том, что он был здесь в 1892 и 1898 годах *, рисует картины мрачного труда, которые он видел на этой «каторге», и рассказывает о том, какими он сейчас видел нефтяные промыслы. «Может быть, молодым читателям не нравится, что я так часто возвращаюсь к прошлому? Но я делаю это сознательно. Мне кажется, что молодежь недостаточно хорошо знает прошлое, неясно представляет себе мучительную и героическую жизнь своих отцов, не знает тех условий, в которых работали отцы до дней, когда их организованная воля опрокинула и разрушила старый строй.

Я знаю, что память моя перегружена «старьем», но не могу забыть ничего и не считаю нужным забы-

---

* Алексей Максимович говорит, что в 1897 году был второй раз в Баку. Это ошибка памяти. Баку он посетил в 1898 году, возвращаясь из-под ареста в Тифлисе. Алексей Максимович часто называл свой год ареста 1897, потому, вероятно, что жандармское «дело» было помечено 1897 годом.

вать. Совершенно ясно вижу перед собой ужасающую грязь промыслов, зеленовато-черные лужи нефти, тысячи рабочих, обрызганных и отравленных ею, грязных детей на крышах казарм...»

И далее Горький рисует бесстыдную роскошь нефтевладельцев на фоне этой беспросветной нищеты рабочих:

«Трудно узнать Баку, мало осталось в нем от хаотической массы унылых домов «татарской» части, которая была так похожа на кучу развалин после землетрясения». Горький последовательно изображает промыслы, какими он видит их сейчас, рассказывает о городе Биби-Эйбате, «где люди отнимают у моря часть его площади для того, чтобы освободить из-под воды нефтеносную землю», говорит о собрании рабкоров и начинающих писателей, на которых и в Баку, как всюду, он убеждался в широте и разнобразии интересов молодежи, в силе ее пытливости, в жажде знания.

Образ Владимира Ильича часто вставал в памяти Горького «на богатой этой земле, где рабочий класс трудится, утверждая свое могущество... Если бы он видел это, какую радость испытал бы он...» *(XVII, 125—128)*.

Из Баку Горький поехал в Тифлис, из Тифлиса — в Армению.

Во всех городах Алексей Максимович беседовал с писателями, пропагандируя цель и значение журнала «Наши достижения».

«Там будет отражен весь поток необъятной, культурной работы, которая совершается в нашей стране, — говорил он. — Грузия, Азербайджан, Армения, Украина и др. должны в этом журнале явить себя всему культурному миру. Должны явить всю вавилонскую башню нового строительства. И мне, старому мечтателю, думается, что это будет прекрасно» [29].

Выступая перед более широкой аудиторией, Алексей Максимович всюду вселял горячую веру в труд.

На пленуме Тифлисского Совета он так говорил:

«Если бы я был критиком и писал бы книгу о Горьком, я сказал бы, что сила, которая сделала его тем, кем он есть в данное время, это — глубоко осознанная идея труда. Я сказал бы, что Горький стал тем, кем он есть сейчас, потому что он понял великое значение труда, труда, образующего все ценности, все прекрасное и великое в этом мире»[30].

Возвращаясь по Военно-Грузинской дороге, Алексей Максимович остановился во Владикавказе. На митинге, который собрался у вокзала, Горький говорил:

«Вы меня извините, я красиво, по-ораторски, говорить не умею. Писать кое-как научился, а говорить вот не умею. Я часто слышу от вас слово «пролетарий»... Я не вижу здесь пролетариев, вижу настоящих хозяев... Вижу, как эти хозяева создают новые грандиозные сооружения, которым нет равных, такие сооружения, как Днепрострой...»[31]

От Владикавказа Горький пересек Северный Кавказ до Царицына. Затем поднялся по Волге до Казани.

«...Казань. Нижний-Новгород. Но в этих городах ожило так много воспоминаний, что я сейчас не буду говорить о них», — писал Горький в № 1 «Наших достижений».

Горький не нашел времени рассказать об этих городах и впоследствии, но мы по обрывкам воспоминаний знаем кое-что о его пребывании там.

Алексей Максимович приехал в Казань в жаркий, солнечный день. К пристани причалил теплоход «Урицкий». Берег Волги, полный народа, гремел радостными возгласами и криками приветствий.

«С первой же минуты встречи Горький начал пытливо расспрашивать нас, — вспоминает татарский писатель Кави Наджми. — Он интересовался новыми книгами, их содержанием, призывал осмыслить и художественно отобразить те коренные изменения, которые совершаются в жизни и сознании людей»[32].

В Казани, на собраниях, Горький говорил о том, что он вынес из своей поездки по СССР, что нового дала она ему, оторванному на долгие годы от Роди-

ны, прикованному болезнью к прекрасной, но, по существу, чуждой ему Италии.

Здесь, у берегов Волги, он был у себя дома. Он был в родной стране, которая восторженно встретила его.

«Я — поклонник человека волевого, целеустремленного, — говорил Горький. — Люди, о которых я раньше мог только мечтать, теперь живут, работают, творят великое дело».

Он говорил, что в его книге «Мои университеты» рассказано о том, как он жил в Казани. На самом деле здесь он пережил гораздо больше горьких минут, чем это изображено в книге. Но «все то личное, которому каждый из нас поддается, все это, право же, ничтожно перед тем великим, чем мы сейчас живем».

Алексей Максимович сказал, что он знал Россию, знал русский народ, но теперь он должен переменить сложившиеся в течение долгих лет понятия. «Тот народ, который я вижу в Советском Союзе, мне и знаком, и незнаком... Вашею волею перестраивается мир» [33].

В Нижнем-Новгороде, на торжественном заседании горсовета, Алексей Максимович выступил с речью, которая подводила итог его поездки по Советскому Союзу:

«На протяжении восьми тысяч верст от Москвы до Эривани, и от Эривани до Нижнего... на всех пунктах, где мне приходилось останавливаться... впечатление огромное. Такое впечатление, что в стране есть хороший, умный хозяин-человек, прекрасно начавший понимать свое историческое назначение».

На «Красном Сормове» Горький застал только начало коренной перестройки старого завода и с огорчением увидел, что станки стоят вплотную один к другому. Героические, талантливые рабочие в тесноте и примитивных условиях труда строят морские шхуны «почти голыми руками».

Но бумажную фабрику в Балахне Горький воспел как одно «из прекрасных созданий человеческого разума».

«...Бревна с берега Волги из воды сами идут под пилу, распиленные без помощи человека ползут в барабан, где вода моет их, снимает кору, ползут дальше по жолобу на высоту сотни футов, падают оттуда вниз, образуя пирамиды, из этих пирамид также сами отправляются в машину, она растирает их в кашу, каша течет на сукна другой машины, а из нее спускается огромными «рулонами» бумаги прямо на платформы товарного поезда. Все это так удивительно просто и мудро, что, повторяю, о таких фабриках следует писать стихами как о торжестве человеческого разума...»

В своей речи к рабочим Горький говорил, что он отлично видит и понимает трудности, с которыми столкнулся рабочий класс страны, создавая первенцев социалистической индустрии. Но он перестает верить в эти трудности, когда видит победоносную силу и энергию русского рабочего.

На митинге у сормовичей Горький, отмечая огромнейшее дело, которое творится в Советском Союзе, говорил о внимании и доверии к тем людям, которые научили рабочий класс взять в свои руки политическую власть в стране. «Я говорю о партии. Я не партийный человек, не коммунист, но я не могу, по совести, не сказать вам, что партия — это действительно ваш мозг, ваша сила, действительно ваш вождь, такой вождь, какого у западного пролетариата — к сожалению и к его горю — еще нет».

В № 3 «Наших достижений» Горький рассказывает о Днепрострое, строительство которого только начиналось среди скал, разодранных взрывами, среди кранов, которыми забивали железные шпунты в каменное дно бешеного Днепра. И Горький пишет:

«Я — свидетель тяжбы старого с новым. Я даю показания на суде истории перед лицом трудовой молодежи, которая мало знает о проклятом прошлом и поэтому нередко слишком плохо ценит настоящее, да и недостаточно знакома с ним» [34].

Так из книги в книгу писал Горький свои «показания».

Под Харьковом, в Куряже, Горький провел несколько дней среди бывших беспризорных, руководимых талантливым педагогом и писателем А. С. Макаренко.

«Эти дни были самыми счастливыми днями и в моей жизни, и в жизни ребят. Я, между прочим, считал, что Алексей Максимович гость колонистов, а не мой, поэтому постарался, чтобы общение его с колонистами было наиболее тесным и радушным», — вспоминал А. С. Макаренко [35].

Горький уже несколько лет переписывался с юными колонистами, следил, как постепенно изменяется их орфография, грамматика, растет их социальная грамотность, расширяется познание действительности, как из маленьких анархистов, бродяг, воришек, из юных проституток вырастают хорошие, рабочие люди.

Теперь они сделали ему, как он сказал, «прекрасный подарок» — двести восемьдесят четыре человека написали и подарили ему свои автобиографии.

Горький приводит предисловие А. С. Макаренко к этим автобиографиям:

«Когда я печатал сотую биографию, я понял, что я читаю самую потрясающую книгу, которую мне приходилось когда-либо читать... В каждой строчке я чувствую, что эти рассказы не претендуют на то, чтобы вызвать у кого-нибудь жалость, не претендуют ни на какой эффект, это простой, искренний рассказ маленького, брошенного в одиночестве человека, который уже привык не рассчитывать ни на какое сожаление, который привык только к враждебным стихиям и привык не смущаться в этом положении» *(XVII, 167—168)*.

То, что Горький видел беспризорных, — это, по его словам, останется одним из глубочайших впечатлений на весь остаток его жизни.

Путешествие Горького в 1928 году по стране оставило в нем огромное впечатление. В Сорренто он получал советскую прессу вплоть до заводских многотиражек, следил за всем, что делается в Совет-

ском Союзе, получал десятки писем от рабкоров и селькоров, которые ему, как художнику, давали иногда более конкретный и действенный материал. Но все же встреча с Родиной глубоко взволновала его, превратив самые пылкие мечтания в уверенность, показав ему нового человека в борьбе за свое счастье.

Эта поездка и новые публицистические выступления Горького вызвали поток брани и в эмигрантской и в иностранной капиталистической прессе.

В 1928 году по поводу статьи белоэмигранта А. Левинсона в руководящем французском органе «Temps» журнал левой ориентации «Europe» прислал Горькому письмо, в котором возмущался нападками и просил написать ответ.

«Сердечно благодарю Вас, — отвечал Горький, — за Ваше дружеское отношение ко мне, так прекрасно выраженное в письме Вашем.

В статье г. А. Левинсона я не нахожу ничего оскорбительного для себя. Он повторяет давно знакомое мне утверждение прессы эмигрантов, что я предался «Дьяволу». По этому поводу могу сказать только так: если Дьявол существует и если он меня соблазнил, так это, наверное, не «мелкий бес» честолюбия и самолюбия, но — Абадонна, возмутившийся против бездарного и равнодушного к людям творца. Однако я думаю, что не стоит говорить о Дьяволе, когда люди выдумали и защищают нечто неизмеримо более худшее, чем ад, — позорную структуру современного государства. Я иду с «большевиками», которые отрицают свободу? Да, я — с ними, потому что я за свободу всех людей честного труда, но против свободы паразитов и болтунов... С большевиками я спорил и враждовал в 1918 году, когда мне казалось, что они не в силах овладеть крестьянством, анархизированным войной и в столкновении с ним погубят рабочую партию. Затем я убедился, что ошибаюсь, а теперь совершенно убежден, что русский народ, несмотря на вражду к нему всех правительств Европы и вызванные этой враждой экономи-

ческие затруднения, вступил в эпоху своего возрождения» *.

Так ответил Горький западному общественному мнению.

3

В следующем, 1929 году Горький отправляется на север, в Кемь, Соловки и далее — в Мурманск, в Хибины.

Соловки — остров, оттеняемый блеклыми красками, так резко различными от привычных Горькому ярких тонов юга. Когда приближаешься к острову, видишь зеленые холмы, одетые лесом, и на фоне холмов, — кремль монастыря. Вблизи кремль встает, по словам Горького, как постройка сказочных богатырей, — стены и башни его сложены из огромнейших разноцветных валунов.

Горький был в казарме, беседовал с уголовными, с молодежью, видел разные типы, вспоминал персонажи из своей молодости.

«...В большинстве своем они вызывают весьма определенную уверенность в том, что ими понято главное: жить так, как они начали, — нельзя» *(XVII, 215)*.

Горький наблюдал людей, которые, отбыв срок заключения, остались на острове и работают неутомимо, влюбленные в свое дело. Таков заведующий сельским хозяйством и опытной станцией острова. Он мечтает засеять «хладостойкой» пшеницей триста гектаров на острове, разводит огурцы, выращивает розы, изучает вредителей растений. Он показал конский завод, стадо отличных, крупных коров, завод бекона, молочное хозяйство. Таков же заведующий питомником черно-бурых лисиц, песцов и соболей. Питомник — целый город, несколько рядов проволочных заграждений, разделенных «улицами», внутри клеток домики со множеством ходов и выходов, как норы, в каждой клетке привычная зверью «обстановка», деревья, валежники. Сумел приручить даже та-

---

* М. Горький, Избранные сочинения. ГИХЛ, М.—Л., 1932, т. 1, стр. 92—93.

кое недоверчивое, злое существо, как лиса: она влезает на колени, на плечо ему, берет пищу из его рук и не прячет, не загоняет детенышей своих в нору, когда к ее клетке подходят люди. Такими же были и другие работники. По поводу таких людей хорошо сказал Горький: «Большое дело делают эти люди, работа их заслуживает серьезнейшего внимания и всемерной помощи» *(XVII, 217)*.

Далее путь Горького лежал на Мурманск.

В очерке «На краю земли» он рассказывает о рождении нового города, дает живо почувствовать важность этой работы созидания, широту размаха государственного строительства, которое ведется здесь, «на краю земли»!

«Край оживает, — заканчивает очерк Горький. — Все оживает в нашей стране. Жаль только, что мы знаем о ней неизмеримо и постыдно меньше того, что нам следует знать» *(XVII, 247)*.

В Мурманске Горький встретился с молодежью, будущими журналистами. Беседа с ними осталась в воспоминании одного из участников ее [36]. Горький говорил о том, на что прежде всего следует обращать внимание; указывал на слабые места, мимо которых нельзя проходить, а надо непременно придавать им общественное значение, смело критиковать недостатки; особенно Горький остановился на умении видеть, подмечать черты нового, поддерживать его.

Не трудно видеть, что советы Горького молодым журналистам были его собственной программой.

«Хочется еще и еще работать. Закончив третий том моего романа, я, наверное, займусь журналистикой, чтобы встать теснее к жизни, главное — к молодежи» [37].

Это письмо 1928 года показывает, что Горький, не кончив романа, мечтал о журналистике, и не только мечтал, а создал вскоре новую книгу — серию очерков «По Союзу Советов».

Очерки эти явились свидетельством успехов Советского Союза в 1928 году. И не в том только дело, что механизация работы, техника промышленности позволили сделать СССР семимильные шаги, а в том,

что человек стал другим, стал хозяином своего, государственного дела. И Горький подчеркивает это, напоминает о необходимости перевоспитывать человека из подневольного рабочего или равнодушного мастерового «в свободного и активного художника, создающего новую культуру».

Мысли все время забегают в далекое прошлое, пишет Горький, и прошлое служит ему превосходным мерилом настоящего.

Тишина на промыслах Азнефти, — достаточно одной этой черты, чтобы оттенить новое от старых промыслов, с их шумом и воем, которые не мог забыть Горький.

Живя с беспризорниками, он вспоминает нижегородскую колонию малолетних преступников, в которой погибали талантливые дети. «Горестная судьба этих детей — одно из самых мрачных пятен в памяти моей о прошлом» *(XVII, 154)*.

Прямое изложение в очерках перебивается разговорами на пароходе, на сельской дороге, рассуждениями о буржуазной науке, историей фольклора, и все это имеет одну цель — напомнить о чудотворящей силе воли человека, силе труда.

Об одном из своих спутников, товарище из Запорожья, Горький сказал: «Он, должно быть, из тех «дальнозорких», которые хорошо видят, как трудна дорога в будущее, но не смущается трудностью ее».

Горький видел, как и его спутник, что дорога в будущее трудна и что на пути ее «лежит болото личного благополучия». «Заметно, что некоторые отцы уже погружаются в это болото, добровольно идут в плен мещанства, против которого так беззаветно, героически боролись».

Будучи на Днепрострое, он видел, как была взорвана огромнейшая скала. Она несколько раз глухо охнула, вздрогнула, окуталась белыми облаками. Потом, когда облака рассеялись, скала стала шире, ниже, но общая форма не очень изменилась — на воздух не взлетело ни одного камешка.

Инженер, сопровождавший Горького, объяснил, что этого не требуется. Вся сила взрыва тратится на

внутреннее разрушение породы, а на бризантное, разметывающее, действие не остается ничего.

И Горький пишет:

«Мне очень понравился такой экономный метод разрушения. Было бы чудесно, если б можно было перенести его из области техники в область социологии. А то вот мещанство, взорванное экономически, широко разбросано «бризантным» действием взрыва и снова весьма заметно врастает в нашу действительность» *(XVII, 187).*

Такова публицистическая заостренность очерков.

Художественными делает эти журнальные очерки, помимо общего строя, масса колоритных деталей: вид на Баку с горы ночью и сравнение с видом на Неаполь; танцы салунских армян в Эривани; картины старого Курска; полночное солнце в Мурманске; пейзаж Днепра; привал в лесу между Кемью и Мурманском и беседа у костра; воображаемое движение ледяной массы, ее неизмеримая тяжесть, треск и скрежет камня, который, дробясь и округляясь, катит под собой широчайший и глубокий поток льда.

Сохранилась фотография 1929 года. Горький, вернувшись в Ленинград с Севера, рассказывает о своем путешествии с характерно присущими ему жестами Кирову, внимательно его слушающему.

Как редактор журнала «Наши достижения», Горький читал массу материала, переписывался с авторами, заказывал очерки.

«Довлеет дневи злоба его, — что поделаешь? — пишет он автору этих строк. — Я всегда чувствовал себя человеком с е г о д н я. Вот и теперь с утра до ночи сижу, читая материал для журнала «Наши достижения». Уже достиг бессонницы».

Он получал массу писем от читателей. Письма эти высоко поднимали настроение Алексея Максимовича. «Разбирая письма, коими осыпает меня «Русь», — писал он, — завидую человеку, который будет рыться в моем архиве» [38].

Среди тысяч писем, получаемых Горьким, были и письма людей, враждебно настроенных. Всем этим

«корреспондентам» Горький ответил статьей «Механическим гражданам» СССР».

Беспощадно, с уничтожающим презрением разоблачая их перед трудящимися, Горький заканчивает статью:

«Людям необходима иная действительность, не та, в которой они привыкли жить. Я вижу, что процесс создания новой действительности у нас, в Союзе Советов, развивается с удивительной быстротой, вижу, как хорошо, творчески вливается в жизнь новая энергия — энергия рабочего класса, и я верую в его победу.

Верую, потому что — знаю» *(XXIV, 441)*.

Горький, как никто, знал гнет царской России, сам выбивался из ее глубин, знал всю ее мерзость и кабалу, тяготевшую над народом.

Кому, как не Горькому, было знать это? И он стремился передать молодежи это знание, внушить ей непримиримость к прошлому, научить ее ненавидеть мещанство, как пережиток капитализма.

Помимо работы в журнале «Наши достижения», Горький основывает и возглавляет журналы «За рубежом», «Литературная учеба», «СССР на стройке», основывает серии книг: «История молодого человека XIX столетия», «Библиотека поэта», «Жизнь замечательных людей».

О последней серии Горький особенно заботился. Он редактировал рукописи и писал:

«Биографии нужно издавать не год, не два, разумеется, а до поры, пока не будут очерчены фигуры всех, наиболее крупных творцов культуры».

По его инициативе возникают такого большого значения издания, как «История фабрик и заводов», «История гражданской войны»; он входит со своим содействием, со своей помощью в каждое нуждающееся в такой помощи предприятие общекультурного значения; не говоря уже о столь кровном для Алексея Максимовича деле, каким были для него помощь начинающим писателям и руководство советской литературой, — шло ли дело о работах общества «Долой неграмотность», об организации полярного

года, о колониях беспризорных, об организации Всесоюзного института экспериментальной медицины, о десятках других работ государственного культурного значения — всюду входил он со своей инициативой или со своим ободряющим и серьезным вмешательством.

Разносторонность его интересов и знаний, блеск его мысли и инициативы были поистине поразительны.

Горький был настоящим, исключительной работоспособности редактором. Он не только читал то, что сверстано и подготовлено заведующими отделов, как делают современные нам редакторы, он читал все рукописи, предлагаемые журналу или серии, сам правил, сам писал авторам, сам привлекал их к журналу, своей энергией заставляя работать всех членов редколлегии.

Три-четыре журнала и столько же серий книг — вот его огромная редакторская работа, которая вливалась в его организационную, публицистическую и художественную работу.

К сожалению, почти все литературно-политические предприятия Горького, за исключением «Библиотеки поэта» и серии «ЖЗЛ», прекратились с его смертью.

«История фабрик и заводов». 10 октября 1931 года ЦК ВКП(б) одобрил предложение Горького. В составе ОГИЗа («Объединение государственных издательств») было образовано новое государственное издательство — «История заводов», одним из главных руководителей которого был Горький. Главная редакция постановила осуществить в 1932—1933 годах издание двадцати шести книг. На заводах были организованы редколлегии.

Выходили сборники «Истории заводов», в которых публиковались статьи Горького и других руководителей. Первой отдельной книгой вышла «Люди Сталинградского тракторного», затем книга Н. П. Паялина «Завод имени Ленина» (бывш. Семянниковский), потом «Были горы Высокой», рассказы рабочих Высокогорского железного рудника, «Беломорско-Балтийский канал» и другие. Присланы были

в редакцию «История Ижорского завода», «История Московско-Казанской ж. д.». В сборниках печатались главы «Истории Колпинского завода», «Московского инструментального завода», «Истории завода «Серп и молот».

Горький писал: «...Я горячо поздравляю рабочих авторов с хорошим, очень успешным началом большой, трудной и весьма ответственной работы. Работой этой пролетариат еще раз утверждает радостную и гордую уверенность в разнообразии и неисчерпаемости его творческих сил» [39]. Горький писал, что там, где история заводов поставлена как массовая политическая работа, она дает дальнейшие результаты в смысле воспитания новых слоев рабочего класса. История заводов есть прежде всего история развития классового самосознания рабочих — усвоение ими своей исторической роли и своего права на революционное действие.

Это большое государственное, культурно-политическое предприятие заглохло. Вышла еще книга «Рассказы строителей метро», организованная группой писателей, но в общем работа по «Истории заводов» после смерти Горького была свернута. Сейчас снова поднимаются голоса о возрождении этого горьковского начинания с указанием, что на некоторых заводах уже возобновляется работа по созданию «Истории заводов» [40].

«История гражданской войны». Горький еще в 1930 году написал статью «Народ должен знать свою историю». В статье этой он писал: «История гражданской войны — история победы великой правды, воплощенной в рабочем классе. Эту историю должен знать каждый боец на культурно-революционном фронте, каждый строитель нового мира» *(XXV, 276)*.

Была образована редакция из группы виднейших политических деятелей, но первый том вышел только в 1935 году, а второй — в 1942 году, причем заканчивается изложением событий Октябрьской социалистической революции.

В настоящее время возродилась и эта инициати-

ва Горького. В сравнительно короткий срок написаны и вышли в свет третий и четвертый тома «Истории», в ближайшее время выходит пятый том. «При освещении событий обращалось внимание на то, чтобы история была показана в ее подлинном виде, без искажений, вызванных культом личности» [41]. Эти искажения дали себя знать особенно во втором томе (1942).

И еще одна «история» задумана была Горьким — «История деревни». Горький успел только собрать на своей квартире товарищей для обсуждения этого предприятия и написать две статьи.

Среди журналов, которые поставил и вел Горький, был журнал «Колхозник». Как и «Наши достижения», он был замечателен тем, что, помимо непосредственной редакции, Алексей Максимович давал в нем постоянно свой авторский материал.

Задача воспитания новых кадров деревни, нового колхозного крестьянства была, по словам Горького, важнейшим делом. Он всячески помогал «Крестьянской газете» и, как специальное чтение для повышенного читателя, вводит в деревню журнал «Колхозник».

Он помещает там ряд первоклассных рассказов о старой деревне, чтобы колхозники могли сравнить прошлое с настоящим. Так же как в «Наших достижениях», Алексей Максимович дает здесь «показания на суде истории». Он рассказывает о людях, «враждебно оторванных друг от друга труднейшей борьбой за кусок хлеба», рассказывает о щемящей душу порке крестьян по приказу губернатора («Экзекуция»), о суде земского начальника над крестьянами («Орел»), о деревне Краснухе, в которой «из тридцати семи дворов девятнадцать закоренели в недоимках, а пять хозяйств из девятнадцати были совсем разорены», где бедные семьи, батрача на богатых, жили трудно, голодно и озлобленно («Бык»).

Возникла мысль возобновить журнал. Об этом пишет А. Жаворонков («Литературная газета», 1957 г., № 31):

«Настало время вернуться к замечательной идее А. М. Горького и возобновить выпуск литературно-политического и научно-популярного журнала «Колхозник». Думается, что обновленный журнал не только продолжит лучшие традиции прежнего «Колхозника», но и найдет новые, оригинальные формы журнального творчества...»

Так возрождаются идеи Горького в наше время.

4

«Тишина этой ночи, помогая разуму отдохнуть от разнообразных, хотя и ничтожных огорчений рабочего дня, как бы нашептывает сердцу торжественную музыку всемирного труда великих и маленьких людей, прекрасную песнь новой истории, — песнь, которую начал так смело трудовой народ моей родины» *(XXIV, 354)*.

Так писал Горький еще в Италии, до приезда в Советский Союз.

Получая советские газеты от центральных до заводских, получая до тридцати писем в день от рабкоров, селькоров и военкоров, он внимательно, с одобрением и восхищением следил за трудовой жизнью своей Родины.

Поездка по Советскому Союзу укрепила это настроение Горького.

Он не закрывал глаза на недостатки русских рабочих, на пережитки еще так недавно существовавшего капиталистического строя.

Он писал, что рабочие и крестьяне «живут в борьбе со своею собственной некультурностью и малограмотностью, с дрянными, крепко вросшими в плоть и кровь бытовыми навыками, которые они унаследовали от буржуазии, которыми заразил их проклятый, рабский, старый мир».

Со всем тем он твердо знал, что достигнуто самое главное: трудовой народ хорошо почувствовал несокрушимость силы знания, силу свободного труда, и, почувствовав это, он учится «хорошо работать, по-новому жить».

Будущий историк русской революции, по выражению Горького, будет изумлен тем, что сделал рабочий класс за десять лет.

«Владимир Ленин, — писал Горький, — был верующим человеком, он непоколебимо верил, потому что хорошо знал... Он видел, чувствовал вокруг себя тысячи творцов новой истории — передовые отряды рабочего класса, воспитанные его мыслью, его верой и способные вести за собою всю рабочую массу...» *(XXIV, 377—378)*.

Горького восхищало и вдохновляло изумительное напряжение «подлинно революционной и чудотворной энергии».

Он постоянно выступал в защиту революционного пролетариата от внешних и внутренних врагов с декларацией политического могущества Советского государства.

Когда-то Ленин писал Горькому:

«Но если есть охота и к совместной работе в политической газете, — почему бы не продолжить, не ввести в обычай тот жанр, который Вы начали «Заметками о мещанстве» в «Новой Жизни» и начали, по-моему, хорошо?» *

Горький осуществил в полной мере это пожелание Ленина в советской прессе. Его статьи были классическим образцом пропаганды и агитации.

Настойчиво, с предельной ясностью и впечатляемостью он пропагандировал достижения Советского Союза, разъясняя значение труда, поднятого русским народом, значение дружбы советских народов и роста многонациональной советской культуры.

В статье «Пролетарский гуманизм» Горький пишет об империализме и фашизме:

«В массах разноязычного, разноплеменного пролетариата империализм и фашизм сеют злые семена национальной розни, расового пренебрежения и презрения, которые могут перерасти в расовую ненависть и затруднить развитие в мире трудящихся сознания единства его классовых интересов, — спасительного

* В. И. Ленин, Соч., т. 34, стр. 331.

сознания, которое только одно может освободить рабочих и крестьян всего мира из положения беззащитных, бесправных рабов обезумевших лавочников» *(XXVII, 239)*.

Такие «заметки» о мировом мещанстве разоблачали капитализм перед лицом рабочих Европы и Америки, показывали капиталистов, как «обезумевших лавочников».

Только часть этих произведений составила том «Публицистических статей», не считая тома литературно-публицистических статей, не считая многочисленных писем, имевших характер публицистики.

До трехсот статей написал он в эти годы, публикуя их в «Правде», «Известиях» и в других газетах.

«Ураган, старый мир разрушающий», «Клевета и лицемерие», «Дружеская перекличка», «Под красными знаменами», «К иностранным рабочим» и другие статьи были подлинно превосходными произведениями государственно-культурного деятеля и советского бойца.

Горький писал против «культуры» американцев-фашистов, сжигающих негров-рабочих на электрическом стуле («Террор капиталистов против негритянских рабочих в Америке»), ответил на письмо американских журналистов большой статьей «С кем же вы, «мастера культуры»?».

«Упрекая меня в том, что я «проповедую ненависть», — пишет Горький, — вы советуете мне «пропагандировать любовь». Вы, должно быть, считаете меня способным внушать рабочим: возлюбите капиталистов, ибо они пожирают силы ваши, возлюбите их, ибо они бесплодно уничтожают сокровища земли вашей, возлюбите людей, которые тратят ваше железо на постройку орудий, уничтожающих вас, возлюбите негодяев, по воле которых дети ваши издыхают с голода, возлюбите уничтожающих вас ради покоя и сытости своей, возлюбите капиталиста, ибо церковь его держит вас во тьме невежества» *(XXVI, 260)*.

Горький обращает внимание американских интеллигентов на то, какой суровый урок дала история русским буржуазным интеллигентам: они не пошли

со своим рабочим народом и вот разлагаются в бессильной злобе, гниют в эмиграции и скоро поголовно вымрут, оставив память о себе, как о предателях.

Отвечая на анкету американского журнала, на вопрос: «что вы думаете о цивилизации Америки», Горький писал:

«Я думаю, что ваша цивилизация, это — самая уродливая цивилизация нашей планеты, потому что она чудовищно преувеличила все многообразные и позорные уродства европейской цивилизации» *(XXV, 6)*.

Не сомневаясь в силе советского народа, Горький был великим защитником мира.

«Рабоче-крестьянская масса Союза Советов не хочет воевать, она хочет создать государство равных. Но в случае нападения на нее она будет защищаться вся, как одно целое, и победит, потому что на нее работает история» *(XXVI, 35)*.

Это утверждение Горького полностью оправдалось в Великой Отечественной войне.

Горький горячо мечтал о мире, о плодоносном мире, во время которого освобожденный труд строителя социализма переделает природу по своим потребностям, накопит материальные блага, превратит труд в искусство.

Обращаясь к женщинам, к матерям, он писал:

«Почему не поднимаете вы властного голоса против безумия, грозящего окутать мир облаком отравы?..

Грудью вскармливаете вы ребенка, за руку вводите его в жизнь, в историю — как работника, трудом своим оплодотворяющего мир, как героя, как сподвижника человечества, как мудреца, как светлого мыслителя. Почему же так спокойны, так равнодушны вы перед лицом грозящей ему гибели?..

Матери! Жены! Вам принадлежит голос, вам принадлежит право творить законы. Жизнь исходит от вас и все, как одна, должны вы подняться на защиту жизни против смерти» *(XXIV, 247—248)*.

Но борьба за мир неотделима от страстных разоблачений империалистической реакции.

Почти все правительства империалистических го-

сударств проходят по страницам публицистики Горького. «О чем спорят хозяева?» — спрашивал Горький и отвечал: «Спорят они о том, которая группа воров имеет право быть самой богатой и командовать миром». Промышленники Америки запасают горы военного снаряжения, дающие им огромные прибыли и сулящие еще большие: «ведь доказано, что самое прибыльное дело — это обращать людей в калек и покойников».

Когда интеллигенция Европы собралась на Антивоенный конгресс в Амстердаме, Горький по приглашению конгресса отправился туда с советской делегацией.

Но голландское правительство по указке крупных империалистических держав не пропустило советскую делегацию на конгресс.

Тогда Горький послал делегатам конгресса телеграмму, в которой клеймил позорную трусость голландского правительства и обращался к делегатам с пожеланием полного единодушия в их отрицательном отношении к империалистам.

«...Бездельники, паразиты, привычные грабители чужого труда затевают новую бойню для того, чтобы остановить, прервать великий процесс преобразования земли, завоевания ее сокровищ».

В наше время голос Горького, великого писателя и великого публициста, несмолкаемо звучит в гневном протесте народов против войны.

В архиве Горького сохранились материалы для книги о социалистическом и капиталистическом хозяйстве. Горький набросал ее план: буржуазия строит хозяйство с расчетом «всестороннего укрепления власти своей над рабочим народом» — укрепления наемного и колониального рабства; в социалистическом хозяйстве все усилия, весь труд направлен к достижению одной цели — независимости Советской Родины, свободы и счастья ее народов [42].

Славя свою страну, Горький называл ее «богатейшей страной мира, разнообразной по ее природным условиям, по обилию ископаемых сокровищ, по разнообразию и талантливости ее наследия. Талантливость

эта не является выдумкой для самоутешения, — она реальный факт, утверждаемый ежедневно молодой наукой, нашим искусством».

«Большой народ, великая энергия горит в нем, освещая весь трудовой мир планеты нашей!» — восклицает Горький *(XXV, 271)*.

Многочисленны обращения Горького к молодежи, призывы к преданности «могучей социалистической нашей родине», где все люди призваны к работе полного и совершенного переустройства старых основ жизни, где расстояние от самых безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной быстротой.

«Чувствуешь себя идущим в гору, откуда все шире развертывается мощная историческая картина разнообразной работы миллионов...»

Такие торжественные слова говорил Горький и утверждал, что нет препятствий, которых не могла бы преодолеть организованная партией Ленина энергия рабочего класса.

Он призывал ненавидеть врагов, которые стремились помешать великому делу коммунистического преобразования страны.

«Внутри страны против нас хитрейшие враги организуют пищевой голод, кулаки терроризируют крестьян-коллективистов убийствами, поджогами, различными подлостями, — против нас все, что отжило свои сроки, отведенные ему историей, и это дает нам право считать себя все еще в состоянии гражданской войны» *(XXV, 228)*.

Эта статья написана 15 ноября 1930 года, а через десять дней начался процесс «Промпартии». На происходившие события Горький откликнулся не только публицистическими статьями, но и первоклассной художественной вещью.

Около этого времени он, видимо, вплотную начал работать над пьесой «Сомов и другие». В феврале 1931 года она была закончена.

Сомов — инженер высокой квалификации, связанный с западными капиталистами. Его дача — один из «генштабов» вредительства. Вместе с инженерами Бо-

гомоловым и Изотовым они обсуждают планы вредительства: накопление оборудования, торможение строительства по мере возможности, омертвление капитала, устранение людей, которые не входят в их организацию, и т. д.

Вот отрывок их интимного разговора:

«*Богомолов.* Дышать нечем.
Изотов. Н-да. Хлеба — горят.
Богомолов. Думаете — неурожай будет?
Изотов. Говорят.
Богомолов. Недурно бы, знаете, а?»

Сомов ведет дело очень «умеючи». Он вспоминает свой разговор с директором завода коммунистом Терентьевым: «Замечательный, говорит, вы работник, товарищ Сомов, любуюсь вами и думаю: скоро ли у нас такие будут?»

Только жена его, Лидия, не зная вредительских планов Сомова, чувствует его «двоедушие».

Сцена объяснения Сомова с женой является центральной сценой пьесы. Сомов разоблачает себя, желая привлечь Лидию к своим целям: «Я двоедушен? Да! Иначе — нельзя! Невозможно жить иначе, преследуя ту великую цель, которую я поставил пред собой... Я — человек, уверенный в своей силе, в своем назначении. Я — из племени победителей...»

Это идеология фашизма, его предтечи — Ницше. Сомов мечтает о том, чтобы с помощью западных капиталистов устроить фашистский переворот. Но Сомов умнее своих единомышленников. Он понимает, что разговор о пятилетке, о социалистическом соревновании не фантазия, что большевики не глупы, что у них есть чутье, что молодежь талантлива и напориста. Поэтому слова его, что рабочие захватили власть, но не умеют хозяйничать, что их партия разваливается, массы не понимают ее задач, крестьянство против рабочих, — все эти слова превращаются у него в истерический крик.

Сомов испытывает Яропегова, своего школьного товарища, присланного на строительство, намекает на солидарность инженеров в деле вредительства, гово-

рит, что им, руководителям, необходимо полное доверие со стороны рабочих.

«*Яропегов.* Я склонен думать, что пользуюсь таковым.

Сомов. Ты! Доверие необходимо нам всем, а — не единице! Против нас — масса, и не надо закрывать глаза на то, что ее классовое чутье растет. Ты читаешь им что-то такое, ведешь беседы по истории техники, что ли... они принимают это как должное...

Яропегов (смеется). Они лезут ко мне в душу, точно в карман, где лежат их деньги. Говоря правду — мне это нравится».

Яропегов чувствует, что инженеры, его товарищи, чужды рабочим, и подшучивает над этим. Но он до конца не догадывается, что работает во вредительской шайке, и только во время краха этой шайки ему становится все ясно.

Колоритная фигура — старик рабочий Крыжов. Он приехал к Терентьеву с другого завода. Там сочли его бузотером и склочником за то, что он требовал рассмотреть, почему задерживается производство после реконструкции завода. Тогда он взял «кетрадку», в которой записывал весь ход работы и все задержки, и приехал к старому знакомому Терентьеву. В рассказе его о путешествии слышен голос самого Горького, объехавшего только что страну:

«Я вот ехал сюда — горой, водой, лесом, парусом, — как говорится, гляжу: тут — строят, там — строят, инде — выстроили, ух ты, мать честная! Бойко взялись за дело, крепко! Конечно, я и по докладам, по газетам знал, ну, а когда своим глазом видишь, это уж другой номер!»

Фигура Крыжова чрезвычайно характерна. Весь характер его, его язык придает пьесе яркие краски.

Разнообразие типов пьесы вообще необычно. Это, можно сказать, энциклопедия жизни тех лет.

Тут и Лидия, жена Сомова, которая потеряла связь с жизнью, говорит: «В городе все недовольны, живут надув губы, ворчат, сплетничают на партийцев, рассказывают старые московские анекдоты».

Тут и Лисогонов, старый фабрикант, который стремится дать взятку Лидии и на коленях умоляет Сомова восстановить его фабрику. Он опасается, что переворот произойдет и фабрика вернется к нему недостаточно оборудованной.

Тут и Анна Николаевна, мать Сомова, барыня старого времени, «хороших манер», со своим языком: «Всякую дрянь собирают, какое-то утильсырье, это в России-то! Какой стыд перед Европой!» Тут и Титова, в старое время державшая дом «для маленьких удовольствий». Анна Николаевна говорит о ней: «Мы, конечно, поставлены в необходимость вести знакомство со всякой швалью...» Тут и Арсеньева, дочь врача, сочувствующая работе большевиков, которая умеет говорить веско «да» и «нет». Тут и Терентьев, который в гражданскую войну спасался в доме Арсеньевой.

Он говорит Дроздову, своему помощнику: «Я, брат, года три бредил о ней... даже вот не женился. Может быть, это достойно смеха...» Тут и Богомолов, старый инженер, мелкий взяточник, готовящий советской молодежи «столыпинские галстуки», держащий связь с Лисогоновым и Анной Николаевной.

Тут и Троекуров, «учитель пения», вредитель морального порядка, который внушает Китаеву, заведующему клубом, бывшему партизану, бредящему «геройством»: «По натуре вашей вы — разрушитель, вам разрушать надо, а вы — строите и воспеваете стройку, казенное, не ваше дело». Он же разлагает Китаева и подговаривает его на то, чтобы сшибить Яропегова машиной.

Собственно говоря, Троеруков — учитель истории, но «теперь в России истории нет...» — говорит Анна Николаевна Сомову.

Борьба в пьесе идет насмерть. Раненого рабкора нашли за Селищами. Клуб поджигали. Маше Валовой проломили голову. Терентьев говорит: «Недавно одного кулаки подстрелили, в правую сторону груди насквозь. В больницу его без сознания привезли, а пришел в себя — первое слово: «Долго хворать буду?» Он, видите, к приему на рабфак боится опоздать, — вот в чем штука! Молодежь у нас отличной

продукции. Конечно, есть и брак, так ведь «в семье не без урода», а семейка-то великовата!»

Одного из таких «уродов» изобразил Горький в лице Семикова, распропагандированного Троеруковым.

Но живая, бодрая, смелая, энергичная молодежь напором идет в наступление. Миша-комсомолец, Людмила, стремящаяся учиться, сын Лисогонова, примкнувший к большевикам, Костюшка Вязов, внучка Крыжова, поехавшая в Свердловск учиться, Мария, дочь кулака Силантьева, комсомолка, Дуняша и все остальные вносят в пьесу превосходную струю оптимизма и являются залогом будущего.

Это было время, когда партия повела борьбу за ликвидацию капиталистических элементов в деревне. Кулаки ответили террором против передовых крестьян, партийцев и селькоров. Вредители-инженеры, с 1926 года организовавшись в «Промпартию», по сигналу из-за границы усиливали свою деятельность. За рубежом тоже действовали. Английское правительство разгромило наше торговое представительство, подготовляя экономическую блокаду. В Польше был убит наш посол товарищ Войков. В Берлине, по примеру Лондона, совершались налеты на советские полномочное и торговое представительства. В гоминдановском Китае, в Пекине, Шанхае, Тяньцзине происходили такие же налеты с провокационной целью вызвать военное обострение и на Востоке. И, наконец, китайские милитаристы организовали крупную антисоветскую демонстрацию, совершив вооруженное нападение на КВЖД и через два месяца на советскую территорию. Это была тоже попытка империалистов развязать войну против Советского Союза. Вредители из «Промпартии», тщательно законспирировавшись, держали связь с русскими капиталистами за границей и с иностранной разведкой. Они ставили своей целью свержение советской власти и реставрацию капитализма с помощью интервенции.

Горький блистательно отразил эту борьбу в пьесе, показав действующих лиц на даче Сомова.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

23 апреля 1932 года в литературной жизни нашей страны произошло важное событие. ЦК ВКП(б) принял постановление о перестройке литературно-художественных организаций.

Это постановление явилось продолжением и развитием предшествовавших мероприятий партии в этой области (статьи Ленина, резолюция ЦК ВКП(б) о Пролеткульте в 1920 году, резолюция ЦК ВКП(б) по вопросам литературы в 1925 году и т. п.).

Ассоциация пролетарских писателей была ликвидирована, и все писатели, поддерживающие платформу советской власти и стремящиеся участвовать в социалистическом строительстве, объединялись в единый Союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем.

Был создан Оргкомитет Союза советских писателей, возглавляемый Горьким.

Вполне естественно, что партия поручила произвести перестройку литературных организаций под руководством Алексея Максимовича Горького.

Горький неутомимо боролся за единство советской литературы против литературных группировок, критики коих бурно спорили, внося в этот спор много лишнего, несущественного, личных симпатий и антипатий. «Литераторам и критикам необходимо искать и разрабатывать пути к дружной совместной работе, работе в интересах трудовой массы» *(XXVI, 54)*.

Путь показа нового человека и новой действительности настойчиво искал Горький. Еще в 1928 году он говорил писателям: «Надо ставить, выискивать и открывать положительные черты нового человека... Я думаю, необходимо смешение реализма с романтизмом»[43].

Но это механическое смешение двух старых стилей не могло удовлетворить Горького. В 1929 году он пишет:

«Дело наших литераторов — трудное, сложное дело. Оно не сводится только к критике старой действительности, к изобличению заразительности ее пороков. Их задача — изучать, оформлять, изображать и тем самым утверждать новую действительность. Нужно учиться видеть, как в чадном тлении старой гнили вспыхивают, разгораются огоньки будущего» *(XXV, 110)*.

Такие поиски Горького в беседах с советскими писателями и в статьях о литературе были упорны и повторялись в разных вариантах. В 1930 году он писал о критиках:

«Крайне странно и очень печально видеть, что споры людей, единомыслящих в главном, ведутся тоном враждебным, перенасыщены грубейшими личными выпадами и что в спорах этих отсутствует чувство товарищества, сознание единства главной линии» *(XXV, 259)*.

Горький поражен был новыми впечатлениями 1928 года после приезда его в Советскую Россию. Больше всего он был поражен могучим ростом рядового строителя социализма. Он звал советских писателей к наивнимательнейшему показу этого человека и наибольшей помощи ему.

Присутствуя на обширном собрании писателей в 1931 году, Алексей Максимович снова ставит вопрос: «Не следует ли поискать возможности объединения реализма и романтизма в нечто третье, способное изображать героическую современность более яркими красками, говорить о ней более высоким и достойным тоном?» *(XXVI, 53)*.

В 1932 году он обращается к писателям: «Если

изобразить героя эпохи в освещении, которое он заслужил, вам мешают приемы реализма, ищите других приемов, вырабатывайте их» *(XXVI, 296)*.

Так Горький подходил к новому методу советской литературы. Называл он еще этот метод «многоплановым реализмом».

В 1932 году в доме, где жил Алексей Максимович, на Малой Никитской, собрались писатели на литературную беседу. В этот вечер приехал к Горькому Сталин. Долго беседовали они с писателями на темы съезда.

В собеседовании Сталин для «нечто третьего», как говорил Горький, предложил название «социалистический реализм».

Это вызвало большое оживление среди писателей. Принцип социалистического реализма ставил своей задачей утверждать новую действительность, как говорил Горький, правдиво изображать действительность в ее революционном развитии.

Но название направления возникает обычно тогда, когда художественная практика дает обильный материал для обозначения его термином. Так, Пушкин, будучи реалистом, не располагал термином «реализм».

В 1860-х годах, когда социализм в художественной литературе еще не появлялся, Н. Г. Чернышевский в романе «Что делать?» представил в четвертом сне Веры Павловны быт социализма. Вот работающие на полях убирают хлеб. «Как быстро идет работа!» — удивляется во сне Вера Павловна. Но еще бы не идти ей быстро! Почти все делают машины: и жнут, и вяжут снопы, и отвозят их, — люди почти только ходят, ездят, управляют машинами. Вот работа кончена, идут обедать. Великолепная сервировка. Вазы с цветами на столах.

Вечер. Большой роскошный зал. Люди веселятся и танцуют. Они поутру наработались. Кто не наработался вдоволь, тот не чувствует полноты веселья. Но здесь только половина народа. А где же другие? Они везде. Многие в театре. Иные рассеялись по аудиториям, музеям, сидят в библиотеке, иные в своих ком-

натах, чтобы отдохнуть наедине. Здесь все живут, как кому лучше жить, здесь всем и каждому — полная воля, вольная воля.

Вот как Чернышевский рисовал социализм — в сновидении, романтично. Но через сорок лет, когда рабочий класс окреп и стал проявлять свою силу и свое право, появилось другое направление.

Пьеса Горького «Мещане» (1901) может быть названа прообразом социалистического реализма, так же как машинист Нил является новым человеком в литературе. «Хозяин тот, кто трудится», — говорит Нил, и зритель понимал, что в подцензурной пьесе нельзя было выразиться яснее... Для актеров Горький подсказал: «Нил, человек, спокойно уверенный в своей силе и в своем праве перестраивать жизнь и все ее порядки по его, Нилову, разумению». Это герой рабочего класса, герой будущей революции. В пьесе «Враги» (1906) уже совершенно ясно это направление. Коллектив рабочих понимает, что только борьба против капиталистов, врагов рабочего класса, выведет его на новый, социалистический путь.

Роман Горького «Мать». Для героев его социализм не туманная мечта, а историческая реальность, которую завоюет рабочий класс. Они тоже идут в новую действительность. Поэтому так радостен и оптимистичен этот роман, несмотря на «ядовитую, каторжную мерзость», по словам Горького, окружающего мира.

Когда в 1928 году Горький непосредственно увидел величие социалистического строительства, он горячо взялся за передачу своего опыта советским писателям и всего более заботился о том, чтобы объединить всех писателей вокруг одной грандиозной задачи — помощи строителям социализма.

Он радовался, когда появлялись такие вещи, как «Цемент» Ф. Гладкова, «Железный поток» А. Серафимовича, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Соть» Л. Леонова, «Разгром» А. Фадеева, повести и рассказы Вс. Иванова и многие другие. Все это были произведения литературы, которую потом называли литературой социалистического реализма. Эта литература

росла, создавая и пестуя положительного героя, по-большевистски относящегося к действительности. Силой образа нового человека, прокладывающего путь к новой действительности, к новой, социалистической жизни, она воспитывала читателя в революционном понимании, закаляла его дух.

Понятие «социалистический реализм» ширилось и развивалось.

В одном письме 1933 года Горький говорит о своем «разногласии» с Лениным в 1917—1918 годах и о том, что правота Ленина была не только в силе познающего разума и в несокрушимой правильности теории, а в чем-то еще, кроме этого.

«Это «еще»,— писал Алексей Максимович,— может быть высотой точки наблюдения, которая возможна только при наличии редкого умения смотреть на настоящее из будущего. И мне думается, что именно эта высота, это умение и должно послужить основой того «социалистического реализма», о котором у нас начинают говорить, как о новом и необходимом для нашей литературы» *(XXX, 301)*.

Готовился Всесоюзный съезд советских писателей.

«Первый всесоюзный съезд писателей наших — явление глубочайшей важности, — писал Горький. — Это — экзамен литературы, ее отчет перед страной» *(XXVII, 70)*.

В остававшееся время до съезда Алексей Максимович энергично работал как председатель Оргкомитета Союза советских писателей.

Так, 7 сентября 1933 года он произнес речь на расширенном заседании президиума Оргкомитета. Он призывал всех писателей к повышению своей квалификации, то есть к большему познанию страны и читателя. «Читатель растет, — говорил он. — Вся страна поднята на дыбы... Создаются изумительные вещи. Это надо знать. В этих процессах надо участвовать, их надо изучать» *(XXVII, 83)*.

Он группами направлял русских писателей в братские республики. Писатели должны были там ознакомиться с национальным творчеством, оценить его и организовать переводы. Указывая на то, что в ли-

тературе дети не участвуют в качестве героев, говорил о необходимости создать хорошую детскую литературу. Он заботился о новых литературных кадрах, поставил вопрос об организации литературного института, настаивал на том, чтобы, не дожидаясь этого, сейчас же проводить занятия с молодежью на заводах и в литкружках.

Для Алексея Максимовича не было большей радости, как появление нового дарования, нового талантливого работника. Напоминая собранию о сотнях и сотнях молодых писателей, работающих во всех республиках и областях Советского Союза, печатающихся в десятках провинциальных сборников и альманахов, он требовал руководства этой армией начинающих.

«Перед нами развертывается огромнейшая и прекрасная работа, — воодушевленно говорил Алексей Максимович. — Я очень зову вас, товарищи, на эту работу».

Открытие съезда назначено было на 17 августа 1934 года. Основополагающий доклад о советской литературе должен был сделать Горький.

Выступление Алексея Максимовича на съезде было призывом к единству советской литературы с обоснованием творческих принципов социалистического реализма.

«Мы выступаем в стране, где пролетариат и крестьянство, руководимое партией Ленина, завоевали право на развитие всех способностей и дарований своих и где рабочие и колхозники ежедневно разнообразно доказывают свое умение пользоваться этим правом» *(XXVII, 497)*.

Так началось торжественное выступление Алексея Максимовича, когда он открыл I Всесоюзный съезд писателей.

Подчеркивая в своем докладе роль трудовых процессов как источника и основу художественного творчества, Горький разоблачает культуру капитализма, которая никогда не понималась буржуазией как необходимость интеллектуального роста всей массы человечества.

Буржуазия стремилась к тому, чтобы укрепить и защитить свою власть над миром, она всячески ограничивала возможность интеллектуального роста трудового народа, но в конечном счете все же пришла к тому, что в мире явилась новая движущая и творческая сила — пролетариат.

Партия коммунистов-ленинцев уничтожила капитализм на всем пространстве царской России, передав политическую власть в руки рабочих и крестьян. В Советской стране поставлено целью равномерное культурное воспитание всех единиц и стремление превратить труд людей в искусство управления силами природы. «С высоты этой великой цели мы, честные литераторы Союза Советов, и должны рассмотреть, оценить, организовать свою деятельность» *(XXVII, 319)*.

Я вспоминаю этот день: Горький стоял на трибуне съезда перед переполненным залом с тысячами устремленных на него глаз и говорил раздельно и веско, как бы призывая всех присутствующих к дружному, единому действию. Это была речь вдохновенного оратора.

Много иностранных писателей присутствовало на съезде: писатели Франции, Германии, Дании, Испании, США, Чехословакии, Швеции, Греции, Голландии, Турции, Норвегии, Англии, Австрии, Китая, Японии.

Многие выступили с яркими революционными речами, а японцу Хиджикато на следующий день после его речи японское правительство угрожало полицейскими репрессиями.

Французский писатель Жан Ришар Блок так вспоминал Алексея Максимовича на трибуне:

«Я не спускал с него глаз. Этот подточенный застарелым недугом, уже пожилой человек, как ни странно, олицетворял собою несокрушимую мощь... Его речь осталась не только на страницах книг, но и в нашей памяти, как литературная хартия социалистической культуры» [44].

Социалистический реализм, как видно по широким дебатам советских писателей (до двухсот ора-

торов выступило на съезде), давал широкий простор творческим исканиям при бесконечном разнообразии форм и приемов.

На съезде выступили Л. Леонов, Ф. Гладков, И. Эренбург, К. Федин, Вс. Иванов, А. Фадеев, А. Толстой, Н. Тихонов, А. Сурков и ряд других виднейших писателей.

Федин говорил: «Писатели Советского Союза заявили с этой трибуны о своем единстве. Это единство в области литературы выразилось в идейной общности содержания искусства».

Фадеев говорил: «Основное качество нашей литературы — это то, что она в основе своей является *социалистической* литературой, ибо мы существуем для утверждения новой, социалистической действительности в ее борьбе со старой».

Вс. Иванов говорил: «Мы должны искать новые методы работы... Писатель социализма есть человек, который должен знать науку искусства, то есть, изучив технику своего ремесла, должен научиться изобретать, открывать каждый раз, при каждом новом явлении, видеть это явление в свете большевистской науки, науки настоящего и будущего».

Леонов говорил: «...Итак, надо сделать вещи, достойные времени. Выполнить это очень трудно, мы знаем все это по собственному опыту. Иногда кажется, что надо иметь втрое, вдесятеро больше мозга, сердца, мужества и мастерства, чтобы справиться с поставленной перед нами задачей».

И. Эренбург говорил: «Буржуазия дает своим авторам социальный заказ веселить или отвлекать от мысли о неизбежной гибели вымышленными терзаниями. Социальный заказ, который нам дает наше общество, — другой. Мы пишем книги, чтобы помочь нашим товарищам строить страну».

А. Серафимович спрашивал, откуда такая громадная сила в нашей художественной литературе, и отвечал: «Только от одного — от того страшного напряжения, направленности к одной цели, от того громадного внутреннего единства художественного

творчества, которое несет в себе советская литература».

И много других писателей выступало, говоря о единстве советской литературы в смысле творческих принципов.

Горький сказал в заключительном слове о том, что это внутреннее идеологическое объединение литераторов является результатом постановления ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года, которым осуждены группировки литераторов по мотивам, не имеющим ничего общего с великими задачами советской литературы.

2

На съезде советских писателей Алексей Максимович горячо говорил об устном народном творчестве.

Внимание и любовь к фольклору Горький никогда не уставал пропагандировать среди писателей.

«Всегда, неутомимо точите ваше оружие, — писал он, — изучайте неисчерпаемо богатый, могучий, прекрасный язык народа! Он может дать вам силы для выражения чувств и мыслей, доступных гению» [45].

Эти прекрасные слова показывают, какое высокое значение фольклору придавал Горький. Но не только это. В письме о фольклоре он говорит об изумительном богатстве языка и чистоте его. В предисловии к изданию арабских сказок Горький пишет, что сказки помогут развить фантазию писателя, а главное — обогатят «его скудный язык, его бедный лексикон, который он часто пытается «обогащать» «провинциализмами», «местными речениями» или придуманными «на скорую руку» мертворожденными словечками» [46].

Незадолго до съезда, в 1934 году, Горький поднял целую кампанию за чистоту языка, против «словесной шелухи» в литературе. Повод к этому дал Ф. Панферов, который в дискуссии о романе «Бруски» защищал слово «скукожился».

Горький писал: «Считая себя обязанным бороться против засорения русского литературного языка

неудачными «местными речениями» и вообще словесной шелухой, я обращаю внимание товарищей литераторов на следующее: признано, что народный русский язык, особенно в его конкретных глагольных формах, обладает отличной образностью. Когда говорится: с-ежился, с-морщил-ся, с-корчил-ся и т. д., мы видим лица и позы. Но я не вижу, как изменяется тело и лицо человека, который «скукожился». Глагол «скукожиться» сделан явно искусственно и нелепо...» *(XXVII, 138—139)*.

Горький приводит ряд «речений» других писателей, как-то: «скокулязило», «вычикурдывать», «ожгнуть», «небо забураманило», «ворокоса безуенный», «дюзнул», «скобыской», «кильчак тебе между ягодиц», «саймон напрочь под корешок отляшил», «хардыбачить», «желания забредали в гости к чувствам» и так далее.

«Можно привести еще десяток книг, — все «продукция» текущего года, — наполненных такою чепухой, таким явным, а иногда, кажется, злостным издевательством над языком и над читателем...

Необходима беспомощная борьба за очищение литературы от словесного хлама, борьба за простоту и ясность нашего языка, за честную технику, без которой невозможна четкая идеология» *(XXVII, 151 — 152)*.

В обсуждении вопроса, поднятого Горьким (статьи «По поводу одной дискуссии», «Открытое письмо А. С. Серафимовичу», «О языке», «Беседа с молодыми»), приняли участие Ф. Панферов, А. Серафимович, Л. Сейфуллина, Е. Пермитин, А. Толстой, М. Слонимский, М. Шолохов, М. Шагинян, Вс. Иванов, В. Киршон, В. Ильенков и другие. Все писатели чувствовали профессиональную заинтересованность в этом вопросе и выступали в устных дискуссиях и со статьями в «Литературной газете» и в «Литературном Ленинграде».

Газета «Правда» поддержала позицию Алексея Максимовича: «Партия и правительство, вся Советская страна ставит и решает сейчас все вопросы социалистического строительства под знаком борьбы за

качество... Вопросы чистоты языка со всей остротой стоят в нашей литературе: речь идет о качестве того языка, которым каждый день говорит наша литература, наша печать с миллионами трудящихся»[47].

Горький боролся за чистоту русского литературного языка как за орудие культуры. Но он не ограничивался этим. Борьба за русскую культуру переходила в борьбу за советскую культуру, за культуру всех братских народностей. А с каким вниманием относился издавна Горький к делу познания и пропаганды культуры народов, поставленных в историческую связь с русским народом! Как он стремился к переводам на образцовый русский язык их литератур!

Еще в издательстве «Знание» в 900-х годах Алексей Максимович затеял издать сборники грузинский, татарский, польский, латышский, армянский, затрачивая свои личные средства на это дело. Но предприятие остановилось, так как переводы не удовлетворяли Горького.

В 1912 году он писал «Книгоиздательству писателей в Москве», что было бы вполне своевременно и крайне важно, если бы за это дело, за издание сборников национальных писателей, взялась бы не издательская фирма из соображений коммерческих, а товарищество великорусских писателей.

«Это доброе и необходимое дело, — писал Алексей Максимович, — снова и быстро укрепило бы пошатнувшийся моральный и политический престиж русской литературы» *(XXIX, 249)*.

Из письма видно, что Горький был в переписке с национальными писателями и пропагандировал дело, которому придавал важнейшее значение.

В том же году, в декабре, группа грузин обратилась к Алексею Максимовичу с предложением быть редактором задуманного ими сборника переводов грузинских писателей на русский язык.

«Взять на себя редактуру переводов я стесняюсь, — отвечал он, — но если Вы находите нужным, возьму» *(XXIX, 287)*.

При обилии работы Горький требует указать ему *все* книги по истории Грузии и по истории грузинской литературы и прислать ему таковые, если что имеется под рукой. Рукописи требует посылать немедля бандеролями, а не посылками — они идут слишком долго. И, зная его работоспособность и тщательность в работе, можно представить его работу над редакцией переводов.

Но предприятие это расстроилось, и в архиве Алексея Максимовича остался большой сборник рукописных переводов.

Организовать и издать такие сборники при участии виднейших сил русской литературы Горькому с трудом удалось только в годы перед самой революцией, когда, приехав в Петербург, он принял руководящую роль в издательстве «Парус». Вышли толстые сборники армянской, латышской, финской литератур; сборники еврейской и украинской литератур не успели выйти.

А в советскую эпоху, когда пали цензурные преграды, мешавшие при царизме пропаганде национальных культур, и когда, и это главное, в основу отношений между народами Союза Советов были положены принципы национальной политики партии большевиков (образование братских республик и создание единой по содержанию и многообразной по форме (языку) социалистической культуры и т. д.), — это дело явилось для Горького предметом непрестанной заботы.

Можно сказать, что не было ни одного большого организационного вопроса, с которым Горький не связал бы вопрос о культуре братских народов.

В 1920 году, в Москве, в квартире Горького в Машковом переулке, при свидании с Лениным Горький высказывался о необходимости содействовать развитию литератур народностей Советского Союза [48].

Вскоре после своего приезда в СССР в 1928 году Горький беседует с национальными писателями в Казани, в Ереване, в Тбилиси.

Тогда же он прилагает свои силы к организации

выпусков альманахов художественной литературы всех советских республик.

«Хорошо знать друг друга теперь нам необходимо более, чем когда-либо раньше, — писал он, — потому что, повторим, все мы идем к одной цели, призваны делать одно и то же дело».

Кави Наджми он писал:

«К сведению Вашему: Госиздат предполагает выпускать в свет «Альманахи художественной литературы народов и племен Союза Советов», — само собою разумеется, что необходимо и участие татарских литераторов в этих альманахах» *(XXX, 101—102)*.

Алексей Максимович сам настоял перед Госиздатом на выпуске этих альманахов и сам же рассылал письма, подобные письму Кави Наджми.

Но особенно перед съездом советских писателей Горький проявил живейшую инициативу к сближению русских писателей с национальными культурами. Он пропагандировал русским писателям национальное творчество и, посылая в братские республики, с интересом ждал их возвращения.

«...Литераторы наши — т. е. русские — читают вообще мало, — писал он А. С. Щербакову, — а книги «нацменьшинств» и совсем не читают, — нужно чтоб читали и чтоб видели, что литераторы братских республик пишут не хуже, а некоторые и лучше их» *(XXX, 387)*.

На съезде вслед за докладом Горького о советской литературе были прочитаны доклады об украинской, белорусской, татарской, грузинской, армянской, таджикской и других национальных литературах. Больше пятидесяти братских народностей было представлено на съезде. Около шестидесяти ораторов выступало по национальным литературам.

Открывая съезд, Алексей Максимович так сказал о значении Союза писателей:

«Значение это — в том, что разноплеменная, разноязычная литература всех наших республик выступает как единое целое перед лицом пролетариата Страны Советов, перед лицом революционного про-

летариата всех стран и перед лицом дружественных нам литераторов всего мира» *(XXVII, 296)*.

Горячо и с любовью говорил Горький о национальных литературах, составляющих как бы одну семью с великой русской литературой. Особенно заботился он о переводах. «Идеально было бы, — пишет он в одном письме, — если бы каждое произведение каждой народности, входящей в Союз, переводилось на языки всех народностей Союза».

Это всеобъемлющее желание недаром дало ему название «отца национальных литератур»[49].

Горький требовал регулярного выпуска альманахов текущей литературы братских народностей, не менее четырех книжек в год. Так был основан альманах, получивший впоследствии название «Дружба народов», а ныне преобразованный в ежемесячный журнал.

Прибытие на съезд народного певца Дагестана Сулеймана Стальского явилось как бы подтверждением слов Горького о неисчерпаемом богатстве национальных литератур. Стальский явился на съезд в пастушеской одежде горца — в бешмете и папахе.

П. Павленко, познакомившийся с ним в Дагестане, так рассказывает о его встрече с Алексеем Максимовичем:

«Затаясь, став как-то еще более сухоньким, входил Сулейман Стальский в комнатку за сценой Колонного зала, где его прихода ждал Горький. Он хотел что-то спросить, по-видимому о том, как ему приветствовать Алексея Максимовича, и... не успел. Улыбаясь застенчивой улыбкой и глядя на гостя сияющими, радостными глазами, Горький уже подходил к Стальскому.

— Я много слышал о вас, рад пожать вашу руку, — сказал он, склоняясь к невысокому Стальскому, смущенному и неподготовленному... Но это смущение было мгновенным. Стальский уже отвечал Горькому обычным, полупевучим, негромким голосом.

— Я рад, что мы оба старики, — сказал он с удивительной нежностью, — мне будет легко говорить с вами.

И, сев рядом, они заговорили через переводчика, как если бы были знакомы много десятилетий»[50].

Стальский прочел свои приветственные стихи съезду на родном ему языке с выразительными интонациями и жестами.

Закрывая съезд, Алексей Максимович сказал, что на него потрясающее впечатление произвел народный певец Сулейман Стальский.

«Я видел, — говорил Горький, — как этот старец, безграмотный, но мудрый, сидя в президиуме, шептал, создавая свои стихи, затем он, Гомер XX века, изумительно прочел их.

Берегите людей, способных создавать такие жемчужины поэзии, какие создает Сулейман» *(XXVII, 342)*.

Необходимо начать широкое ознакомление с культурой братских народностей, говорил Горький и выразил пожелание создать в Москве «Всесоюзный театр», в котором артисты всех народностей Союза Социалистических Республик получили бы возможность ознакомить с национальным драматическим искусством и посредством его — с прошлым и настоящим культурной жизни своего народа.

Вместо «Всесоюзного театра» были организованы национальные декады в Москве, которые являются праздником каждой национальности и событием для всего советского искусства.

3

Его первым и постоянным требованием к советским писателям было требование вдумчивого отношения к действительности, требование равняться по героическому строителю социализма, по авангарду рабочего класса.

Он требовал напряженной работы, требовал максимальной помощи от литературы в борьбе за победу коммунизма, требовал всенародности литературы по пафосу, содержанию и языку.

Как он досадовал, когда ему казалось, что особенности языка послужат препятствием для пони-

мания хорошей книги во всех концах страны или что перевод этой книги представит затруднение для распространения ее за пределами русского языка!

Л. М. Леонову он писал о его романе «Барсуки»:

«Эта книга — надолго. От души поздравляю Вас. Жалею об одном: написана повесть недостаточно просто. Ее трудно будет перевести на иностранные языки... А современная русская литература должна бы особенно рассчитывать на внимание и понимание Европы, той ее части, которая искренно хочет «познать Россию». Честные люди Европы начинают чувствовать, что мы живем в трагический канун Возрождения нашего и что у нас следует многому учиться» *(XXIX, 442)*.

Советский писатель, по представлению Горького, должен быть понятен во всем мире, должен быть рупором побед социализма, глашатаем его идей.

Поистине к высокому назначению звал он до последнего дня своей жизни советскую литературу, и мы знаем, как он не жалел себя, как тратил свои силы, чтобы передать советским писателям свою великую страсть.

Ради этого и ради предложенных им предприятий высокого культурного значения он отодвигал на время свою художественную творческую работу, хотя не мог не помнить, что «Жизнь Клима Самгина», его значительнейшее произведение, еще не кончена.

Ведь не просто по доброте он был столь отзывчив, что писал сотни писем, отвечая на какой-нибудь, даже самый простодушный, запрос из глухого захолустья, из какой-нибудь российской «щели». А он всегда отвечал, если только угадывал по письму или рукописи ростки таланта, усилие воли, стремление — «вперед и выше».

«Не сосредоточивайтесь *на себе,* но сосредоточьте весь мир *в себе,* — писал он поэту Ахумяну. — Поэт — эхо мира, а не только — няня своей души» *(XXIX, 370—371)*.

Начинающему писателю он пишет:

«Талант? Это — любовь к своей работе, уменье работать. Надобно отдавать всего себя, все свои

силы избранному делу... Вы живете в самое интересное время из всех времен, которые когда-либо развертывались на земле. Подумайте: так же как каждый из вас встает к новой жизни, хочет ее строить, — так же, постепенно, поднимаются к ней воли, воображения, мысли десятков миллионов людей» *(XXX, 66)*.

Неисчислимо количество людей, которым Горький помог, кого поставил на ноги, ободрил в работе, воодушевил, научил. И если замечал хоть искру таланта, не жалел никаких усилий своих, чтобы превратить ее в пламя; если видел у человека доброе желание служить общему делу, широко раскрывал этому человеку свое сердце.

Его дарование художника слова, огромный опыт творческой работы, восприятие каждого нового литературного явления почти как своей личной удачи, давняя роль страстного вдохновителя и организатора сделали его естественным средоточием советской литературной жизни, и в 1920 — 1930 годы, можно сказать, не было ни одного советского писателя, так или иначе не обязанного Горькому помощью, вниманием, советом, а иногда и литературным бытием.

«Я — профессиональный читатель, — писал Горький, — влюбленный в литературу. Каждый раз, когда приходит новая книга, я открываю ее с глубочайшим волнением, напряженно ожидая найти в ней что-то новое, радостное, талантливое» [51].

Это Горький писал в ответ на вопрос корреспондента, зачем он читает все, что появляется в русской литературе.

Как-то писатель В. Я. Зазубрин сообщил Алексею Максимовичу, что не рассказывает ему о молодых сибиряках-литераторах, потому что и без того «назойливые литмладенцы лезут к нему тысячами».

Алексей Максимович ответил на это в высшей степени интересным письмом.

«Тут, видите ли, дело в том, — писал Алексей Максимович, — что я никогда не забываю о себе — малограмотном парнишке 12—16 лет и неуклюжем парне 17—22-х... Знали бы Вы... сколько на путях моих я встретил замечательно талантливых людей,

которые погибли лишь потому, что в момент наивысшего напряжения их стремлений — они не встретили опоры, поддержки. Вот отсюда и происходит мое отношение к «литературным младенцам», дважды родственным для меня — как люди с направлением к лучшему и как люди, желающие пойти путем, который мною уже пройден и снабдил меня известной долей опыта, которого у них — нет. Многим со стороны, — да, нередко, и мне самому — эта моя возня с «младенцами» кажется смешной, частенько я делаю ошибки, но — ведь ничего нет легче, как ошибиться в оценке человека... Однако нередко удавалось мне и правильно отгадывать истинную цену младенца. Это меня радостно удовлетворяет, а ошибок я — не боюсь, да прежде всего я сам и плачу за них.

Человек дьявольски хитрый, я пишу все это Вам... со скрытой целью повлиять и на Ваше отношение к «литературным младенцам». Уверенно ожидая появления в нашем мире крупнейших и даже гениальных художников, я не забываю, что Пушкин и Толстой были младенцами» *(XXX, 73—74)*.

Каким благородством глубочайшего внимания к человеку, каким страстным ожиданием плодотворного развития его творческих сил проникнуты эти мысли Горького. Очень точно он в этом же письме называет свою любовь к человеку — «творцу всех чудес» — излюбленным своим ремеслом «и даже, может быть, искусством».

И не только сам Горький заботился о всех растущих и начинающих писателях, но и других литераторов заставлял заботиться о молодых, как это видно из письма к В. Я. Зазубрину.

Но не следует думать, что Горький возился с «тысячами литмладенцев», присылавших все свое, кое-как написанное. Вот его ответ «Литкружковцам г. Запорожья»:

«Присланные вами литературные опыты небрежностью и несерьезностью своею вызвали у меня впечатление шутки «от безделья». Я получаю сотни рукописей, гораздо более малограмотных, но в них всегда чувствуется искреннее стремление людей сказать что-

то о себе и своим голосом. В произведениях ваших я этого не почувствовал... Подробной критикой таких опытов, как ваши, я не имею права заниматься, у меня нет времени для этого»[52].

Широчайшая помощь Горького молодым писателям в течение четырех десятилетий войдет в историю нашей культуры как одно из ярких свидетельств его огромной и многообразной работы.

Сколько из среды этих «молодых» писателей, в свое время «младенцев», стало выдающимися писателями, сколько прославилось и сколько уже отошло от нас, завершив свое земное поприще...

С этой работой Алексея Максимовича можно — и то до некоторой степени только — сопоставить работу великого Салтыкова-Щедрина, который, редактируя журнал «Отечественные записки», воспитал целое поколение писателей.

В одном из писем к Н. К. Михайловскому Салтыков-Щедрин говорит: «Все знают, что я не наемный, а кровный редактор».

Таким «кровным редактором» был и Горький.

Как он был требователен, показывает такой случай. Писатель посылает ему свою книгу очерков и сообщает:

«Вот все, что я могу дать, большего не требуйте».

Алексей Максимович, прочтя книгу, отвечал ему:

«...Я Вам не верю. Мне кажется, что по какой-то причине Вы не хотите быть более щедрым. Вы как бы боитесь чего-то или — простите! — Вам лень работать... «Если можешь — должен!» Вы — можете, это Вами доказано, значит — Вы должны работать» *(XXX, 440)*.

И Алексей Максимович предложил писателю тему новой книги.

Горький был очень взыскателен. Он браковал беспощадно, не давая скидок ни на молодость, ни на неопытность. Он требовал непрерывного ученья.

«Писателю невозможно быть энциклопедистом», — писал автор Горькому.

«Если это Ваше крепкое убеждение, — резко отвечал Горький, — бросьте писать, ибо убеждение это

говорит, что Вы не способны или не хотите учиться. Писатель должен знать как можно больше. А Вы пытаетесь выговорить себе право на безграмотность».

И, сурово отчитав автора, Алексей Максимович в конце письма мягко убеждает:

«Мне думается, что Вы человек упрямый, волевой и что у Вас заметны признаки таланта. Может быть, Вы попробуете учиться писать? Следовало бы».

«Искусство» Горького было в том, что за рукописью или письмом он всегда старался представить себе человека, угадать — кто он, какие у него запросы, есть ли признаки таланта. Часто Алексей Максимович ошибался, но снова и снова принимался за чтение рукописей и поиски талантов.

«Сомнение — для художника — прекрасное свойство, а вот самомнение — пагуба», — говаривал Алексей Максимович, и велик был его гнев, когда он встречал такое самомнение в сочетании с нежеланием честно работать.

«Не буду перечислять глупости и пошлости, которыми заполнены почти все страницы Вашей книги, — писал Горький одному из авторов, — не просто плохой, а — постыдно плохой. С чувством искренней горечи пишу все это. Как могут существовать в Союзе Советов литераторы такого типа, литераторы, совершенно лишенные чувства уважения к читателям? И при всем этом, при отсутствии сознания социальной связи с читателем, при наличии анекдотической малограмотности, Вы хвастливо говорите: «Я и моя творческая группа...». «Вся моя творческая группа» — это Вы, организатор и руководитель группы, Вы — сочинитель такой халтурной книжки?.. Я пишу Вам грубо, но я через Вашу голову говорю всем таким сочинителям, как Вы: одумайтесь, учитесь работать честно. Вы должны понять, что в наших советских условиях плохая работа есть бесчестная работа».

Другому литератору Горький пишет:

«Рассказы Ваши вызвали у меня такие мысли: как странно! Человек живет в государстве, где десятки миллионов людей, не щадя своих сил, создают новые формы жизни, где сотни тысяч молодежи обу-

чаются в вузах и уже выделили из среды своей десятки очень крупных деятелей в области науки, где рабочий класс ежегодно увеличивает кадры администраторов, изобретателей... и живя в такой стране, среди такого народа, человек не видит в ней никого, кроме каких-то полуидиотов... Но способности у Вас есть и Ваша обязанность — всесторонне разрабатывать их»[53].

Честный, упорный, настойчивый, будничный, иногда мучительный труд — это, по убеждению Алексея Максимовича, основа литературного дела.

Горький был великим учителем литературного труда. Ф. Гладков, М. Шолохов, В. Шишков, В. Бахметьев, А. Фадеев, Л. Леонов, К. Федин, Вс. Иванов, П. Павленко, Н. Тихонов и много других писателей, составивших славу советской литературы, выросли под влиянием Горького, восприняли его как учителя в своем труде.

«Как бы строг ни был Горький в суждениях о литературе, — вспоминает К. Федин, — он вселял в писателя постоянно одно и то же сильное чувство: ты хозяин, ступай и управляй хозяйством, называемом литературой, оно — твое... Он учил вере в дело литературы, убеждая в его величии».

П. Павленко пишет о вечерах в доме Горького:

«Сидишь, пьешь чай, слушаешь Алексея Максимовича и вдруг ощущаешь, что ты — соратник Пушкина по профессии, что ты — в одном союзе с Тургеневым, Чернышевским, Львом Толстым, Чеховым, что ты — господи боже! — их законный наследник и продолжатель».

Ф. Гладков писал о своем большом разговоре с Алексеем Максимовичем. Горький вызвал его на этот разговор, заставив рассказать о своем детстве и молодости. Потом взял с него слово, что он все расскажет читателю, ничего не утаивая. «Не надо закрывать глаза на явления тяжкие и отрицательные, — а их много было в прошлом, и они были неизбежны, — но подчеркивайте положительные, жизнеутверждающие явления и ярко освещайте их». Ф. Гладков исполнил это обещание, и даже в часы

сомнений и раздумий настойчиво звучал внушающий голос Алексея Максимовича: «Это очень важно, очень нужно». Так появились его повести: «Детство», «Вольница» [54].

Вс. Иванов рассказал, как Горький учил его, начинающего писателя. Горькому понравился его рассказ, присланный из Сибири. Обрадованный автор прислал ему целую «кипу» рассказов. Горький ответил, что рассказы слабые, что надо работать и учиться. После гражданской войны Вс. Иванов приехал в голодный Петроград к Горькому. Подошва у ботинок отскочила, и он примотал ее ржавой проволокой. «Надо вам ботинки поправить. Пищу — также, комнату... Но сначала расскажите хоть малость о себе. Что вы думаете писать?»

...Написав рассказы, я отнес их Горькому. Он возбужденно потер руки:

— А завтра приходите поговорить о рассказах.

Утром я пришел к нему... Я увидел сухое, слегка недоумевающее лицо, и круг, как бы мысленно очерченный им около себя.

— ...Рассказы ваши необработаны, небрежны. Напечатать их нельзя. — И, помолчав, добавил: — А человек вы талантливый. Отчего это так?»

Вс. Иванов забрал рассказы. Он ошалело шел к себе домой. Казалось, все кончено. Потом вспомнил: «Ведь он сказал — рассказы *не обработаны.* Значит, надо работать, искать, трудиться». Он писал, почти не отрываясь от стола, трое суток. На четвертые сутки хлебные запасы кончились. Но и рассказ был окончен. Назывался он «Партизаны». Автор попросил у Горького хлеба.

«К вечеру я получил следующее письмо:

«Как это у вас хлеба нет, друг мой! Вы должны аккуратно получать в Доме ученых. Там же надо вам починить сапоги».

Утром автору принесли из Дома ученых сапоги. А через день ему передали ордер: «Выдать пару сапог Всеволоду Иванову». А еще через неделю, когда он шел мимо мраморной лестницы в Доме ученых, его сверху остановил голос Алексея Максимовича:

— У меня, Иванов, есть для вас в кабинете одна вещь. Обождите!

И он вынес мне пару сапог.

— У меня уже трое сапог, Алексей Максимович,— умиленный, сказал я. — Мне хватит надолго!

— Ничего, сгодятся, берите: отличные рассказы пишете» [55].

Так Горький поздравил Вс. Иванова с началом литературной деятельности.

Характерны слова Горького, обращенные к одному молодому писателю:

«...Не приучайте себя к пустякам, если Вы в силах делать серьезное дело. Работайте больше, читайте и наблюдайте людей, раздражайте себя. Вообще, уж если Вы взялись за искусство, не щадите себя!

Тут необходимо, чтобы сердце трепетно было и страстно» [56].

У Алексея Максимовича не было упрека более горького и тяжелого, чем поверхностное, легкое отношение писателя к своей работе..

«...Несерьезное, поверхностное отношение Ваше к литературной работе объясняется тем, что Вам очень дешево далась известность», — пишет он автору, слишком спешившему к славе.

«Нет сомнения, — пишет он литератору, в котором чувствовал равнодушие и невнимание к работе, — Вы даровитый человек, но — извините — плохой работник,— слишком торопитесь сделать и, видимо, не чувствуете наслаждения делать».

«В общем же — дерзайте! — пишет он начинающему автору, разобрав его первые рукописи. — Но — учитесь! Это прежде всего и — навсегда, до смерти».

«Вы спрашиваете: как писать? — отвечает он другому корреспонденту. — Пишите так, как будто Вы — свидетель на вековом суде правды с кривдой, а судья — Ваш лучший друг, в справедливость его Вы безусловно верите и скрыть от него ничего не хотите, даже — не можете».

Эти проникнутые глубокой мудростью мысли Горького относятся ко времени писания им его са-

мого значительного произведения — четырехтомной эпопеи «Жизнь Клима Самгина».

Она охватывает почти полвека в истории России, и Горький писал ее именно так: как свидетель — и какой великий, какой многоопытный и многознающий свидетель! — на вековом суде правды с кривдой.

И такова была его страстная воля к труду, что он любил говорить о бессмертии человека, «творца всех чудес».

«Было бы разумнее и экономнее, — писал он автору этих строк, — создавать людей вечными, как, надо полагать, вечна вселенная...» [57]

Ему мало было долголетия человека, он требовал неограниченного во времени бытия, не потому ли, что силы его собственной жизнедеятельной страсти были неиссякаемы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Алексей Максимович писал С. П. Подъячеву:

«Я редко пишу Вам только потому, что у меня совершенно нет времени переписываться для своего удовольствия. Вы представить не можете, как много приходится мне писать. Вот вчера я получил 17 писем, сегодня — 14, и добрый десяток их требует обстоятельных ответов. Разумеется — я не жалуюсь, ибо: «Взялся за гуж — не бай, что не дюж». Но мне нужно писать статьи, *хочется написать пьесу* *, у меня не кончен «Самгин», а в правой руке сидит ревматизм... И, вообще, — 63 г. дают себя знать» *(XXX, 205)*.

При необычайной загруженности Алексей Максимович продолжал работать и в драматургии.

Горький любил театр. Театр для него был популярным массовым искусством, потрясающим и радующим зрителей. Он очень ценил это качество, заражающее сотни тысяч людей.

Пьеса, о которой пишет Алексей Максимович в письме к Подъячеву, появилась на сцене осенью 1932 года.

Эта пьеса — «Егор Булычов и другие» — изображала события в купеческом доме накануне Февральской революции 1917 года.

«Егор Булычов» быстро завоевал симпатии зрителя политическим значением своим, мастерством

---

* Курсив мой. — *И. Г.*

построения, выразительностью языка персонажей пьесы.

Действие происходит в губернском провинциальном городе.

Булычов, именитый купец, вышел из бурлаков («отец мой плоты гонял»), пробил себе энергией, кулаками путь к богатству, женился на купеческой дочери, получил богатейшее приданое, — «какой был орел!» — говорит о нем жена.

Став капиталистом, он приумножает капитал, грабит — «с молоду бито много, граблено», — говорит он былинными стихами.

Но, вероятно, еще в юности у него были сомнения, заглушенные потом капиталистическим азартом. Теперь, в 1916 году, он пришел к отрицанию тех буржуазных порядков и нравов, которых сам был еще недавно активным представителем.

Пришел к отрицанию теперь, когда «люди, как фокусники, прямо из воздуха деньги достают».

Башкин, управляющий Булычова, говорит его жене:

«Кругом деньги падают, как из худого кармана, нищие тысячниками становятся... Достигаев до того растучнел, что весь незастегнутый ходит, а говорить может только тысячами. А у Егора Васильевича вроде затмения ума начинается. Намедни говорит: «Жил, говорит, я мимо настоящего дела. Что это значит?»

Что это значит — не знает Башкин, не знает и жена Булычова, — она приписывает это привычному Булычову озорству.

Конечно, Булычов — озорник. Но сейчас через его озорство проглядывает отрицание того, что происходит вокруг.

Придя из госпиталя от раненых, он говорит: «Народу перепортили столько, что страшно глядеть...» Поп Павлин предусмотрительно вставляет: «Однако войны не токмо разоряют, но и обогащают как опытом, так равно и...» И Булычов прерывает его: «Одни — воюют, другие — воруют».

От каждого человека, который приходит к нему,

он допытывается «правды». Башкин, который пришел к нему за разрешением дать взятку генералу Бетлингу, чтобы он принял сукно, подвергается такому допросу:

«*Булычов*. Ну, и что же? Несчастная война?.. Для кого несчастная?

Башкин. Для нас.

Булычов. Для кого — для нас? Ты же говоришь: от войны миллионы наживают? Ну?

Башкин. Для народа... значит...

Булычов. Народ — мужик, ему — все равно: что жить, что умирать. Вот какая твоя правда!..

Башкин. Ну, что вы? Какая же это правда?

Булычов. Самая настоящая! Это и есть правда. Я говорю прямо: мое дело — деньги наживать, а мужиков — хлеб работать, товары покупать. А какая другая правда есть?»

«Правду» выпытывает Булычов у каждого, кто приходит к нему, выпытывает не для разоблачения, а чтобы самому убедиться в гнили буржуазной действительности.

У Булычова рак печени. Болезнь оторвала его от привычных дел, поселила сомнения и еще более обострила его отношение к окружающему.

Он спорит с Меланией, игуменьей монастыря, деньги которой лежат в булычовском деле. Она грозит судом божиим, а он уличает ее в ханжестве.

Он добивается «правды» в торжестве над униженным противником, добивается того, чтобы вытащить из него гнусную «ложь».

Башкин отступает перед ним. Мелания, с посохом и в клобуке, ошалелая, теряет свое величие игуменьи. Поп Павлин скрывается, посрамленный Булычовым.

Булычов не хочет умирать. Он цепляется за все средства, которые ему предлагают. Вдруг поможет? И ему подсовывают дураков и прохвостов.

Когда трубач-пожарный, который лечит трубными звуками, сознался в обмане и признался, что обманывать не стыдно, если верят, Булычов развеселился.

«Это правильно! — говорит он. — А поп Павлин эдак не скажет! Он — не смеет!»

А узнав, что пожарного зовут Гаврило, велел трубить во всю силу.

И, когда сбежались домашние и гости, он закричал:

«Глуши их, Гаврило! Это же Гаврило-архангел конец миру трубит!»

С таким буйным, трагическим озорством возглашает Булычов «светопреставление», конец миру и «страшный суд» воровству, обману и грабежу.

А тем временем домашние ждут его смерти, чтобы завладеть наследством.

Ксения, его жена, говорит Башкину, что напрасно замуж за Булычова пошла, надо было за него выйти, за Башкина. Говорит, что зять ее, Звонцов, с ее дочерью, Варварой, облапошат ее в случае смерти Булычова. Башкин говорит: «Все возможно. Война! На войне — ни стыда, ни жалости».

Булычов всем своим существом чувствует, что «погибнет царство, где смрад». Достигаевы и Звонцовы, наоборот, ожидают расцвета буржуазного строя.

Звонцов, адвокат-кадет, мечтает о политической карьере, о влиянии в губернии и о портфеле министра; Варвара мечтает завести политический салон; Достигаев мечтает о крупнейших финансовых операциях, и все они относятся к метаниям Булычова, как к чудачеству и нелепостям.

Пьеса поразила своей простотой зрителя и оздоровила понимание настоящей театральности. Эта простота была настолько необычной, что режиссер Вахтанговского театра Б. Захава так вспоминает первоначальную работу театра с пьесой:

«...Мы разделили акты на эпизоды, перемонтировали текст, в результате чего отдельные куски из одного акта попали в другой, сочинили пролог, вмонтировали в текст пьесы чтение газет, стихов и т. п., кое-где осмелились даже—страшно подумать!—вставить в горьковский текст реплики нашего собственного сочинения»[58].

Оказалось, что вся эта театрализация не нужна, что пьеса является классической по построению и языку.

Три мотива есть в пьесе. Первый мотив — борьба Булычова за жизнь, ожесточенная борьба, и сознание, что он бессилен против смерти. «Кабы — бог да кабы мог», — говорит он, повторяя слова «блаженного» Пропотея.

Второй мотив — Булычов в борьбе с окружающими, которые ждут его смерти и ткут сложные интриги, готовые вцепиться в наследство и урвать кусок побольше. Пользуясь историей с трубачом, подговаривают врачей признать Булычова сумасшедшим для того, чтобы оспорить на суде его завещание.

И третий мотив — надвигающаяся в феврале революция, грозящая смести эксплуататорский порядок. Булычов, который сам, своим путем пришел к неверию в грабительские законы капитализма, говорит задумчиво: «Дело — не в царе... а в самом корне...» Достигаевы же и Звонцовы возлагают на буржуазную революцию свои спекулянтские надежды. Достигаев говорит в конце пьесы, когда Булычова охватывает тяжелый приступ после пляски «блаженного» Пропотея: «Демонстрация идет... надобно примкнуть».

Вот какое сложное и огромное содержание вложено автором в три действия этой небольшой пьесы.

А. Н. Толстой писал Алексею Максимовичу:

«Вы никогда не поднимались до такой простоты искусства. Именно таким должно быть искусство, — о самом важном, словами, идущими из мозга, — прямо и просто — без условности форм. Спектакль производит огромное и высокое впечатление. Изумительно, что, пройдя такой путь, Вы подошли к такому свежему и молодому искусству...» (*XVIII, 420*).

Горький повернул «Егором Булычовым» развитие советской драматургии. Это было решающим этапом. «Без условности форм», без театрализации, без внешней красивости, без навязчивых идей, без стилизации, без мелодраматизма, «прямо и просто» показал Горький сложного и противоречивого героя.

Художественно красочен не только Булычов, но и все действующие лица до самых мелких, эпизодических, и все это превращается в широкое социальное полотно. Хотя нигде в пьесе не сказано об этом, но читателя и зрителя не покидает ощущение, что действие происходит в преддверии социалистической революции.

Вторая пьеса — «Достигаев и другие» — появилась на сцене в 1933 году. Действие ее происходит в июле, сентябре и октябре 1917 года.

Если в первой пьесе мы видим только предвестие бури, социалистической революции, то во второй пьесе уже сама буря.

Народная волна поднялась, рабочие, солдаты митингуют на заводах, на улицах.

В купеческом клубе — Звонцов, комиссар Временного правительства, «губернатор», как с иронией называют его сограждане, Варвара, его жена, воинствующая кадетка, Достигаев, генерал Бетлинг, черносотенцы Нестрашный, Губин, купцы Троекуров, Целованьев, фабрикант Лисогонов, Павлин, бывший полицейский Мокроусов, Мелания. Все они растеряны, не знают, как им быть, что предпринять.

Только Достигаев прислушивается, присматривается, сыплет прибаутками и соображает, к чему ему приспособиться.

Во втором действии, когда Мелания после столкновения с большевиком Рябининым кричит: «До чего дожили! И арестовать нельзя... Ходит разбойник у всех на глазах, а схватить его — запрещено. Что же это?» — Достигаев отвечает: «Схватить — нельзя! Свобода».

И размышляет: «Ежели эдаких Рябининых найдется тысяч пяток, десяток... А их может оказаться и больше... Н-да... Не схватишь. А вот если ножку им подставить на крутом-то пути... на неведомой дороге?»

Здесь мы видим, что Достигаев, не надеясь, что одолеет Рябининых, уже строит планы вредительства.

А когда взволнованный Павлин принес известие

об Октябрьском перевороте, Достигаев говорит так, как будто ничего не случилось особенного:

«Значит: в Петрограде образовалось новое правительство, рабочее? Ну, что ж? Деды и прадеды наши из рабочих вышли, отцы с рабочими жили-трудились, почему же и мы не сумеем?»

И Павлин восклицает с огорчением:

« — Ох, Василий Ефимович, как неприятно шутите вы!..»

Но Достигаеву не до шуток, он искусно юлит, что в тот же вечер доказал. К нему приходят два дубовых черносотенца, Нестрашный и Губин, для того чтобы вовлечь его в заговор и устроить вооруженное нападение на Совет рабочих и солдатских депутатов.

Достигаев ведет с ними политический разговор, ни к чему его не обязывающий, и в то же время выведывает их секреты, а когда приходят солдаты, чтобы арестовать черносотенцев, он обвиняет гостей в том, что они «явились с фантазиями», которые он «отказался даже выслушать, чему есть свидетель отец Павлин...».

Но Достигаеву не удается выкрутиться.

Последнее явление пьесы посвящено «бородатому солдату».

«Бородатый солдат» — эпизодическое лицо, но крайне важное для Горького. Этот солдат, к удивлению Достигаевых, остается дежурить при них, и пьеса кончается его диалогом с арестованными.

Горький в беседе с актерами после одной из репетиций так говорил о «бородатом солдате»:

«Его надо сделать отчетливо. Это эпический солдат. Чорт знает, чего он не видел на своем веку, он был и конюхом, он не то, что понял что-то, но он почувствовал, всем своим существом почувствовал «вот что надо делать». Это типичный человек того времени... Он прошел путь от 6-го года. В 12-м году Ленский расстрел, видел, как страдали товарищи, массы страдали. Это какой-то массовый человек, палец какой-то руки. Я не хочу сказать, что он исторически чувствовал эту боль, но лично чувствовал. Так что

ему особенно беспокоиться, особенно говорить не нужно, он говорит спокойно, он злорадствовать не будет, но и жалеть не будет. Если нужно, он и сам расстреляет...»[59].

Вот какой эпической фигурой кончается пьеса «Достигаев и другие».

Когда я подготовлял второе издание собрания сочинений М. Горького, я запросил Алексея Максимовича, не включить ли в собрание две его пьесы, к тому времени уже написанные. Алексей Максимович ответил 21 декабря 1932 года: «Булычова» и «Достигаева» тоже не надо включать, когда напишу третью пьесу, — издадим их все сразу, отдельной книжкой» *(XXX, 265)*.

Третьей пьесой должна была быть, по словам Алексея Максимовича, — «Рябинин и другие».

За обилием дел Горькому не удалось, к сожалению, написать ее. К сожалению потому, что Рябинин был бы подлинный большевик. В «Достигаеве и других» он показан умным, веселым, знающим, чего он хочет, и смело ведущим за собой массы. Он показан Горьким только во втором акте, но запоминается, как одно из великолепных созданий горьковского творчества. В драматургии Горького «малый» мир на сцене всегда является отражением «большого» мира — истории. Так и Рябинин — почти эпизодическое лицо — дан как политический руководитель, агитатор, воспитатель. Он учит Тятина, как писать прокламации, хвалит Доната за его речи, с юмором агитирует Таисию, монастырскую служку, — скульптурный, объемистый образ его таков, что хочется потрогать его руками. Вот почему так много обещала третья пьеса.

Судя по письму Алексея Максимовича от 21 декабря 1932 года, можно бы ожидать, что пьесу он закончит в 1933 году.

7 октября 1933 года после одной из генеральных репетиций «Достигаева» в театре имени Вахтангова Алексей Максимович вел с труппой театра беседу о персонажах пьесы «Достигаев и другие». Говорили попутно и о том, кто из этих персонажей будет в третьей пьесе.

Варвара, жена Звонцова, будет, по словам Алексея Максимовича, злейшая контрреволюционерка. Звонцов — «правозащитник» или даже просто «счетовод». Достигаев при нэпе будет опять «в седле» — у него дача, приемы, автомобильчик свой. Глафира (прислуга Булычова) — уже партийный работник, гражданскую войну прошла. Шура (побочная дочь Булычова) «в левый загиб войдет». Нестрашный надеется на мужика (кулака), верит, что «мужик не выдаст».

В набросках и заметках Горького мы находим некоторое дополнение. Прежде всего — смерть Глафиры. Рябинин произносит обвинительную речь на суде. Очевидно, в ее смерти виновны кулаки. Калмыкова спустя десять лет по-прежнему продолжает работу с Рябининым. Таисия вступает в партию, ее обвиняют в том, что она «монашенкой была». Товарищи заступаются за нее[60].

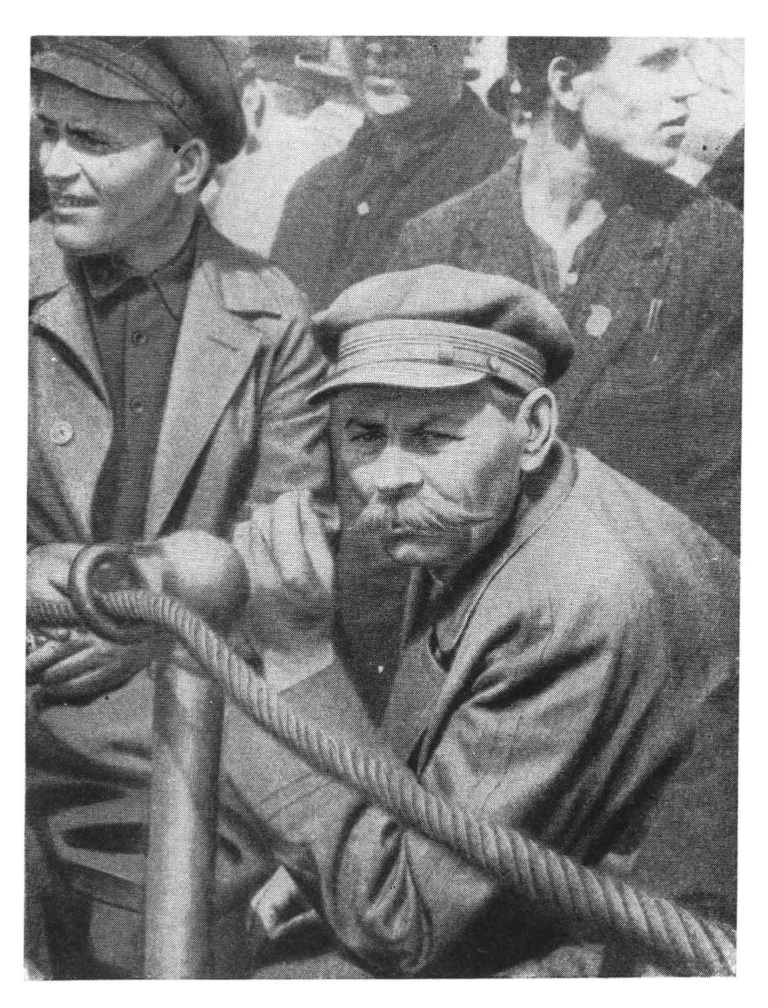
Есть в набросках и много незнакомых нам имен и лиц. Есть крестьянин-подкулачник, действующий в угоду кулакам, комсомолец Сергейка и т. д.

Но есть и знакомые нам лица по пьесе «Сомов и другие» — инженер Яропегов, кулак Силантьев, учитель пения.

Вскоре после окончания «Сомова и других» Горький начал пьесу о Булычове. Работа над «Булычовым», видимо, и повлияла на судьбу «Сомова и других». Эту пьесу Алексей Максимович не опубликовал. То ли он был неудовлетворен ею, то ли он хотел ее переработать, чтобы поставить в драматургический цикл, идея которого пришла к нему при мысли о Булычове, но, видимо, он хотел вернуться к ней.

В 1933 году произошло событие, взволновавшее Алексея Максимовича, — убийство пионера Павла Морозова при содействии отца его кулаками.

Горький решил использовать в пьесе это событие, и потому «учитель пения» в набросках говорит о Филиппе II и дон Карлосе, о Петре Великом и сыне его Алексее, об Иване Грозном и его сыне, как об убийцах, которыми повелевала история. По этим набро-



А. М. Горький и С. М. Киров на Балтийском заводе в Ленинграде. 1929 год.



А. М. Горький и Г. М. Димитров. Москва, Красная площадь, 1934 год.

скам нельзя даже предположить, что хотел сделать Горький.

Одно ясно, что он, показав в своем драматургическом цикле крушение буржуазии в Октябре, хотел довести пьесы до Октября в деревне, до ожесточенной борьбы партии с кулаками, до крушения экономического порядка, возглавляемого кулаками. Но об этом времени осталась одна пьеса — «Сомов и другие».

2

Еще в 1927 году Алексей Максимович писал, что хочет написать книгу о новой России.

Он не успел создать эту книгу. Но все его работы в последние годы говорят о том, что замысел этот волновал его.

Его очерки «По Союзу Советов» были как бы этюдами к этой книге, а «Рассказы о героях» — ее отдельными картинами.

Полотер Заусайлов, герой гражданской войны, батрачка Анфиса, ставшая активным строителем социалистического хозяйства в деревне, молодой парень, вернувшийся из Красной Армии и организующий колхоз, — все эти герои были для Горького «маленькими, но великими людьми».

В бумагах Горького после смерти найдены отдельные отрывки такого же порядка. Цитируем их не полностью.

Первый отрывок:

«Жизнь не особо интересная, обыкновенная жизнь. У нас ребята моих лет все с этого начинали».

По этому вступлению уже видно, что рассказ примыкал к тому же циклу. С шестнадцати лет рассказчик пошел добровольцем в Красную Армию, там направили его к белым с поручением. Узнали его, заарестовали. «Бьют они, я вам скажу, так, что даже вспомнить противно... Одному товарищу обвязали голову веревкой и стягивают ее, крутят клином, палочкой такой, веревка кости жмет, глаза выкатываются».

Другой отрывок: «Парнишки и девчонки».

«Это — записи, сделанные мною в разное время. Я записал буквально так, как слышал, и уверен, что мною не допущено ничего «от себя».

1920 год. На Петербург наступает Юденич.

«Так вот, — лежим, значит, мы, человек 30... спереди постреливают беляки, ну, пули повизгивают, все как следует, — война!.. Вдруг с левой стороны выдвигается невиданная вещь, особнячок эдакий мнет кусты, неприятное зрелище! И правит, боком эдак, на нас... Ребята сомневаются: — Штука эта передавит нас, давайте уходить.

И уже начали подскакивать с земли, ползут прочь. Вот тут парнишка ростом с винтовку и объявился: «Стойте, т.т., — кричит, — разве мы затем тут, чтобы уступать врагам? Нам, — говорит, — штуку эту надобно взять в плен или разрушить, т.т., — вперед!» И — пошел первый, за ним — еще человек десяток, ну, конечно, вреда этому домику не принесли, отступить от него пришлось... Тогда т. один и говорит мне:

— Парнишка-то какой, а?

— Да, — говорю, — парнишку надобно приметить.

Однако потерялся он, мы даже имя не успели спросить...»

Отрывок третий: «Перемещение разума».

Рассказывает сторож:

«В гражданской войне, милой мой, воевать замечательно просто: в гражданской — знаешь, кого бьешь и за што его бить надо. А — царская война, империалистическая значит, — это дело темное, то есть теперь-то я понимаю, что, наоборот, вполне ясно подлое дело, а ту пору, я по первому разу воевал, так чего поймешь?.. После Брусиловского наступления очухался я. Набрали мы пленных громадное число, гляжу я — мать их в душу! Да они такая же безмолвная сволочь, вроде меня и всех наших. — «Что же вы, говорю, так вашу раз перетак, делаете? Куда это вы лезете, каких дураков, сукиных детей слушаете?.. Вы бы, — говорю, — дурацкое ваше начальство истребили — вот что, — говорю. Разве можно дуракам подчиняться?» — Ну, орал я на них, прямо от всей души изо всех сил... А тут солдатик один, питерец,

гвоздарь, и ввязался: «Луковников, да ты же большевик!» — «Эго — почему?» — говорю. Даже испугался, нам офицер объяснял про большевиков довольно строго. А солдат — фамилия ему трудная — и рассказал мне, почему это я озлился. Он рассказывает, а я понимаю: верно! «Вот-те на! — думаю. — Ах, мать твою, как же это я? Н-да...» Ну, солдат этот прибрал меня к рукам и обстрогал под человека. С той поры времени я и пошел большевиком на всю гражданскую.

До 23 г. действовал, а дальше болезни одолели. Все-таки: три раны, да в плену был, избили меня до полусмерти, да тиф два раза — это, хоть кому, на всю жизнь хватит!»

Этот рассказ тоже, несомненно, из того же цикла «маленьких, но великих людей».

Четвертый герой вырисовывается из письма его: олончанин пошел по своей охоте в Красную Армию «бить англичан в Архангельск». Ранили, попал в плен, бежал в Норвегию, рыбачил там, бежал, «охотился на бандита Антонова в Тамбовской губернии», записался в партию, был секретарем сельсовета. Напали кулаки, избили, получил пулю в правый бок, и сам убил одного, пролежал в больнице одиннадцать дней и пошел работать на завод.

И последний отрывок: «Рассказ о Ефиме Заботкинė, сверкающем человеке».

«И — вдруг, как с полатей спрыгнул: является! Батюшки мои — весь в ремнях, медными пуговицами обшит, сверкает! Прямо чудотворная икона о двух ногах, — молись, кто хочет. Вознесется на эту самую евстрату, руками махает и прямо начинает: — «Т. т., давайте отечество спасать; немцы, говорит, роста по сажени и все, говорит, пегие какие-то, лезут, говорит, со всех сторон, гроб и крышка нам».

Тут и выскочил Сокиренко, мастер со свечного завода.

— Стоп! — кричит. — Есть, — говорит, — два отечества, и одно — есть, а другого — нету. Это, — спрашивает, — какое, которое защищать зовут нас?..

Встал другой и так сказал:

— Врет гражданин Заботкин, они, говорит, Заботкины, немцев не боятся, они немцам Ригу сдали для того, чтобы рабочий народ взнуздать, они, говорит, с немцами в одну игру играют против рабочих и бедных крестьян. Нужно, говорит, такое отечество, чтобы вся земля — крестьянам, и все фабрики — рабочим, и вся власть — им, а вот эдаких блестящих — к чортовой матери со всеми их ремнями и пуговицами».

Пошли на гражданскую войну, партизанили против Деникина, «осталось нас всего человек 40... одних перебили, другие рассеялись в воздухе, точно куриные перья... По-трое, по-пятку заходили в села, деревни, притворялись, что за белых стоим, ищем их... Ну, конечно, где дорогу разберем, где мостишко испортим... на одной станции удалось керосину добыть — пакгауз подожгли, провиант был там. Ну, иной раз уйдут т.т., и нет их, богатые мужики насмерть забивали... Конечно, бывало и так, что приставали к нам батраки, пастухи... Были у нас пункты в Колопановке у одного кузнеца и еще два-три. Была одна замечательная женщина, солдатка, мужа убили, работала она у казака на масленом заводе, умная женщина, много она помогала нам. Ее тоже убили. Могутная была, один из наших видел, как ее... долго не могли...» [61].

Все эти рассказы нужно отнести к циклу «Рассказов о героях». Так думать заставляет меня следующий эпизод. Я как-то спросил Алексея Максимовича, почему только три «Рассказа о героях» включены в книжку 1932 года. Он ответил, что много материала у него для толстой книги, а пока выпускает книжку, чтобы не задерживать рассказы.

И он начал рассказывать о героях гражданской войны, незаметных людях, а на самом деле — героях. Я не помню ясно всех его рассказов, помню только, что очень интересно рассказывал. Но вот о Заботкине, «сверкающем человеке», помню хорошо. Очевидно, Алексей Максимович готовил большую книгу «Рассказы о героях», как одну из книг о советской жизни.

То, что Горький готовил книгу о советской жизни, книгу, в которой действовали бы незаметные люди, исполняющие великую миссию преобразования страны, свидетельствует еще один факт.

В 1917 году он записал такую сцену. Бородатый солдат с железным котелком на голове, с винтовкой за плечом, в дряхлой, вытертой шинели — правая рука на перевязи — стоял на улице, окруженный толпою человек в полтораста. Толпа кричала на него, а он спокойно говорил:

«И насчет большевиков — вранье. Это потому врут, что трудно понять, как это люди, против своего интереса, советуют рабочим и крестьянству брать власть в свои руки. Не бывало этого, оттого и непонятно, не верится, на ихнее горе...»

В ответ на насмешки солдат начал говорить, надвигаясь грудью на людей, размахивая рукою:

« — И я тебе, господин в шляпе, прямо скажу: землю мы обязательно в свои руки возьмем, — обязательно! И все на ней перестроим...

— Круглая будет, как арбуз, — насмешливо вставил другой господин, в кепке.

— Будет! — утвердил солдат.

— Горы-то сроете?

— А — что? Помешают, и горы сроем.

— Реки-то вспять потекут?

— И потекут, куда укажем. Что смеешься, барин?..

Дома я записал эту сцену так, как воспроизвожу ее здесь. Я берег ее, надеясь использовать в конце книги, давно задуманной мною. Мне до конца книги очень дорог и важен этот солдат, в котором проснулся человек — творец новой жизни, новой истории... Если он жив, не погиб на фронтах гражданской войны, он, вероятно, занят каким-нибудь простеньким делом наших великих дней» *(XVII, 181—184)*.

Этот образ волновал Горького все время, когда он вглядывался в советскую действительность. Не трудно видеть, что «бородатый солдат» в пьесе «Достигаев и другие» является тем же образом.

В 1935 году один из советских театров решил поставить «Вассу Железнову», пьесу 1910 года. Когда Алексей Максимович узнал об этом, он сообщил, что пришлет новый текст.

Действительно, он прислал текст пьесы с такими коренными изменениями, что, по существу, это явилось новой пьесой, которая и была напечатана в альманахе «Год девятнадцатый» в № 9 под названием «Васса Железнова», второй вариант.

Мы видели, что в 1898—1899 годах Горький написал «Фому Гордеева» с разоблачением сущности класса промышленников, вскрывая внутренние процессы надлома уже в то время — в период его наибольшего расцвета.

В статье «Разрушение личности» Горький писал о мещанине, который был достаточно свеж, силен и хорошо вооружен, «чтобы бороться за свой счет», условия производства не превышали его единоличных сил.

«Но по мере роста техники, конкуренции и жадности буржуа... растет и несоответствие индивидуальных сил с запросами дела... Мы видим, как растет среди буржуазии неврастения, преступность, и наблюдаем типичных вырожденцев уже в третьих поколениях буржуазных семей» *(XXIV, 41—42)*.

Тема «вырождения» в среде промышленного класса ставится Горьким, таким образом, в социальном плане.

За этими теоретическими положениями мы угадываем великолепную иллюстрацию — сюжет «Дела Артамоновых», нереализованный еще в то время, но присутствовавший в творческом воображении Горького более двадцати лет.

В годы первой революции Горький отошел от этой темы.

Но после первой революции 1905—1906 годов, когда эксплуататорский слой не только стабилизировался, но, казалось, в некоторой степени еще и укрепился, Горький снова ставит вопрос о надломе и социальном вырождении русской буржуазии.

Он ставит вопрос — что осталось от творческих

сил буржуазии, которая сейчас снова господствует, вот этот класс — некогда созидатель промышленной жизни России.

И Горький пишет пьесу «Васса Железнова».

Происхождение фамилии Железновой ясно. Была в Нижнем-Новгороде тяжелая поговорка: дома каменные, люди железные. Отсюда — Железнова.

Васса принадлежит к тому поколению родовитого купечества, жизнь которого Горький наблюдал еще в 90-х годах в «Фоме Гордееве» — Маякин, Щуров и т. д.

Он берет крупного человека и, кроме того, *мать*.

Женщина-мать для Горького — источник творческой жизни на земле.

Какое значение для Горького имела тема *мать?* Почти все «Сказки об Италии» проникнуты этой темой. Одна из них начинается так: «Прославим женщину — Мать, неиссякаемый источник все побеждающей жизни», — сказка о том, как мать потребовала у завоевателя Тамерлана вернуть ей ребенка.

Эту сказку о Тамерлане Алексей Максимович очень любил. Когда тверские комсомольцы спросили у него, что он рекомендует из его произведений, он сказал: «Издайте «Мать» из сказок об Италии».

Для него эта тема имела огромное значение. И в письме М. М. Пришвину 1926 года он пишет: «Я ведь женщину-мать люблю и думаю о ней непрерывно».

И вот Васса Железнова — мать, и подзаголовок пьесы — «Мать».

Тема этой пьесы — чудовищное извращение самого этого понятия.

Мать — владелица промышленного предприятия, мать — Васса — идет на преступление даже в отношении своих детей. Для чего? Для того, чтобы сохранить дело, которое некому передать. Род вырождается.

Васса сохраняет дело, но труд, огромный труд, который она вкладывает в это дело, становится бессмысленным. И Людмила, невестка, близкая к ней, говорит: «Все хорошее идет другой улицей».

Однако есть в пьесе деталь, которая введена для того, чтобы оттенить, символизировать творческие возможности этого человека: сад, возделанный Вассой.

Людмила говорит: «Сад ваш хорош, мамаша! С малых лет я его люблю, и теперь, когда гуляю в нем, вас люблю за то, что вы украсили землю... Хорошо это как — помогать земле в цветы рядиться» *(XII, 214)*.

А что значило для Горького украшать землю цветами?

Василий Буслаев в поэме Горького говорит, что он

Век бы ходил — города городил,
Церкви бы строил да сады все садил!

И вот большой человек Васса Железнова остается победительницей и в своей семье и в своем торговом деле, но моральная обреченность ее несомненна, и в этом трагичность пьесы. Кончается она словами Вассы: «Не знавать мне покоя, не знавать никогда».

Покоя она не купила преступлением, не купила и своим трудом.

В этой пьесе, как и в задуманном тогда «Деле Артамоновых», не было «конца». Теперь, в 1935 году, этот «конец» — победа социалистической революции — уже был. И Горький прислал новую пьесу.

В новой пьесе он дал не только моральную обреченность Вассы, он дал и ее резко подчеркнутую социальную обреченность.

Васса, владелица волжского пароходства, держит у себя своего маленького внука, чтобы, взрастив его, передать ему в наследство свое дело. Вырождающимся детям своим она, мать, не доверяет. Но в пьесе появляется другая мать — революционерка Рашель.

И здесь повторяется сюжет «Сказки об Италии» — мать требует из плена своего сына, требует возвращения его из рук Тамерлана — всесильной владелицы волжского пароходства.

Васса посылает свою наперсницу Анну донести на Рашель в жандармское управление и умирает при полном развале семьи.

В этом варианте «Вассы Железновой» все другое: и персонажи, и типы, и даже отчество у Вассы другое — не Петровна, а Борисовна, и фамилия другая — не Железнова, а Храпова, — Железнов, спившийся капитан пароходства, ее муж.

Все другое, но остался сад. Людмила не невестка, а дочь-полуидиотка, и сад Васса готовит в наследство этой своей дочери — «праведнице». Праведница эта — блаженная и дурочка.

Таков «конец» пьесы «Васса Железнова», второй вариант.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Врачи предписывали Алексею Максимовичу возвращаться на зиму в Сорренто. Он делает это несколько лет подряд, потом решительно отказывается.

Он не может жить вдали от Родины, где кипят большие дела, где строительство социализма каждый день дает новые итоги, где его непосредственное участие в делах вызывает множество запросов, корреспонденций и встреч.

Весной 1933 года он приезжает морем через Константинополь и Одессу и живет уже безвыездно в Советском Союзе.

Ему находят на Южном берегу Крыма, около Фороса (Тессели), подходящее место по зимнему климату. Он поселяется там и пишет среди прочих дел и встреч «Самгина», стремясь возможно скорее окончить его.

В «Жизни Клима Самгина» Горький поднял огромные пласты нового материала, нашел для себя новые формы повествования, и эта эпопея остается изумительным памятником его неувядающих сил.

В ней дан крепкий узел исторических событий, показаны судьбы людей на протяжении многих лет их жизни.

Обширное количество персонажей проходит перед читателем — капиталисты всех калибров, интеллигенты всех толков, крестьяне, рабочие, люди «всех состояний».

Еще к лету 1926 года у Горького сложился перспективный план романа в три тома.

Работа над последним томом (с осени 1928 года) протекала несколько медленнее, чем над двумя первыми томами: по приезде в 1928 году в Советский Союз Алексей Максимович принял на себя очень большую организационную и редакторскую работу в области советской культуры; в это же время начался новый период его литературной деятельности, выросла до громадных размеров его публицистика, не говоря уже о художественной работе в области очерков и рассказов, а также в области драматургии.

В 1931 году Алексей Максимович решает опубликовать следующую часть «Жизни Клима Самгина», не дожидаясь окончания всей повести. В этой части, получившей название третьего тома, развернута широкая картина Московского восстания в декабре 1905 года и последующие события.

Посылая эту книгу Ромену Роллану, Алексей Максимович в письме к нему называет ее первой частью третьего тома, сообщая, что остается еще листов десять.

А 21 декабря 1932 года Алексей Максимович писал автору этих строк:

«Над «Самгиным» — работаю. Между нами — это очень трудное дело, давит материал. Гейзеры материала!» [62]

Таким образом, десять листов выросли до размеров большой рукописи, которая в посмертном издании составила четвертый том повести.

Рукопись обрывается на картинах Февральской революции, обрывается, можно сказать, на полуслове — смерть помешала докончить Горькому его произведение, которым он творчески жил более десяти лет.

Последний том остался в черновом виде, неоконченный и частью недоработанный, со встречающимися повторениями отдельных сцен в разных вариантах. Но изучение рукописи позволило в большинстве случаев точно прочесть и связать текст, а также оп-

ределить места многочисленных вставок на отдельных листах.

Поток событий, смена персонажей, эволюция характеров и конечные судьбы людей — все это очерчено в полную силу горьковского мастерства.

В одном из писем последнего периода Алексей Максимович сообщает, что, вспоминая о прошлом, о датах и хронологии, он замечает, что его «перегруженная память» начинает «пошаливать».

Но «зрительная память, — пишет он, — на фигуры, лица, на пейзаж» все так же сильна. «И она позволяет мне корректировать ошибки памяти разума» [63].

Исторический романист создает свои вещи на основе изучения материала и на основе творческого воображения. Эпопея Горького создана силой воображения и памяти.

И какой огромный творческий труд, какое феноменальное напряжение памяти нужно было для создания этого произведения, воплотившего в живых образах сотни людей, — образах, социально значительных, исторически точных и данных с такой силой выразительности, что каждый из этих людей не забывается!

Но вместе с тем повесть Горького не может считаться чем-то вроде «исторической хроники», бесстрастного рассказа о прошлом.

Последний творческий труд Горького — в то же время последний боевой вклад в его борьбу за счастье великого народа, против гнетущих сил и пережитков прошлого.

Чем так значительно изображение центрального персонажа повести — Клима Самгина?

Тем, что этот герой, самым тесным образом связанный с условиями социальной среды и исторического времени, биография которого так мастерски вплетена автором в биографию эпохи, этот персонаж перерастает отведенные ему рамки и по силе художественного обобщения становится в ряду типов мировой литературы.

«О мещанстве мы писали и пишем много, — гово-

рил Алексей Максимович на съезде советских писателей, — но воплощения мещанства в одном лице, в одном образе — не дано. А его необходимо изобразить именно в одном лице и так крупно, как сделаны типы Фауста, Гамлета и др.» *(XXVII, 327)*.

Историческая точность изображения Самгина подтверждается рядом документов начиная со времени его молодости.

В молодых годах Алексей Максимович наблюдал молодого мещанина, прикрывавшегося различными философскими теориями.

Лучшие люди того времени с тревогой обращали внимание на этих представителей буржуазного благополучия, называя их «восьмидесятниками».

Вот, например, лидер демократической интеллигенции второй половины 1880-х годов Н. В. Шелгунов в одной из статей дает такую характеристику современной ему буржуазной молодежи:

«Восьмидесятники — люди практические в обыденном смысле этого слова. Они слишком холодны и рассудочны, чтобы чем-нибудь увлекаться, и слишком любят себя и свое тело, чтобы в каком бы то ни было случае забыть о себе» [64].

Это довольно точная характеристика людей типа Самгина. И нужно признать, что Горький создал этот образ, выхватив его из самых недр исторической обстановки, в то же время обобщая его до высоты мирового типа.

В 900-х годах, в период нарастания первой революции, «люди этого типа», любя больше всего «себя и свое тело», усиленно маскировались под ее сторонников, но больше всего и всеми силами жаждали приближения отлива, который дал бы им, наконец, устойчивое и спокойное место на интеллектуальных верхах буржуазного общества.

Несомненно, что Горький издавна и пристально всматривался в этих людей, замаскированных мещан, изображая их в «Мещанах», «Дачниках». Это были своего рода «спутники» его. Недаром в своей эпопее изображает он Самгина в день 9 января 1905 года, передающего ему, Горькому, бумаги.

«Вошел высокий, скуластый человек, с рыжеватыми усами, в странном пиджаке без пуговиц, застегнутом на левом боку крючками; на ногах — высокие сапоги; несмотря на длинные, прямые волосы, человек этот казался переодетым солдатом. Протирая пальцами глаза, он пошел к двери налево, Самгин сунул ему бумаги Туробоева, он мельком, воспаленными глазами взглянул в лицо Самгина, на бумаги и молча скрылся вместе с Морозовым за дверями» *(XX, 542)*

Имея в виду Самгина, Алексей Максимович писал:

«У меня после 1905 — 1906 гг. сложилось весьма отрицательное отношение к людям этого типа. Было недоверие к нему и раньше, «от юности моея»[65].

Как раз к этому времени — после первой революции пятого-шестого года — и относится замысел Горького: обобщить этот тип людей в одном образе.

Махровым цветом расцвели Самгины в эпоху реакции.

Мистика, эстетство, эротика заполонили литературу, являясь различными проявлениями страха перед повторением революции. В то же время вожди буржуазной интеллигенции призывали к преданности самодержавию, охраняющему ее, как они говорили в сборнике «Вехи», штыками от «ярости народной».

«...Десятилетие 1907 — 1917 вполне заслуживает имени самого позорного и бесстыдного десятилетия в истории русской интеллигенции», — говорил Горький на съезде советских писателей *(XXVII, 316)*. Изображению этого мутного времени посвящена значительная часть четвертого тома повести.

И нужно сказать, что это одно из наиболее блестящих проявлений горьковской сатиры. Замечательно показано и нарастание в этой среде тревоги перед новым подъемом демократических масс. Время от времени сюда доносятся отзвуки работы боевых работников пролетариата во главе с крепкой, веселой, обаятельной фигурой большевика Кутузова.

Познавательное значение последней, четвертой части, так же как и первых частей романа, огромно.

Но эта последняя часть отличается еще большей высотой художественного мастерства, большей сжатостью стиля, большей плотностью материала и какой-то великолепной, еще небывалой мощностью повествования.

Вся она дана в такой органической взаимосвязи, что почти невозможно демонстрировать ее цитатами. Можно только назвать сцены, которые станут в ряду вершин русской прозы. Самоубийство Лютова, Безбедов в тюрьме на допросе перед Тагильским и Самгиным, убийство Тагильского, Самгин в гостях у кулаков, — такой сатиры, как в последней сцене, не было у нас со времен Щедрина. Великолепна фигура Дронова, Санчо Пансы Самгина, мещанина-демократа, ставшего во время войны спекулянтом; на его долю приходится, как он выразился, «первая пощечина революции».

В этой сумятице мнений, в этом потоке событий, мелких и трагических, значительных и смешных, проходит скрытый, немногоречивый, осторожный соглядатай великих событий — Клим Самгин.

«Время шло с поразительной быстротой. Обнаруживая свою невещественность, оно бесследно исчезало в потоках горячих речей, в дыме слов, не оставляя по себе ни пепла, ни золы. Клим Иванович Самгин много слышал и пребывал самим собою, как бы взвешенный в воздухе, над широким течением событий. Факты проходили перед ним и сквозь него, задевали, оскорбляли, иногда — устрашали. Но — все проходило, а он непоколебимо оставался зрителем жизни. Он замечал, что чувство уважения к своей стойкости, сознание независимости все более крепнет в нем. Он не мог бы назвать себя человеком равнодушным, ибо все, что непосредственно касалось его личности, очень волновало его» *(XXII, 438—439)*.

Кто же такой Клим Самгин? Это — мещанин под маской «аристократа духа». Этот мещанин, живущий в эпоху нарастания пролетарской революции, устрашенный грохотом истории, предан всем своим существом старому миру.

Это — самодовольный умник, претендующий на

право духовного господства над массами. Это воплощение уклончивости, лжи и лицемерия, это — трус, избегающий всякого прямого столкновения с противником и больше всего жаждущий материального довольства, личного покоя и душевного бездействия.

В погоне за этим идеалом личного быта он откупается от жизни двойною игрой — здесь рождается профессиональное предательство.

С большим мастерством показано в романе, как к «честному» Самгину отовсюду как бы самопроизвольно тянутся липкие нити откровенной продажности.

Самгин гордится своей «независимостью» и «стойкостью», позволяющей ему обороняться «от насилий действительности», как он говорит. Но на самом деле он обороняется от растущего сознания масс: ему сродни мир собственников, обещающий уютный и теплый быт. Капитализму Самгин — верный слуга.

Когда капиталист Бердников предлагает ему совершить мошенническую проделку, «независимый» Самгин кричит: «Вы с ума сошли!» Бердников, прижав его к стене, нагло заявляет: «А ты — умен! На кой чорт нужен твой ум? Какую твоим умом дыру заткнуть можно?»

Самгину действительно только затыкать своим умом дыры капитализма. Под маской высокого интеллекта здесь прямая агентура буржуазии в эпоху решающей и смертельной для нее схватки с пролетарской революцией.

Горький ставит Самгина все время как бы в поединок с революцией. События 1905 года показаны через восприятие Самгина, но от этого они не теряли своей значительности, а, наоборот, кипели еще ярче.

«Казалось, что движение событий с каждым днем усиливается и все они куда-то стремительно летят, оставляя в памяти только свистящие и как бы светящиеся соединения слов, только фразы, краткие, как заголовки газетных статей. Газеты кричали оглушительно, дерзко свистели сатирические журналы, кричали продавцы их, кричал обыватель — и каждый



На I Всесоюзном съезде советских писателей А. М. Горький беседует с С. И. Гринченко — героиней романа В. Ставского «Разбег». Москва, 1934 год.



А. М. Горький среди пионеров Восточной Сибири, авторов книги «База курносых». Москва, 1934 год.



А. М. Горький и Ромен Роллан.
Горки, 1935 год.

день озаглавливал себя: «Восстание матросов!» — восклицал один, а следующий торжественно объявлял: «Борьба за восьмичасовой рабочий день». Раньше чем Самгин успевал объединить и осмыслить эти два факта, он уже слышал: «Петербургским Советом рабочих депутатов борьба за восьмичасовой день прекращена, объявлена забастовка протеста против казни кронштадтских матросов, восстал Черноморский флот». И ежедневно кто-нибудь с чувством ужаса или удовольствия кричал о разгромах крестьянством помещичьих хозяйств. Ночами перед Самгиным развертывалась картина зимней, пуховой земли, сплошь раскрашенной по белому огромными кострами пожаров; огненные вихри вырывались точно из глубины земной, и всюду, по ослепительно белым полям, от вулкана к вулкану двигались, яростно шумя, потоки черной лавы — толпы восставших крестьян» *(XXI, 34—35)*.

Когда Москва ощетинилась баррикадами, дом, где жил Самгин, оказался между двумя баррикадами. Стычка с солдатами, быт защитников баррикады, убийство агента охранного отделения и страх Самгина перед революцией — все это изумительно описано Горьким.

Когда прибыла из Петербурга царская гвардия, Семеновский полк с тяжелыми орудиями, защитники ушли на Пресню отстаивать революцию.

Самгин вздохнул с облегчением, но с тревогой подумал: «Косвенное... и невольное мое участие в этом безумии будет истолковано как прямое» *(XXI, 83)*.

Через несколько дней он смотрел в окно на пожарных, разрушавших баррикаду.

«Самгин видел, как отскакивали куски льда, обнажая остов баррикады, как двое пожарных, отломив спинку дивана, начали вырывать из нее мочальную набивку, бросая комки ее третьему, а он, стоя на коленях, зажигал спички о рукав куртки; спички гасли, но вот одна из них расцвела, пожарный сунул ее в мочало, и быстро, кудряво побежали во все стороны хитренькие огоньки, исчезли и вдруг собрались в красный султан; тогда один пожарный поднял над

огнем бочку, вытряхнул из нее солому, щепки; густо заклубился серый дым, — пожарный поставил в него бочку, дым стал еще более густ, и затем из бочки взметнулось густо-красное пламя...

— Красиво, — тихо отметил Самгин...

Он чувствовал себя растроганным, он, как будто, жалел баррикаду и, в то же время, был благодарен кому-то за что-то» *(XXI, 92—93)*.

Так «эстетически» переживал Самгин конец восстания в Москве. Он даже нашел, что пожарные похожи на римских легионеров.

Из боязни, что его сочтут строителем баррикад, Самгин уезжает из Москвы.

Вернувшись через два года в дом, где он жил, Самгин внезапно встречает дворника Николая, защитника баррикады, уехавшего в деревню после восстания.

« — Снова в городе? — спросил Самгин.

— Да вот — вернулся. В деревне, Клим Иваныч, тяжело стало жить, да и боязно.

— Почему же?

— Начальство очень обозлилось за пятый год. Тревожит мужиков. Брата двоюродного моего в каторгу на четыре года послали, а шабра — умнейший, спокойный мужик был, — так его и вовсе повесили. С баб и то взыскивают, за старое-то, да! Разыгралось начальство прямо... до бесстыдства!» *(XXII, 229)*.

Самгин думал: «Или шпион, или считает меня... своим человеком», — и оба случая были для него опасны. Он снова уезжает из Москвы, но память о Московском восстании преследует его.

В 1914 году он, приехав в Новгородскую губернию по юридическим делам с кулаками Денисовым и Фроленковым, наткнулся на мужичонку Максима Ловцова, который смело предъявляет свои требования от имени общества крестьян.

« — Все пятый год нагрешил... Москва насорила, — хмуро вставил Денисов.

— Верно! — согласился Фроленков. — Много виновата Москва пред нами, пред Россией... ей-богу,

право!.. н-да, Москва. В шестом году прибыл сюда слободской здешний мужик Постников Сергей, три года жил в Москве в дворниках, а до того, — тихой был работник, мягкой... И такие начал он тут дела развертывать, что схватили его, увезли в Новгород да там и повесили. Поспешно было сделано: в час дня осудили, а наутро — казнь» *(XXII, 387—388)*.

И в последующее время Самгин не может отделаться от этих воспоминаний. «Невольные знакомцы», защитники баррикады, дают о себе знать.

Самгин встречает «товарища Якова» на фронте, где-то работает Поярков, приезжающий к Дронову за деньгами, ученика медника встречает среди обучающихся солдат, Дунаев, приятель Дронова, работает метранпажем, Лаврушку, ставшего пролетарским поэтом, встречает среди посетителей квартиры Леонида Андреева.

И все годы, до 1917, Самгин чувствовал за собой движение московских событий.

Большевистские газеты возмущали Самгина «иронией, насмешкой, грубостью языка, прямолинейностью мысли». Но досадно было, что «их материал освещался социальной философией, которую он не в силах был оспорить».

Самгин лихорадочно рвется к тому, чтобы создать себе влиятельное положение в буржуазном обществе, но у него не хватило дарования и энергии ни для того, чтобы стать писателем, ни для того, чтобы стать лидером политической партии или министром Временного правительства. Он, как можно догадываться по черновым наброскам, был после Февральской революции послан на фронт уговаривать солдат и во время стихийного отступления раздавлен артиллерийской повозкой.

В самом конце романа, в Таврическом дворце, в первый день Февральской революции среди гвалта, гомона, толкотни и беспорядка сидел на полу солдат и починял пулемет.

Он не обращал ни на что внимания, а усердно возился с пулеметом, держа его между ног.

Как предвестие боев за Октябрьскую социалисти-

ческую революцию здесь в третий раз дан солдат. Он сосредоточен в себе, занятый пулеметом.

Апофеоз романа, как можно судить по черновым записям, был в сценах приезда Ленина в Петроград.

Сохранились отдельные записи этой сцены: Самгин, придя на площадь у Финляндского вокзала посмотреть на приезд Ленина, стоял в толпе рабочих.

. . . .

А там, вокруг броневика, тесная, как единое тело...

— Да здравствует социалистическая революция!

Негромко, но так, что слышно было на всей площади.

Покачнулись.

— Ага? Слышал?

. . . .

— Товарищ Ленин, мы готовы. Мы понимаем, товарищ, — верно?

— Ильич! — Просто, — подошел и говорит: — Здорово, Ильич! А?

. . . .

Он как-то врос в толпу, исчез, растаял в ней, но толпа стала еще более грозной и как бы выросла.

. . . .

Все, что он говорил, было очень просто и убедительно — тем более не хотелось соглашаться с ним.

. . . .

Ощущение: Ленин — *личный* враг.

Было странно и очень досадно вспомнить, что имя этого человека гремит, что к словам его прислушиваются тысячи людей *(XXII, 550—551)*.

. . . .

. . . .

Роман был не кончен. Огромная работа Горького, которую он взял на себя с 1928 года, отодвинула «Клима Самгина», и только иногда, говоря о своей загруженности, он вспоминал, как в письме к С. П. Подъячеву: «У меня не кончен «Самгин».

Здоровье его между тем становилось все хуже: иногда ему приготовляли до трехсот кислородных по-

душек в день. Тогда он упорно взялся за роман. Осенью 1935 года он писал автору этих строк: «Пишу «Самгина». Думаю зимой кончить». И в следующем письме: «Пишу как бешеный».

22 марта 1936 года он, словно предчувствуя свою гибель, пишет Ромену Роллану:

«Много работаю, ничего не успеваю сделать, дьявольски устаю, и — к довершению всех приятностей бытия — сегодня у меня обильное кровохарканье. Это, разумеется, не опасно, однако — как всегда — очень противно, и особенно потому противно, что окружающие делают испуганные глаза, а некоторые даже утешают: не бойся! А я боюсь только одного: остановится сердце раньше, чем я успею кончить роман» *(XXX, 435)*.

Так и случилось: роман не был кончен.

18 июня 1936 года Горького не стало.

2

Неизмеримая историческая заслуга Горького в том, что в эпоху решающей схватки рабочего класса с капитализмом он своими художественными произведениями приобщал к революционному сознанию широчайшие массы читателей; в том, что и своими художественными произведениями, и своей публицистикой, и прямой организаторской и революционной работой он укреплял боевое сознание масс в борьбе за победу коммунизма.

О великом русском писателе Льве Толстом В. И. Ленин писал в 1910 году:

«Его устами говорила вся та многомиллионная масса русского народа, которая *уже* ненавидит хозяев современной жизни, но которая *еще* не дошла до сознательной, последовательной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними» *.

Выразителем в литературе тех эксплуатируемых масс, которые не только уже ненавидели «хозяев жизни», но и дошли до «сознательной, последователь-

---

* В. И. Ленин, Соч., т. 16, стр. 323.

ной, идущей до конца, непримиримой борьбы с ними», был М. Горький.

И история сделала так, что великий писатель, выразитель этих масс, самою жизнью своей как бы символизировал мучительный рост их сознания, их напряженную борьбу.

«Во мне постепенно развивалось волевое упрямство, — писал он, — и чем труднее слагались условия жизни — тем крепче и даже умнее я чувствовал себя».

Можно сказать, что и русский рабочий класс, вместе с которым рос Горький, тоже чувствовал себя и крепче и умнее по мере роста своей сопротивляемости самодержавно-полицейскому государству и капиталистической эксплуатации.

Горький был вестником и глашатаем бури, возродившей Россию на новых началах. И связь Горького с выдвинувшими его массами была в первую очередь связью с авангардом демократии, с рабочим классом, с его партией.

Вся литературная деятельность Горького проникнута страстным стремлением возбудить активность творческих сил народа. «Вперед и — выше!» — Вы знаете, что это мое старое, — писал он в одном из писем, — и, может быть только это и есть у меня».

Очень простые и скупые слова. Но в них отражены колоссальные усилия и великие победы целой эпохи.

Богатырем воли и труда был Горький. «Я слишком русский, — писал он в 1910 году, в один из очень трудных периодов своей литературной деятельности, — хорошо заряжен в юности, и пороха у меня хватит надолго» [66].

И действительно, жизнь Горького полна изумительной энергии. В годы перед первой русской революцией его имя является знаменем революционной бури, он под руководством Ленина организует первую легальную газету большевиков, принимает участие в организации декабрьского восстания в Москве, агитирует за границей против наступающей на страну контрреволюции, в годы реакции работает в тесной

связи с Лениным, поддерживает прессу большевиков своим энергичным участием, а в общей прессе не прекращаются его боевые выступления за демократическую литературу, против литературы разложения, литературы нытья, ренегатства, разнузданной богемы и религиозного ханжества.

Еще в годы эмиграции у Горького завязывается переписка с Лениным. «Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго заботливого друга», — писал Горький в своих воспоминаниях о Ленине.

Действительно, письма Ленина Горькому проникнуты и дружеским участием, и великой ленинской заботой о быте, условиях работы и здоровье Горького, и в то же время Ленин был непреклонно суров, если Горький делал ошибочный шаг в политике, если высказывал неверный взгляд, противоречивший теории и практике пролетарской борьбы.

В 1917 году Горький не понял и недооценил силу и размах пролетарской революции. Но правда большевизма и кровная, органическая связь с рабочим классом уничтожили в его сознании все колебания и, освободив от наносных влияний, поставили его духовные силы на службу нового, социалистического общества.

Партия большевиков, ее деятельность в Советском Союзе стала для него неисчерпаемым источником, вдохновлявшим его художественное творчество и его огромную публицистическую и организационную работу.

Его великое художественное творчество издавна приобрело всемирно-историческое значение. Еще в 1899 году произведения Горького переводились на немецкий, французский, английский языки. «Фома Гордеев» и «Трое» выходили во многих изданиях в Европе и Америке.

Демократический французский писатель Шарль Луи Филипп писал в 1901 году: «Появился новый русский потрясающей силы — Горький». В том же году Джек Лондон написал статью о «Фоме Гордееве», в которой говорил, что автор — «это овод, который

жалит уснувшие человеческие совести, пробуждает их, чтобы двинуть их в битву во имя человечества».

Но все это было только прологом к тому громадному успеху, который имела пьеса «На дне», поставленная сперва в Берлине, а затем обошедшая сцены всех европейских стран и вызвавшая целый поток критической литературы.

Когда Горький был заключен в Петропавловскую крепость по делу 9 января, великий французский писатель Анатоль Франс писал: «Такой человек, как Горький, принадлежит всему миру, и весь мир должен встать на его защиту».

В 1907 году Горький непосредственно связался с европейским пролетариатом — написал «Мать». Буржуазный читатель отшатнулся. Зато этот роман сделался для пролетариата всех стран настольной книгой. Горький стал родоначальником пролетарской литературы, или, как мы теперь говорим, литературы социалистического реализма.

Английский писатель Ральф Фокс на митинге памяти Горького в Лондоне так говорил о «Матери»: «Во всем мире есть люди, впервые приобщившиеся к политике благодаря «Матери». «Чтение «Матери» явилось для меня в дни юности потрясающим откровением», — пишет Андре Виоллис. «Горький принадлежал не только своей стране, — пишет Джозеф Фирман. — Он был любимым поэтом международного пролетариата». «Максим Горький был не только основоположником пролетарского гуманизма. В истории мировой литературы он первый, кто воплотил этот гуманизм в жизнь», — говорил в своей речи немецкий писатель Иоганнес Бехер. «Герои Горького несли в себе революцию», — писал Б. Шоу. «Я вижу в Максиме Горьком первого пролетарского писателя, великого поэта, смелого провозвестника революции»,— писал Бернгард Келлерман. Эрскин Колдуэлл писал: «Он был настоящим пролетарским писателем. Жизнь Горького и его работа имеют мировое значение».

Эрих Мюзам, революционный писатель, антифашист, замученный в фашистском застенке, писал о Горьком: «Не дело современников расценивать сво-

их писателей мерою вечности. Их дело судить писателя с точки зрения его влияния на ход мировых событий».

Анри Барбюс, Генрих Манн, Мартин Андерсен Нексе, Леонард Франк, Эптон Синклер, Джон Голсуорси, Бернгард Келлерман, Кнут Гамсун, Теодор Драйзер, Жорж Дюамель, Якоб Вассерман, Томас Манн, Артур Шницлер, Сельма Лагерлеф, Грациа Деледла, Шервуд Андерсон, Луи Арагон, Джон Стейнбек, Бернард Шоу, Герберт Уэллс и другие писали о нем. Даже те, кто был далек от него по идейному и творческому складу, писали о нем, как о великом художнике. «Я не знаю другого современного писателя, который захватывал бы меня так сильно, как он» *(Кнут Гамсун)*. «Горький прежде всего человек громадного душевного размаха, гигант, вызывающий преклонение и любовь. Были великие писатели, но никогда не было такого человека, который включил бы, подобно Горькому, в свои бессмертные произведения судьбы миллионов рабочих и крестьян» *(Эптон Синклер)*. «Его произведения остаются непревзойденным шедевром» *(Герберт Уэллс)*.

Так писали крупнейшие творцы европейской литературы, часто несогласные с Горьким политически, но признававшие его великую роль в мировой литературе.

Более близкие ему писали о нем, как о выразителе масс народа, как о голосе русского народа. Лион Фейхтвангер писал: «В образах Максима Горького мир впервые услышал не отдельных русских людей, а голос самого русского народа, и в этом русском народе — голоса всех угнетенных и порабощенных». Говоря о стремлении многих критиков Запада замалчивать величайшего из русских писателей нашего века, Фейхтвангер пишет: «Нельзя и думать вычеркнуть Максима Горького из мировой литературы. Везде находишь его следы. Творчество Горького оплодотворяет и писателей и читателей».

В своей речи о Горьком, произнесенной в Вене, Стефан Цвейг говорит: «К немногим подлинным чудесам современности принадлежит этот всевидящий

глаз Горького, и я не знаю, что в современном искусстве может быть хоть сколько-нибудь сближено с естественностью и точностью его зрения. Ни тени мистики, ни малейшей шероховатости лжи нет на этой чудесной кристальной чечевице, которая не увеличивает и не уменьшает, не искривляет и не искажает, не разукрашивает и не затемняет, — этот глаз видит верно и ясно — с бесподобной верностью и превосходной ясностью... Гений горьковского глаза имеет только одно название — правда».

Так говорил о Горьком преклонявшийся перед ним крупный австрийский писатель Стефан Цвейг.

«Горький расширил область литературного творчества, открыл новые пути и перспективы для мировой литературы», — писал Генрих Манн.

Анри Барбюс начинает свой отклик так: «Я считаю Максима Горького одним из самых значительных писателей, может быть даже самым значительным с нашей социальной точки зрения. Это вытекает, помоему, прежде всего из литературной ценности, то есть блеска и мощи его творчества».

Шервуд Андерсон, известный американский писатель, так определял значение Горького для современных писателей: «Кто из нас не был под влиянием этого человека, его человечности, его таланта? Он настоящий отец всего современного творчества».

«Великий художник и страстный агитатор Максим Горький принадлежит к тем писателям, влияние которых на всю европейскую литературу в настоящее время бесспорно», — писал Якоб Вассерман.

Крупный немецкий писатель Бертольд Брехт так подчеркивал влияние Горького: «Высочайшее художественное и политическое значение Горького для русской и мировой литературы несомненно и не нуждается ни в каких доказательствах... Будь даже «Мать» сделана менее выразительно, она не потеряла бы своего колоссального значения и влияния...»

Прямыми учениками Горького были, каждый посвоему, и Анри Барбюс, и Луи Арагон, и Иоганнес Бехер, и писатели-антифашисты Испании.

Но если нужно указать настоящую, плодотворную

дружбу писателей и взаимное влияние, то следует, конечно, назвать Ромена Роллана и Горького.

Ромен Роллан писал: «...Я простер свои корни под самой Европой, чтобы приобщиться к плодотворным пластам русского народа, к огромной жизни, проснувшейся в глубинах СССР, и в конце этой подземной работы мои корни встретились с корнями Горького. И там они братски переплелись. И теперь, как товарищи с одного и другого конца Европы, мы смешаем и нашу кровь».

Творческое содружество двух великих писателей продолжалось двадцать лет, со времени первого письма Горького с просьбой написать для детей биографию Бетховена. Но еще до этого Роллан вспоминал свои первые впечатления о Горьком. «Младший по возрасту, — писал Роллан, — он уже тогда казался мне старшим, потому что слава его уже сияла на Западе, когда я только начал писать. Где-то я уже рассказывал, что его портрет, на котором он снят вместе с Толстым в Ясной Поляне, он один только украшал нашу маленькую редакционную комнату... Эти изображения были защитниками нашей независимости и правды» [67].

Роллан говорит, что часть «Жана Кристофа» была написана под их дружеским взглядом. Это было действительно так.

«Очарованная душа», особенно в последних томах, носит явные признаки влияния Горького, с его широкими общественными проблемами, с его критикой буржуазной культуры, с его пафосом негодования, с его поисками народного творчества, с его действенным, революционным гуманизмом. Весь социально-философский замысел «Очарованной души» тесно связан с тем кругом идей, который не раз был примером обсуждения двух друзей, иногда «молчаливого обсуждения», а также являлся темой горьковских произведений.

В 1935 году Ромен Роллан приезжал в СССР и пробыл несколько недель в гостях у своего товарища и друга Горького. Роллан хотел выучиться русскому языку, чтобы непосредственно беседовать с Горьким.

Влияние Горького особенно ясно видно на Ромене Роллане.

«Я лишь один из миллионов, — писал Роллан, — для которых смерть Горького — величайшая потеря человечества со времени смерти Ленина».

Горький простер крылья своего влияния не только на Запад, но и на Восток. В Китае крупнейший писатель Лу Синь назван в народе «китайским Горьким».

Лу Синь — новатор, порвавший со старыми традициями и открывший дорогу реалистическому и народному искусству. От Горького у Лу Синя стремление к простоте и прямая связь с фольклором, пословицей, с народной речью.

А с победой революции и с образованием народной республики Китай выдвинул Горького как первого и самого любимого своего писателя. Несметно увеличились тиражи изданий и переводы Горького, а сам он стал всенародным великим наставником и учителем.

...10 июня 1951 года в Москве, на площади Белорусского вокзала, на том месте, где в 1928 году толпы ликующего народа встречали писателя, вернувшегося из-за границы, состоялось торжественное открытие памятника великому русскому писателю Максиму Горькому.

До поздней ночи шло население столицы к памятнику с приношением цветов к его подножию. Скоро у памятника поднялась высокая гора цветов.

В этом шествии, которое происходило в глубоком молчании, нашла свое новое выражение всенародная любовь к гениальному русскому писателю, великому сыну великого народа, неутомимому борцу за мир, за торжество коммунизма.

Годы не отдалили от нас Горького и не отдалят, сколько бы их ни прошло. Он и сейчас сражается с нами против всех, кто пытается ввергнуть мир в новую войну, он и сейчас борется в рядах строителей коммунизма за конечную победу Коммунистической партии.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1 И. Груздев, Горький и его время, 1948, стр. 14.
2 П. Максимов, О Горьком, 1939, стр. 24.
3 «Былое», 1925, № 4/32, стр. 210.
4 «Горький и его время», 1948, стр. 122.
5 «Современник», 1913, № 3, стр. 8. Журнальная публикация повести «Хозяин».
6 «Былое», 1921, № 16, стр. 177. Борис Н-ский, «Первое преступление» М. Горького».
7 «Горький и его время», 1948, стр. 137.
8 «Былое», 1921, № 16, стр. 186. Примечания М. Горького к статье Бориса Н-ского «Первое преступление» М. Горького».
9 «Былое», 1921, № 16, стр. 185.
10 «Былое», 1921, № 16, стр. 185—186.
11 «Из Соррентских впечатлений». «Читатель и писатель», 1928, № 33.
12 «Самарская газета», 1901, № 30. «Безобидный».
13 Веди-Аз, «Бакинские известия», 1903, № 186.
14 «Былое», 1921, № 16, стр. 185
15 «Новый мир», 1928, № 3, стр. 191. В. Руднев, Горький-революционер (Неизданные материалы).
16 «На рубеже Востока», 1934, № 14/17.
17 Современник», 1911, № 10, стр. 3, 7.
18 «Литературное наследство», № 37—38, стр. 366.
19 Л. Блюменталь, Исторический круговорот. «Слово», 1881, № 1.
20 С. И. Мицкевич, Революционная Москва, 1940, стр. 71.
21 Сб. «Революционный путь Горького», 1933, стр. 26.
22 «Былое», 1921, № 16, стр. 186.
23 «Красная летопись», 1923, № 7, стр. 288.
24 «Горький и его время», 1948, стр. 326—327.
25 А. И. Левитов, Собр. соч. Изд-во «Просвещение», т. 2, стр. 257.
26 «Горький и его время», 1948, стр. 355.

27 «Одесский листок», 2 ноября 1903 г. «Спутник Максима Горького».
28 «Горький и его время», 1948, стр. 358—359, 369.
29 «Горький и его время», 1948, стр. 371 — 372.
30 «Горький и его время», 1948, стр. 382.
31 Сб. «Революционный путь Горького», 1933, стр. 26—28.
32 «Былое», 1918, № 1, стр. 84.
33 «Горький и его время», 1948, стр. 383.
34 Цитируется по книге Б. Бялика «О Горьком», 1947, стр. 95—96.
35 Сб. «Революционный путь Горького», 1933, стр. 30.
36 «Бакинские известия», 1903, № 13.
37 «Горький и его время», 1948, стр. 384.
38 «Рабочая Правда», Тифлис, 1925, № 262.
39 «Горький и его время», 1948, стр. 416.
40 «Горький и его время», 1948, стр. 417.
41 В. Г. Короленко, Письма, 1922, стр. 38.
42 Сб. «Горький», 1928, стр. 110.
43 «М. Горький. Материалы и исследования», т. 2, стр. 352.
44 «М. Горький. Материалы и исследования», т. 2. стр. 353—354.
45 В. Г. Короленко, Избранные письма, т. 3, 1936., стр. 87.
46 И. Груздев, Короленко и Горький, 1948, стр. 24.
47 Фото в сб. «Революционный путь Горького», стр. 25.
48 А. Треплев, Горький в Самаре. «Штурм», 1932, № 1, стр. 83.
49 М. Горький (Иегудиил Хламида), Между прочим, 1941, стр. 26.
50 «Самарская газета», 1895, № 179.
51 Комментарии К. Муратовой к книге «М. Горький. Между прочим», 1941, стр. 309.
52 Там же, стр. 311.
53 «Вечерняя Москва», 1941, 19 июня.
54 «Одесские новости», 1896, № 3643.
55 «Нижегородский листок», 1896, № 150.
56 «Одесские новости», 1896, № 3682, № 3689.
57 «Одесские новости», 1896, № 3677.
58 «Одесские новости», 1896, № 3708, № 3771.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1 Д. Золотницкий, М. Горький и крестьянские спектакли на Полтавщине. «Театр», 1954, № 5, стр. 83.
2 «Печать и революция», 1928, № 2, стр. 74. Письма С. П. Доровантовскому.
3 «Звезда», 1925, № 3/9, стр. 261. В. Евгеньев-Максимов, Из истории марксистской журналистики.
4 Сб. «Горький», 1928, стр. 20, 24.
5 Сб. «Революционный путь Горького», 1933, стр. 48.

6 «Архив А. М. Горького», т. IV, стр. 17.
7 Сб. «Революционный путь Горького», 1933, стр. 41.
8 Там же, стр. 51, 52.
9 Там же, стр. 59.
10 Там же, стр. 66.
11 А. П. Чехов, Полное собр. соч., т. 19, стр. 215.
12 «Мещане». Материалы и исследования, 1941, стр. 164—165.
13 Переписка А. П. Чехова с О. Л. Книппер, т. 2, стр. 393.
14 К. С. Станиславский, Моя жизнь в искусстве, 1931, стр. 436.
15 Сб. «Горький», 1928, стр. 151, 152.
16 Сб. «Революционный путь Горького», стр. 77, 78.
17 «Известия» от 28 марта 1953 года. А. Волков, Великий основатель социалистического реализма.
18 «М. Горький. Материалы и исследования», т. 2, стр. 417.
19 «Красный архив», 1936, № 5/78.
20 «Архив А. М. Горького», т. IV, стр. 89.
21 М. Горький, Савва Морозов. «Октябрь», 1941, № 6, стр. 12.
22 Сб. «Революционный путь Горького», стр. 101.
23 «Архив А. М. Горького», т. IV, стр. 174.
24 Там же, стр. 177.
25 «Пролетарская революция», 1923, № 3/39, стр. 25.
26 «Литературная газета», 1955, № 38.
27 «Юманите» № 594, 19 ноября 1905 года. Цитирую по книге А. С. Мясникова «М. Горький», стр. 175.
28 В. Десницкий, М. Горький, 1940, стр. 100.
29 «Архив А. М. Горького», т. IV, стр. 190, 192.
30 Там же, т. IV, стр. 192, 193.
31 Сб. «Революционный путь Горького», стр. 108—109.
32 «Правда», 1955, № 355. Доклад П. Н. Поспелова на заседании Московского Совета 20 декабря 1955 года.
33 И. Нович, М. Горький в эпоху первой русской революции, 1955, стр. 183.
34 «Архив А. М. Горького», т. V, стр. 177, 176.
35 И. Груздев, Горький — великий русский писатель, 1946, стр. 14.
36 «Правда», 1928, № 94.
37 «Правда», 1936, № 167.
38 В. Десницкий, М. Горький, 1940, стр. 263.
39 М. Горький, История русской литературы, стр. 139.
40 «М. Горький. Материалы и исследования», т. 1, стр. 144.
41 «Горьковские чтения 1949—1952», 1954, стр. 63.
42 «Правда», 1913, № 68.
43 М. Горький, Собр. соч., изд. 3-е, т. 9, стр. 755—757. Примечания.
44 Там же, стр. 755, 756. Примечания.
45 В. Г. Короленко, История моего современника, т. 1, 1930, стр. 12.
46 А. Е. Бадаев, Большевики в Государственной думе. Воспоминания, 1930, стр. 313.

47 «Летопись» № 2, 3, 4, стр. 305. М. Горький, Письма к читателю.
48 М. Горький, Несвоевременные мысли, 1918, стр. 12.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1 «Коммунистический Интернационал», 1920, № 12, стр. 1931.
2 Конст. Федин, Горький среди нас. Двадцатые годы, стр. 81—82.
3 М. Гляссер, Ленин и Горький. Сб. «М. Горький в воспоминаниях современников», 1955, стр. 49.
4 «Известия Академии наук СССР», 1938, № 5, стр. 25.
5 «Известия», 1926, 10 января.
6 «Правда» от 19 июня 1936 года. Н. Крупская, Ленин и Горький.
7 «Петроградская правда» от 10 июля 1920 года. Еще статья на эту тему от 13 июля и 22 июля; то же и в «Красной газете».
8 Корней Чуковский, Репин, Горький, Маяковский, Брюсов. Воспоминания, 1940, стр. 95—96.
9 Конст. Федин, Горький среди нас. Двадцатые годы, стр. 66.
10 «Восьмой съезд Российской Коммунистической партии (большевиков)». Стенографический отчет. Саратов, 1919, стр. 141.
11 «Звезда», 1937, № 6, стр. 6.
12 «Комсомольская правда», 1932, № 222.
13 «Октябрь», 1941, № 6, стр. 22.
14 С. Д. Балухатый, Горьковский семинарий, 1946, стр. 72.
15 «Известия», 1926, 10 января.
16 «Правда», 1936, № 167.
17 М. Горький, Собр. соч., изд. 3-е, т. 10, стр. 510. Примечания.
18 «Красная газета», вечерний выпуск, 1925 год, 4 июня.
19 Сб. «Горький», 1928, стр. 399.
20 Там же, стр. 398.
21 Там же, стр. 420—421.
22 В. Горький, Собр. соч., изд. 3-е, т. 12, стр. 554—555; т. 13, стр. 657.
23 «Известия», 1928, 29 мая.
24 Там же.
25 «Правда», 1928, 10 июня.
26 «Вечерняя Москва», 1940, 10 августа. А. Шумский, Горький в Москве.
27 «Правда», 1928, 13 июня, № 135.
28 «Известия», 1928, 10 июня.
29 «Рабочая правда», 1928, № 171.
30 «Заря Востока», 1928, № 174.
31 Н. С. Плещунов, Максим Горький и Кавказ, 1939, стр. 33—34.
32 «Советская Татария» от 19 мая 1954 года. Кави Наджми, Школа творчества.

33 «Октябрь», 1951, № 5, стр. 142. М. Н. Елизарова, Горький в Казани.
34 «Рабочая Балахна» от 5 и 9 августа 1953 года. С. Хаев, Максим Горький у земляков.
35 Альманах «Год XIX», № 10, стр. 23. А. Макаренко, Максим Горький в моей жизни.
36 «Полярная правда», 1952, № 143. М. Рыжков, Моя встреча с Горьким.
37 Письмо В. Г. Илларионову. М. Горький, Соч., т. 30, стр. 81.
38 «Звезда», 1944, № 4, стр. 107.
39 «История заводов», сборник. Выпуск второй. ОГИЗ, 1932, стр. 8.
40 Евг. Долматовский, Возродим «Историю заводов», «Литературная газета», 1957, № 21.
41 «Литературная газета», 1957, № 30. «Создадим историю гражданской войны».
42 «Литературная газета», 1950, № 49. М. Юнович. М. Горький в борьбе с империалистической реакцией.
43 «Правда», 1928, № 135.
44 «Интернациональная литература», 1941, № 6.
45 «Звезда», 1944, № 4, стр. 110.
46 «Книга тысячи и одной ночи», 1932, т. 1. М. Горький, О сказках, стр. XII.
47 «Правда», 1934, № 76.
48 Н. К. Пиксанов, Горький и национальные литературы, 1946, стр. 44. Сообщение Е. П. Пешковой.
49 Там же, стр. 141, 137.
50 «Правда», 1937, 24 ноября.
51 «Звезда», 1944, № 4, стр. 108.
52 М. Горький, Письма к рабкорам и писателям, 1936. Библиотека «Огонек», стр. 29—30.
53 «Звезда», 1944, № 4, стр. 108.
54 «М. Горький в воспоминаниях современников», 1955, стр. 453—454, стр. 525, стр. 363—364.
55 Всеволод Иванов, Встречи с Максимом Горьким, 1947, стр. 20—25.
56 Конст. Федин, Горький среди нас. Вторая часть, стр. 172.
57 «Звезда», 1944, стр. 108, № 4, там же, стр. 110.
58 «М. Горький в воспоминаниях современников», 1955, стр. 641.
59 «Литературная газета», 1938, № 17.
60 «Архив А. М. Горького», т. VI, стр. 151—161.
61 Там же, стр. 117—122.
62 М. Горький, Собр. соч., изд. 3-е, т. 14, стр. 391. Примечания.
63 И. Груздев, Горький. Биография, 1946, стр. 116.
64 «Русская мысль», 1890, № 8, стр. 141.
65 И. Груздев, Горький. Биография, 1946, стр. 117.
66 «Звезда», 1944, № 4, стр. 109.
67 И. Груздев, Современный Запад о Горьком, 1930, стр. 182—183. Т. Мотылева, Горький и западные писатели. «Литературная газета», 1946, № 23.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ *

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ М. ГОРЬКОГО

Очерки и рассказы, тома I—II. Изд. С. Дороватовского и А. Чарушникова, Пб., 1898; тома I — III, изд. 2-е, Пб., 1899.

Собрание сочинений, тома I—IX. Изд. тов-ва «Знание», Пб., 1900—1910.

Собрание сочинений, тома X—XXVI. Изд-во «Жизнь и знание», Пб., 1914—1917. (Продолжение указанного выше.)

Собрание сочинений, тома I—XXII. Изд-во «Книга», Берлин, 1923—1924.

Собрание сочинений, тома I—XXII. ГИХЛ, М.—Л., 1924—1929.

Собрание сочинений, тома I—XXII. ГИХЛ, М. — Л., 1928 — 1930.

Собрание сочинений, тома I—XXIII. Ред. и коммент. И. А. Груздева. Предисл. А. В. Луначарского. ГИХЛ, М. — Л., 1928—1931; тома I—XXV, изд. 2-е, доп. ГИХЛ, М. — Л., 1933—1934.

Собрание сочинений, тома I—XV. Примеч. И. А. Груздева. Изд. 3-е. Гослитиздат, М — Л., 1939—1949.

Собрание сочинений в 30 томах **. Гослитиздат, М., 1949—1955. (Институт мировой литературы имени А. М. Горького.)

т. 1. Повести и рассказы, стихи. 1892—1894;

т. 2. Рассказы, стихи. 1895—1896;

т. 3. Рассказы. 1896—1899;

---

* Библиография о М. Горьком очень обширна. Здесь дается только книжная библиография в основном последних лет. Более подробные библиографии можно найти в специальных указателях, приведенных в конце настоящего списка.

** Наиболее полный свод произведений писателя, хотя и не охватывающий всего литературного наследия М. Горького. Ряд книг М. Горького, включающих тексты, не вошедшие в это собрание сочинений, указан ниже.

т. 4. Повести, очерки, рассказы. 1899—1900;
т. 5. Повести, рассказы, очерки, стихи. 1900—1906;
т. 6. Пьесы. 1901—1906;
т. 7. Повести, рассказы, очерки, наброски. 1906—1907;
т. 8. Повести. 1907—1909;
т. 9. Повести. 1909—1912;
т. 10. «Сказки об Италии», рассказы, очерки. 1910—1917;
т. 11. Рассказы. 1912—1917;
т. 12. Пьесы. 1908—1915;
т. 13. Повести. 1913—1923;
т. 14. Повести, рассказы, очерки, воспоминания, сказки, стихотворения. 1912—1923;
т. 15. Рассказы, очерки, заметки из дневника, воспоминания. 1921—1924;
т. 16. Рассказы, повести. 1922—1925;
т. 17. Рассказы, очерки, воспоминания. 1924—1936;
т. 18. Пьесы, сценарии, инсценировки. 1921—1935;
тома 19—22. «Жизнь Клима Самгина»;
т. 23. Статьи. 1895—1906;
т. 24. Статьи, речи, приветствия. 1907—1928;
т. 25. Статьи, речи, приветствия. 1929—1931;
т. 26. Статьи, речи, приветствия. 1931—1933;
т 27. Статьи, доклады, речи, приветствия. 1933—1936;
тома 28—30. Письма.

* * *

Художественные произведения. Планы. Наброски. Заметки о литературе и языке. Гослитиздат, М., 1957, 258 стр. («Архив А. М. Горького», т. VI.)

Забытые рассказы. Ред. и вступ. статья С. Д. Балухатого. Коммент. Е. В. Сухова. Гослитиздат, Л., 1940, 548 стр.

Между прочим (Мелочи, наброски и т. п.). Фельетоны в «Самарской газете» 1895—1896 гг. Ред. С. Д. Балухатого. Коммент. К. Д. Муратовой. Облиздат, Куйбышев, 1941, 328 стр.

Пьесы и сценарии. Гослитиздат, М., 1941, 144 стр. («Архив А. М. Горького», т. II.)

Повести, воспоминания, публицистика, статьи о литературе. Гослитиздат, М., 1951, 298 стр. («Архив А. М. Горького», т. III.)

Ранняя революционная публицистика. Пригот. к печати С. М. Брейтбург. Политиздат, М., 1938, 148 стр.

Горький об искусстве. Сборник статей и отрывков. Сост. Е. Э. Лейтнеккер. Изд-во «Искусство», М., 1941, 280 стр.

История русской литературы. Гослитиздат, М., 1939, 340 стр. («Архив А. М. Горького», т. I.)

Несобранные литературно-критические статьи. Ред., введение и примеч. С. М. Брейтбурга. Гослитиздат, М., 1941, 550 стр.

О литературе. Литературно-критические статьи. Изд-во «Советский писатель», М., 1955, 902 стр.

О писателях. Изд-во «Федерация», М., 1928, 318 стр.
М. Горький в эпоху революции 1905—1907 годов. Материалы, воспоминания, исследования, М., 1957.

* * *

Письма к К. П. Пятницкому. Гослитиздат, М., 1954, 448 стр. («Архив А. М. Горького», т. IV.)
Письма к Е. П. Пешковой. 1895—1906. Гослитиздат, М., 1955, 310 стр. («Архив А. М. Горького», т. V.)
Письма к рабкорам и писателям. Журн.-газ. объединение, М., 1936, 48 стр. (Библиотека «Огонек», № 55—56); изд. 2-е, доп., М., 1937. (Библиотека «Огонек», № 65—66.)
Письма к рабкорам и писателям. М., 1946, 44 стр. (Библиотека «Огонек», № 63—64.)
Письма к писателям. М., 1936, 40 стр. (Библиотека «Огонек», № 72.)
Письма в Сибирь. 1903—1936. Краевое изд-во, Красноярск, 1948, 156 стр.
Письма о литературе. Изд-во «Советский писатель», М., 1957, 654 стр.

В. И. ЛЕНИН О ГОРЬКОМ

Ленин В. И., Сочинения, изд. 4-е. Госполитиздат, М. (Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС);
т. 5, стр. 295—298, «Начало демонстраций»;
т. 8, стр. 111—114, «Трепов хозяйничает»;
т. 11, стр. 113—117, «Перед бурей»;
т. 16, стр. 89, 177—187, «Басня буржуазной печати об исключении Горького», «Заметки публициста»;
т. 23, стр. 325, «Письма из далека»;
тома 34, 35, 36, Письма к М. Горькому, письма к А. Н. Потресову от 27 апреля 1899 г., М. А. Ульяновой от 13 февраля и 25 мая 1902 г., А. В. Луначарскому от 13 февраля 1908 г., Л. Литкенсу от 6 мая 1921 г., И. Арманд от 18 декабря 1916 г., М. Ф. Андреевой от конца апреля 1908 г., в редакцию газеты «Правда» от первой половины ноября 1912 г., А. Г. Шляпникову от 19 сентября 1915 г.
Ленин В. И., Письма Горькому. Партиздат, М., 1936, 115 стр. (Часть писем не вошла в 4-е изд. Сочинений В. И. Ленина.)
Ленин В. И., Письма к родным. Партиздат, М., 1934, стр. 279, 284, 305, 318, 349, 425.
«Ленинский сборник». Политиздат, М., 1924—1945. Письма Горькому и о Горьком, не вошедшие в Сочинения Ленина: т. XI, стр. 135; т. XI, стр. 234; т. XX, стр. 324, 353; т. XXIV, стр. 175, 315, 316; т. XXVI, стр. 153; т. XXXIV, стр. 330, 333—334, 365—366, 407—409, 428; т. XXXV, стр. 97, 105, 111—112, 115—116, 144, 160, 172, 332.
Крупская Н. К., Письма к М. Горькому. «Октябрь», 1941, № 6, стр. 25—27.

ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ГОРЬКОГО

М. Горький. Материалы и исследования. Издательство Академии наук СССР, М. — Л., 1934—1951 (Академия наук СССР, Институт русской литературы, Литературный архив);

т. I. Под ред. В. А. Десницкого. Л., 1934, 552 стр.;

т. II. Под ред. С. Д. Балухатого и В. А. Десницкого. М. — Л., 1936, 484 стр.;

т. III. Под ред. С. Д. Балухатого и В. А. Десницкого. М. — Л., 1941, 464 стр.;

т. IV. Под ред. В. А. Десницкого и К. Д. Муратовой. М. — Л., 1951, 403 стр.

Горьковские чтения 1938 и 1939. М. — Л., 1940 (Академия наук СССР, Институт мировой литературы).

Горьковские чтения 1947—1948. Под ред. А. М. Еголина, Б. В. Михайловского и С. М. Петрова. М. — Л., 1949.

Горьковские чтения 1949—1950. Под ред. А. М. Еголина, Б. В. Михайловского и С. М. Петрова. М., 1951.

Горьковские чтения 1949—1952. М., 1954.

* * *

М. Горький в воспоминаниях современников. Гослитиздат, М., 1955. (Серия литературных мемуаров.)

М. Горький и А. Чехов. Переписка. Статьи. Высказывания. Подготовка текста и коммент. Н. И. Гитович. Вступ. статья И. В. Сергиевского. Гослитиздат, М., 1951, 288 стр. (Институт мировой литературы имени А. М. Горького.)

Макаренко А. С., Сочинения, т. VII, АПН РСФСР, М., 1952, стр. 331—418.

Жига И., А. М. Горький. Воспоминания. Изд-во «Советский писатель», М., 1955.

Максимов П., О Горьком. Письма А. М. Горького и встречи с ним. Изд. 2-е, перераб. и доп. Ростиздат, Ростов-на-Дону, 1946, 108 стр.

Иванов Вс., Встречи с Максимом Горьким. Изд-во «Молодая гвардия», М., 1947, 147 стр.

Семеновский Д., А. М. Горький. Письма и встречи, изд. 2-е. Изд-во «Советский писатель», М., 1940, 143 стр.

Чуковский К., Репин. Горький. Маяковский. Брюсов. Воспоминания. Изд-во «Советский писатель», М., 1940, стр. 87—140.

Сергеев-Ценский С., Моя переписка и знакомство с А. М. Горьким. В кн.: С. Сергеев-Ценский, Избранное. Изд-во «Советский писатель», М., 1941, стр. 526—584.

Федин К., Горький среди нас. Картины литературной жизни. М., ч. I — 1943, ч. II — 1944.

Революционный путь Горького. По материалам департамента полиции. С предисловием Ем. Ярославского. ГИХЛ, Центр. архив, М., 1933, 144 стр.

Телешов Н., Максим Горький. В кн.: Н. Телешов, Записки писателя. Воспоминания. Испр. и доп. издание. Гослитиздат, М., 1948, стр. 90—113.

* * *

Груздев И., Горький. Биография. Гослитиздат, М.—Л., 1946, 127 стр.

Груздев И., Горький и его время, т. I, изд. 2-е, доп. Изд-во «Советский писатель», Л., 1948, 606 стр.

Груздев И., Короленко и Горький. Горьковское изд-во, 1948, 46 стр.

Десницкий В., М. Горький. Очерки жизни и творчества. Гослитиздат, Л., 1940.

Луначарский А. В., Статьи о Горьком. Гослитиздат, М., 1938.

Воровский В. В., О М. Горьком. Максим Горький. Две матери. В кн.: В. Воровский, Литературно-критические статьи. Гослитиздат, М., 1956.

Бялик Б., О Горьком. Статьи. Изд-во «Советский писатель», М., 1947.

Касторский С., Статьи о Горьком. Изд. 2-е, перераб. и доп. Изд-во «Советский писатель», Л., 1955.

Михайловский Б. и Тагер Е., Творчество М. Горького, изд. 2-е, доп. Учпедгиз, М., 296 стр. (Институт мировой литературы имени А. М. Горького.)

Мясников А., М. Горький. Очерк творчества. Гослитиздат, М., 1953, 648 стр.

Максим Горький. В кн.: «История русской литературы», т. X., Литература 1890—1917 годов. АН СССР, Л., 1954, стр. 207—402. (Институт русской литературы.)

Волков А., М. Горький и литературное движение конца XIX и начала XX вв. Изд. испр. и доп. Изд-во «Советский писатель», М., 1954.

Нович И., М. Горький в эпоху первой русской революции, изд. 2-е, доп. Изд-во «Искусство», М., 1955.

Серебрянский М., Литературные очерки. Изд-во «Советский писатель», Л., 1948, стр. 9—114, 220—244.

Толстой А. Н., Полное собрание сочинений, т. 13. Гослитиздат, М., 1949, стр. 300—307, 396—410.

Белкина Н., В творческой лаборатории М. Горького. Изд-во «Советский писатель», М., 1940.

Бурсов Б., Роман М. Горького «Мать» и вопросы социалистического реализма, изд. 2-е, перераб. Гослитиздат, М., 1955, 228 стр.

Касторский С., «Мать» М. Горького. Творческая история повести. Изд-во «Художественная литература», Л., 1940, 224 стр.

Касторский С., Повесть М. Горького «Мать», ее общественно-политическое и литературное значение. Учпедгиз, Л., 1954, 214 стр.

Овчаренко А., О положительном герое в творчестве М. Горького. 1892—1907. Статьи. Изд-во «Советский писатель», М., 1956.

* * *

Горький и театр. Изд-во «Искусство», М.—Л., 1938.

Данилов С. С., М. Горький. Изд-во «Искусство», Л., 1950, 232 стр. (Русские драматурги. Научно-популярные очерки.)

Бялик Б., Драматургия М. Горького советской эпохи. Издательство Академии наук СССР, М., 1952.

Михайловский Б. В., Драматургия М. Горького эпохи первой русской революции, изд. 2-е, доп. Изд-во «Искусство», М., 1955.

Немирович-Данченко В. И., Из прошлого. Изд-во «Academia», М., 1936, стр. 237—288.

Станиславский К. С., Моя жизнь в искусстве, изд. 8-е. Изд-во «Искусство», М.—Л., 1948, стр. 339—350.

«Мещане» М. Горького. Литературная и сценическая история. Материалы и исследования. ВТО, Л., 1941.

«Егор Булычов и другие». Материалы и исследования. ВТО, М., 1947.

* * *

Пиксанов Н., Горький-поэт. Гослитиздат, Л., 1940, 200 стр.

Бялик Б., Эстетические взгляды Горького. Изд-во «Художественная литература», Л., 1939, 230 стр.

Прожогин В., Эстетика труда в творчестве М. Горького. Гослитиздат Украины, Киев, 1955, 322 стр.

Ермилов В., О гуманизме Горького. Гослитиздат, М., 1941, 384 стр.

Пиксанов Н., Горький и фольклор, изд. 2-е, доп. Изд-во «Художественная литература», Л., 1938, 192 стр.

Максимов В. А., Как Горький редактировал рукописи. Изд-во «Искусство», М., 1954, 72 стр.

Пиксанов Н. К., Горький и национальные литературы. Гослитиздат, М., 1946, 322 стр.

Юнович М., М. Горький в борьбе за равенство и дружбу народов. Изд-во «Советский писатель», М., 1954, 136 стр.

Юнович М., А. М. Горький — пропагандист науки. Изд-во «Советский писатель», М., 1955, 222 стр.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УКАЗАТЕЛИ

Описание рукописей М. Горького, т. I. Художественные произведения, литературно-критические и публицистические статьи. Под ред. И. П. Ладыжникова и Е. Ф. Розмирович. АН СССР, М., 1948, 730 стр. (Институт мировой литературы. Архив А. М. Горького.)

Балухатый С., Литературная работа М. Горького. Список первопечатных текстов и авторизованных изданий 1892—1934, М., 1936, XXXII, 520 стр.

Балухатый С. и Муратова К., Литературная работа М. Горького. Дополнительный список текстов и авторизованных изданий 1889—1936. АН СССР, Л., 1941, 196 стр.

Балухатый С., Критика о М. Горьком. Библиография статей и книг 1893—1932 гг. ГИХЛ, Л., 1934, 594 стр.

Библиография М. Горького. Произведения Горького и литература о Горьком (1936—1937). АН СССР, М., 1940, 360 стр. (Институт мировой литературы имени А. М. Горького.)

Балухатый С. и Муратова К., М. Горький. Справочник. Изд-во «Художественная литература», Л., 1938, 272 стр.

Гитович Н. И., М. Горький. Краткий библиографический справочник. Всесоюзная книжная палата, М., 1941, 102 стр.

Балухатый С. Д., Горьковский семинарий. Ленинградский государственный университет имени А. А. Жданова, Л., 1946, 186 стр.

Залесская Л., Касабова Б., Крендель Р., Кузнецова А., М. Горький. Рекомендательный указатель литературы. Под общей ред. Н. Л. Бродского. Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина, 1949, 232 стр.

Муратова К. Д., Семинарий по Горькому. Учпедгиз, Л., 1956, 275 стр.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Глава вторая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава первая

Глава вторая

Глава третья

Глава четвертая

Глава пятая

ОБ АВТОРЕ

Груздев Илья Александрович родился в 1892 году в Петербурге.

Начал печатать статьи в 1920 году в «Жизни искусства», «Книге и Революции» и других изданиях.

В 1925 году вышла книга «Максим Горький» (по новым материалам), в 1926 году — «Жизнь и приключения Максима Горького». В последующие годы напечатаны книги: «Максим Горький» (жизнь и работа), «Современный Запад о Горьком», «Горький» (биография), «Горький и его время», «Короленко и Горький», «Горький и фашизм», сборник статей о Великой Отечественной войне «Родная земля» и много статей в газетах и журналах.

По сценариям И. Груздева поставлены фильмы «Детство Горького» и «В людях». В театрах шла пьеса «Алеша Пешков», написанная им в соавторстве с Ольгой Форш, и пьеса «Вороний камень» в соавторстве с Б. Четвериковым.

И. Груздев закончил книгу «Воспоминания о Горьком» и продолжает работу над монографией «Горький и его время».

Груздев Илья Александрович

ГОРЬКИЙ

Редактор *Ю. Коротков*
Художник *И. Гринштейн*
Худож. редактор *А. Степанова*
Техн. редактор *Т. Тамулевич*

А00686 Подп. к печ. 3/III 1960 г.
Бум. 84×108[1]/[32] Печ. л. 11,5 (18,86) +
+ 11 вкл. Уч.-изд. л. 17,8
Тираж 50 000 экз. (1-й завод от
2-го массового тиража) Зак. 2566
Цена 7 р. 45 к.
Типография «Красное знамя»
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-55, Сущевская, 21.

7 р. 45 к.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ